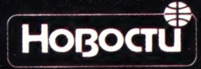
Мой выбор

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ

В ЗАЩИТУ ДЕМОКРАТИИ И СВОБОДЫ




ВРЕМЯ·СОБЫТИЯ·ЛЮДИ

ე. შევარდნაძე

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ

Мой выбор

В защиту демократии и свободы



Новости

Москва, 1991

ББК 66.4(0)
Ш37

Ответственный редактор К.Г. ЛИКУТОВ

В книге использованы фотографии С. Гунеева, Э. Песова, А. Рухадзе, а также из семейного архива автора и фототеки ИАН.

Шеварднадзе Э. А.

Ш37 Мой выбор. — В защиту демократии и свободы — М.: Изд-во „Новости", 1991. — 336 с., ил.

Автор повествует о своей жизни вообще и о работе на посту министра иностранных дел СССР в частности. Рассказывает об участии в многочисленных совещаниях и конференциях, о встречах с зарубежными коллегами, дает им свою характеристику. Показывает, как решался вопрос об объединении Германии, как внедрялось в международные отношения новое политическое мышление. Высказывает также свои суждения относительно судеб перестройки.

ISBN 5—7020—0399—3

Ш $\frac{0802010000}{067(02)—91}$ Без объявл. ББК 66.4(0)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗАМЫСЛА

1

Зачем я пишу эту книгу? О чем собираюсь в ней сказать?

История любого дела — это всегда история человека. Наши дела разделяют нашу судьбу, и эта книга не составляет исключения. У нее есть своя история, в которой отразились события последних лет моей жизни. Сама по себе моя жизнь не представляла бы широкого интереса, не окажись она волей обстоятельств связанной с решающим периодом в жизни нашей страны и мировой политикой.

В этом смысле история книги заслуживает того, чтобы изложить ее.

В апреле 1990 года западногерманское издательство „Ровольт" через Агентство печати Новости* обратилось ко мне с просьбой разрешить ему издать сборник моих выступлений по вопросам внешней политики.

Кто-то сказал, что каждый человек должен успеть за свою жизнь сделать несколько обязательных дел: посадить дерево, построить дом, вырастить ребенка, написать книгу. Последнее вызывает сомнение: каждый ли способен написать книгу? По этому поводу опять-таки кто-то сказал примерно следующее: жизнь каждого человека несет в себе как минимум по роману, но у многих ее не наберется даже на один рассказ.

Я был бы неискренним, утверждая, что моя жизнь бедна событиями и их не хватит на одну книгу. Тем не менее, посадив немало деревьев, построив дом в деревне, вырастив детей, книги я не написал. На это у меня никогда не было времени. Можно было бы добавить, что мне очень нравится максима, согласно

---

*С июля 1990 г. — Информационное агентство Новости.

которой строчка лишь тогда заслуживает быть написанной, если она достойна быть прочитанной. А еще для меня неприемлема практика делания книг, право которых быть изданными обеспечивается лишь высоким служебным положением их авторов.

Все предшествующие годы я не принимал предложений об издании книги. На сей раз, однако, согласился. Потому что теперь, как мне представлялось, она была бы кстати. Она вышла бы в момент, когда многое, о чем мы думали и к чему шли пять лет во внешней политике, так или иначе осуществилось или осуществляется. С непримиримым противостоянием миров покончено. Уходила в прошлое „холодная война". Восток и Запад сделали шаги от конфронтации к взаимодействию и сотрудничеству. Европа тяготела к единству, вот-вот должно было произойти объединение Германии. Мы стояли на пороге общеевропейского совещания в верхах, глубоких качественных изменений хельсинкского процесса.

В то же время дали знать о себе тенденции, поколебавшие устоявшийся, казалось бы, процесс солидарного сооружения нового разумного миропорядка. Во многих, внешне уже как будто благополучных, „отсеках" мировой политики дело шло не так ладно, как хотелось бы.

В сборник должны были войти уже обнародованные тексты, составляющие, по международным издательским правилам, так называемую общественную собственность. Мне приятно было думать, что идеи и взгляды на природу новых международных отношений поступят в собственность общественности собранные воедино в наиболее систематизированном виде. Ведь по сути дела ей они и предназначались — концепция, принципы и практика нового политического мышления, на основе которого строилась и развивалась после апреля 1985 года советская внешняя политика.

Был еще один сильный побудительный мотив, и связан он был с ситуацией внутри страны. Для меня все более очевидными становились разрывы в практической реализации политики нового мышления. Ее приоритеты, столь широко распространившиеся на сферу внешних отношений, все заметнее давали сбои во внутренней нашей жизни. Получалось, что политика проводится как бы в двух разных вариантах, существует в двух несовпадающих измерениях. „Экспортный“ вариант нового мышления пользовался широким международным спросом, во внутреннем же обиходе его пытались втиснуть в прежние стандарты.

Все чаще я и мои коллеги ощущали сильное противодействие. В чем и как оно проявлялось — тема отдельного разговора. Пока речь идет не о фактах, а о тенденции. Гласность оказалась в одном ряду с „теневой“ политикой, идея верховенства политических методов приносилась в жертву силовым средствам, принцип свободы выбора — рецидивам имперского диктата.

Когда в своем заявлении об отставке 20 декабря 1990 года я упомянул об опасности наступления диктатуры, многие принялись ломать голову над вопросом, кого конкретно я имел в виду. Требовали назвать кандидата в диктаторы, гадали, в каком обличье он появится. И тогда, и сейчас я мог бы ответить словами одного советского политолога, что эта сила не имеет лица и домашнего адреса. Это — методы и стиль. Ложь, провокация, лукавая политика, которая всегда к услугам... А коль скоро они понадобились, то обусловлены не вопросом „кто?“, а вопросами „почему?“, „зачем?“.

Цели политики нового мышления вступали в глубокий разлад с интересами могущественной силы. Внешняя политика, всегда обслуживавшая эти интересы, теперь лишалась этого своего предназначения. Начались нападки на новый внешнеполитиче-

ский курс, но, поскольку организованная политическая сила всегда стремится персонифицировать враждебную ей тенденцию, счет был предъявлен мне. Я, питомец и охранитель системы, ею же и поднятый наверх, предстал в ее глазах отступником, которому нет пощады.

К весне и лету 1990 года атаки приобрели характер хорошо организованного планомерного наступления. Первые прямые выпады, прозвучавшие на февральском (1990 г.) Пленуме ЦК КПСС сменились кампанией, достигшей пика на XXVIII съезде КПСС. Мне было совершенно ясно: дальше натиск не ослабеет — возрастет.

* * *

В книге, предназначавшейся к изданию и в Советском Союзе, я хотел рассказать о том, как пришел к взглядам, которых придерживался в работе на посту министра иностранных дел, иначе говоря — об эволюции своих воззрений, а главное — защитить принципы нового мышления, вновь разъяснить моим согражданам и зарубежному читателю, сколь важны они для нашей страны и всего мира.

Для меня тут изначально все сводится к трем основным вопросам.

Первый: хотим ли мы, чтобы наша страна была цивилизованным государством, обеспечивающим своим гражданам достойное во всех отношениях существование, защищающим по высшим мировым стандартам их гражданские и человеческие права?

Второй: хотим ли мы видеть себя в группе передовых стран, передовых по уровню национального богатства, научного и технологического развития, качеству и полноте жизни граждан и народов Союза?

Третий: хотим ли мы жить в обстановке, полной уверенности в том, что сможем обеспечить себе мир,

безопасность, справиться со всеми угрозами, которые существуют или могут перед нами возникнуть?

Работать над книгой я начал во время отпуска, в августе 90-го года в санатории под Москвой. Просматривал накопившийся за пять лет материал, что-то отвергал, как явно устаревшее, что-то дописывал. Эта работа постоянно прерывалась. В отпуск ушел сразу после иркутской встречи с государственным секретарем США Джеймсом Бейкером, в этот же день, 2 августа, произошло вторжение Ирака в Кувейт, а на следующий день в московском аэропорту Внуково мы обнародовали совместное советско-американское заявление.

Политический процесс в отпуск не уходит, и вовлеченные в него люди не могут позволить себе расслабления. Приезжал федеральный министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер, и мы провели с ним в Москве очередную рабочую встречу — одиннадцатую по счету, если вести его с момента сформирования механизма „два плюс четыре" в Оттаве в феврале 1990 года.

Шла подготовка к сентябрьскому совещанию „шестерки" в Москве. В подмосковный санаторий „Барвиха" звонили мои зарубежные коллеги. Приезжали на переговоры в Москву представители иракского руководства.

В таких условиях работа над рукописью могла бы показаться непомерно тяжкой, но, удивительное дело, — не было этого. Напротив, она очень плотно вошла в зазоры отпускного рабочего графика, абсолютно органично вписалась в сиюминутные заботы. Наверное, потому что тесно связала вчерашнее с сегодняшним, еще сильнее убедив меня в правильности нашей внешней политики, ее фундаментальных принципов. Я ощутил движение, его цельность, непрерывность линии, и к тому же многое осмыслил по-новому. Я как бы прошел весь путь сначала...

Сегодня, рассматривая историю этого издания в прямом контексте событий и тенденций минувших пяти с половиной лет, я нахожу ответ на целый ряд вопросов, мучивших меня все это время.

Абсолютно правы те, кто утверждает: до определенного времени внешняя политика Советского Союза была островом общенационального согласия в бушующем море внутренней перестройки. Еще далек был тот день, когда самые яростные критики сравнят ее со „священной коровой", якобы неприкосновенной для кнутов и кольев. Встав на путь аналогичных сравнений, я мог бы сказать, что они желают видеть в ней буренку, которую им выгоднее держать в прежнем тесном стойле. Разумеется, вслух я таких слов не произносил, постарался привлечь иные, более достойные аргументы, однако критики вскоре убедят меня в том, что такие аргументы им и не нужны.

Но это произойдет еще не скоро, хотя и довольно быстро.

Если летом 1989 года Верховный Совет СССР без единого голоса „против" утвердил меня в должности министра иностранных дел, то 15 октября 1990 года несколько народных депутатов предъявили мне обвинения в том, что интересам безопасности страны якобы причинен ущерб.

Закономерны вопросы: почему для внутренних нападок на внешнюю политику было выбрано именно это время? Почему по времени они совпали с развертыванием правых сил внутри страны? Почему раньше никем не оспаривалась стратегическая задача: создать максимально благоприятные внешние условия для внутренней реформации?

Ведь уже в самом начале вроде бы всем было ясно, что старые методы конфронтации, верховенство идеологии над политикой и правом непригодны для этого. Что, оставаясь на прежних позициях, не

остановить гонки вооружений, изматывающей и без того обескровленную страну, не переналадить отношений с Западом на сотрудничество, не пресечь вовлеченности в региональные конфликты, в первую очередь — в Афганистане, не нормализовать отношений с Китаем. Надо было строить новые отношения с „третьим миром", вести поиск путей к новому мировому экономическому порядку, к преодолению опасности глобальных угроз.

Для того чтобы все это стало возможным, необходимо было воссоздать доверие, убедить мир в отсутствии советской угрозы, в чистоте и искренности наших намерений.

Политике нового мышления предстояло представить весомые и убедительные аргументы на этот счет. И она их представила.

Сколько раз и дома, и за рубежом меня спрашивали: а что же это такое — новое политическое мышление? Я отвечал вопросом: может ли человек мыслить, а значит — и действовать по-старому в условиях, абсолютно исключающих какую-либо разумную возможность этого?

Оказывается, может. Как это ни парадоксально, может мыслить и действовать по-старому и в новых условиях, если эти новые условия враждебны ему. Если они грозят ему утратой власти, привилегий, силы и влияния, руководящего положения в структурах управления и системе распределения материальных богатств.

Пока новое мышление устраняло старые препоны в отношениях с Западом — с этим как-то мирились. И хотя некоторые идеи уже на раннем этапе были оспорены иными высшими авторитетами нашей идеологии, в целом никто не осмеливался отвергать и опровергать его. Казалось бы, каждому должно было быть ясно: перестройка универсальна в своих устремлениях, она не может руководствоваться двойными

стандартами. Если вы начинаете демократизацию собственной страны, то не вправе препятствовать этому процессу в других странах. И если вы отвергаете приверженность „танковой философии“ в отношениях с сопредельными государствами, то, как минимум, не должны мыслить ее категориями в отношении собственной страны.

Все так. Однако стоило новому мышлению коснуться старых скреп внутри Советского Союза и распространиться в сферы традиционного господства вне его, как положение резко изменилось. Это произошло на этапе отмены 6-й статьи Конституции СССР — о „руководящей и направляющей роли“ Компартии в жизни Советского государства. Уже в самом начале дискуссий эта мера встретила сопротивление — консолидировались группы, утрачивающие былое могущество. Спешно подыскивался новый „портрет врага“ — непременный компонент действий изготовленной к сражению армии. Из прошлого извлекли проверенное в прежних побоищах оружие — лексику подрыва и дискредитации политиков и государственных деятелей, прямо или косвенно обвиненных в пособничестве „недругам“ государства.

Новому политическому мышлению было предъявлено суровое обвинительное заключение: сепаратизм республик, межнациональные столкновения, „утрата санитарного кордона“ — стран Восточной Европы, „развал социалистического лагеря“, объединение Германии, „уступки“ Западу. Главным объектом атаки, как я уже сказал, была избрана внешняя политика, точнее — Министерство иностранных дел. Если совсем уже определенно — министр.

Наверное, я должен сказать о своем отношении к выпадам в мой адрес. О своих чувствах. Это надо сделать хотя бы потому, что многие назвали причиной моей отставки „повышенную чувствительность к критике“.

Разумеется, у меня есть представления о достоинстве и чести, но я никогда не подчинял им судьбу дела. Для меня любая критика нормальна, если, конечно, это конкретная, аргументированная критика. Мне хорошо знакомо чувство вины, и я знаю, перед кем виноват. Глупо полагать, будто я не понимаю: при тех ставках, которые были сделаны, у меня не может не быть противников. Конечно же, есть люди, видящие во мне недруга, но называть их поименно я всегда воздерживался. Отнюдь не потому, что не знаю имен, — совсем по другой, принципиальной причине: в силу воспитания, житейского опыта и чисто профессионально на первое место я ставлю диалог. И в работе, и в частной жизни. Он для меня и средство, и цель. А диалог требует непредвзятости, непредубежденности в общении с кем бы то ни было. Даже если субъективно мне не по себе от человека, стараюсь подавить в себе неприязнь. Потому что точно знаю: стереотип врага, образ личного неприятеля губителен для дела. Это попросту нерационально, непроизводительно, безрассудно — видеть в оппонентах врагов и умножать их число своим амбициозным отторжением. Для большой политики это непозволительная роскошь.

Если на меня нападают грубо — не отвечаю по принципу „око за око". Но ни пяди своих убеждений не уступаю, если считаю себя правым. Уступаю, если меня убедят в неправоте.

К нашей общей беде, в условиях монополии на власть диалог как средство политики был отринут. Командно-приказной стиль руководства оставляет место лишь монологу иерарха. Тоталитаризм предполагает изречение идей, возведенных в абсолют, и беспощадное сокрушение воззрений, идущих вразрез с ними. Удобнее разбить голову оппонента, нежели идею, которую она произвела на свет. Это настолько въелось в нас, что мы разучились нормально разговаривать друг с другом.

Нечто подобное я испытал и по отношению к себе.

Честно говоря, было больно, но не очень. Слишком интенсивен был темп работы, заданный событиями минувшего года, слишком много времени и сил требовало решение поминутно возникавших задач, чтобы отвлекаться на фиксацию ударов и отвечать на них. Я давно уже положил себе за правило: сосредоточившись на каком-то одном деле, исключить из внимания любые, не связанные с ним моменты, чтобы не создавать ему помех. И потом, что же, рассуждал я, стремясь утвердить в министерстве норму свободного высказывания мнений, поощряя сотрудников к выходу из неволи навязанного свыше единомыслия, вправе ли я выражать недовольство критикой в мой адрес?

Правда, иногда, ухватив краем глаза фрагмент очередного пасквиля в какой-нибудь из двух-трех специализирующихся в этом жанре газет, текст транспаранта над демонстрацией у стен МИДа, слушая высказывания иных депутатов парламента и некоторых товарищей по руководству партией, наблюдая за их поведением, я все чаще задумывался над тем, сколь искажены у нас представления о демократии. Искажены неосознанно, а может — и вполне намеренно. Я не мог не думать о том, что свобода вне культуры и ответственности вырождается в анархию, грозящую хаосом, усмирить который однажды окажется невозможным. В этих раздумьях всплывала мысль, прекрасно выраженная Виктором Ерофеевым, — о свободе, которая в демократическом цивилизованном обществе есть не что иное, как упорядоченная воля.

Продолжая развивать эту мысль, я приходил к выводу: отвергающая порядок и порядочность „воля" — это несвобода сознания и действий и упорядочить ее можно лишь средствами несвободы. То есть насилием. А это — конец всему.

Иными словами, наблюдая нарастание атак на внешнюю политику, я если и тревожился, то отнюдь не за собственную участь. Мои антагонисты брали в расчет все, кроме представлений человека моего происхождения, с детских лет не приемлющего каких-либо покушений на собственные понятия о должном. По всем правилам монопольной власти системы на личность она обязана безропотно сносить все нападки на себя, как должное принимать диктат политического патриархата, присвоившего себе право решать ее участь. До того, пока он не определит, как быть с тобой, — сиди на своем месте, работай, пользуйся благами и льготами, которые тебе предоставили. Иначе говоря, не упускай вонзившийся в губу крючок, освободиться от которого в наших условиях — смерти подобно.

Пожалуй, только самые близкие мне люди знали, что я ни за что не держусь, кроме интересов дела. И хотя я не раз публично заявлял, что меня ничто не остановит, если окажется невозможным следовать моим убеждениям, — немногие принимали это всерьез. Жаль, конечно... Но так или иначе, а внутренне я был надежно защищен убеждением в собственной правоте и свободой распоряжаться собой по личному усмотрению, внешне же... Внешняя защита дела, которым были заняты я и мои коллеги, все более лишалась надежности. Посулы устранить министра иностранных дел, звучавшие не где-нибудь на улице — в коридорах высшей власти, оставались без ответа со стороны тех, кто в силу хотя бы служебного положения должен был ответить. Кулуары парламента были открыты для свободного распространения дезинформирующих депутатский корпус материалов. Иные его высокие представители бестрепетно взирали на искажение фактов, в результате чего МИД представал перед ними в ложном свете. Безмолвствовали руководители ведомств, несущих равную с Министерством иностранных дел ответствен-

ность за те или иные внешнеполитические решения и дававших на них свое согласие. Все чаще, выходя на переговоры, неожиданно для себя я обнаруживал изъяны в согласованных на высшем уровне позициях...

В такой атмосфере нормально работать было очень трудно, но мы работали. Вели процесс урегулирования внешних аспектов германского объединения, сосредоточиваясь на приоритете надежного обеспечения безопасности страны. Готовили и заключали договоры и соглашения с Германией и другими ведущими европейскими державами, создававшими для Советского Союза максимально эффективные предпосылки сотрудничества в новой Европе. Напряженно искали взаимоприемлемые решения на Венских переговорах о сокращении войск и обычных вооружений от Атлантики до Урала, добивались созыва Европейской встречи на высшем уровне, решения которой должны были заложить основы для новых структур континентальной безопасности в условиях преодоления раскола Европы и завершения „холодной войны“. Продолжали встречи с американскими партнерами по традиционной повестке дня, где в один ряд с проблемами сокращения стратегических наступательных вооружений и урегулирования региональных конфликтов выдвинулась задача политической и материальной поддержки перестройки. Искали — и не без результата — зарубежные источники кредитования, денежные и иные средства для охваченной кризисом страны. Вторжение Ирака в Кувейт, создавшее опаснейший прецедент агрессии в условиях складывающегося нового неконфронтационного миропорядка, потребовало от советской дипломатии дальнейшего напряжения сил.

Год был равен десятилетиям, и мы прожили его, не переводя дыхания от многотрудных внешних забот и нескончаемой внутренней компрессии.

А что же книга? Присланная издательством рукопись лежала в дальнем ящике стола, и прикасаться к ней не было ни времени, ни желания. Дело это теперь уже прошлое, и я могу, не опасаясь обидеть издателей, сказать, что подготовленный к опубликованию текст уже не устраивал меня. Во-первых, потому что быстрый ход событий требовал внесения значительных дополнений в корпус книги и не было окончательной уверенности в достаточности их. Во-вторых, составители сборника отошли от первоначального замысла представить мои выступления в их первозданном, так сказать, виде и, переработав, произвели на свет некий концентрат авторских высказываний, расположив их по тематическому принципу: новое мышление, европейские дела, глобальные проблемы и так далее. Получилось, на мой взгляд, не очень удачно. Вырванные из контекста времени и обстоятельств, в которых они обнародовались, мысли и высказывания лишились своей злободневности и приобрели абстрактно-академический характер. Не спасли положения некоторые вставки личностного содержания.

Короче, мне показалось тогда, что книга не состоялась, и для себя я решил, что выпускать ее в существующем виде не буду. Если и решусь когда-нибудь на издание, то лишь основательно переработав ее.

В повседневных делах и заботах книга отходила на самый дальний план. В промежутке между сентябрем и декабрем 1990 года в стране нарастали тенденции, все более убеждавшие меня в невозможности моего дальнейшего пребывания на посту министра иностранных дел. Внутренние резервы политики нового мышления подрывались и истощались на глазах. Все более возрастал разрыв между ее „тыловым“ обеспечением и заявленными вовне принципами. Все сильнее становились предчувствия, предожидание событий, которые обесценят результаты, во многом

достигнутые благодаря личному доверию моих партнеров ко мне. Продолжая общаться с ними, я делал все для того, чтобы убедить их в необходимости поддержки перестройки. Кредит доверия был по-прежнему открыт. Однако время от времени происходили такие вещи, когда я уже не мог открыто смотреть им в глаза. Когда не мог, например, ответить, почему возникают неожиданные и явно инспирированные осложнения с выполнением уже согласованных нами договоренностей. Когда неожиданно для себя узнавал, что за моей спиной, в ущерб нашей, с таким трудом завоеванной репутации честного и надежного партнера совершались манипуляции, подрывавшие многие обретения нашей дипломатии, более того — ставившие под вопрос дальнейшую судьбу избранного курса.

Я мог бы привести немало примеров, но пока ограничусь одним — историей с переброской военной техники за Урал.*

Юридически тут вроде бы все правильно. Неправильно, однако, когда член высшего руководства страны узнает об этом „маневре" из сообщений в зарубежной печати. Когда министр иностранных дел Советского Союза вынужден задним числом разъяснять случившееся своим партнерам, отношения с которыми у него таковы, что исключают какие-либо недомолвки и уловки.

„Теневая" власть отвоевывала сданные позиции. Теперь она выходила из тени и начинала действовать открыто. Остановить ее можно было консолидацией, сплочением демократических сил, созданием опор законности и порядка, в которых преобладал бы

---

*Накануне подписания Парижских соглашений СССР сообщил, что у него в Европе находится 21 тысяча танков — в два раза меньше, чем два года назад. Западные партнеры стали обвинять Советский Союз, в том что он упрятал половину своей танковой армады за Урал. В советском разъяснении говорилось, что за Урал было переброшено 8 тысяч танков, 8,4 тысячи — законсервированы, а 4 тысячи пошли на металлолом.

политический и правовой компонент. Увы, время для этого было упущено.

Такое развитие событий я предвидел давно, о чем не раз говорил открыто своим единомышленникам. Единомыслие в принципах не переросло в единодействие. У меня не оставалось иного выбора, кроме того, который был сделан 20 декабря 1990 года.

Ни тогда, ни в последующие дни к мыслям о книге я не возвращался. После заявления об отставке почти целый месяц продолжал выполнять свои обязанности, нетрудно, наверное, представить — в каком состоянии. Каждый день до меня доходили версии, высказывания, обвинения — одно нелепее другого. Я молчал. В январе произошли известные события в Прибалтике, затем в зоне Персидского залива начались военные действия. И вновь к моему порогу прибило мутную волну инсинуаций, замешанных на черносотенном „патриотизме“ и старой идеологии. Теперь уже отставку объясняли стремлением уклониться от ответственности за просчеты, якобы допущенные во внешней политике. Множились „свидетельства“ и „доказательства“ на этот счет. Мне было трудно молчать, но я молчал.

В январе 1991 года в Москве состоялся Объединенный Пленум Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии КПСС. Как член ЦК, я должен был принять участие в его работе. Должен был, но не смог из-за болезни. Спустя несколько дней, прочитав в „Правде“ сокращенную стенограмму Пленума, вынул из дальнего ящика папку с рукописью книги и, перелистав ее, решил: „Буду работать!“ И начал работать. Вместе со своими помощниками и единомышленниками Теймуразом Степановым и Сергеем Тарасенко.

Так почему же я все-таки снова взялся за книгу? Прежде всего, чтобы ответить тем, кто на этом Пленуме — и не только на нем — попытался по-

ставить крест на перестройке. Кто, выйдя „из окопов“, подал реакции сигнал к наступлению на столь слабые еще позиции демократии и гласности, откровенно обозначив свои цели и требования.

Это — отказ от политики нового мышления. От ее достижений и завоеваний. По сути дела, прямой вызов сформулированной на XXVII съезде партии концепции, согласно которой человеческая жизнь — самая высшая ценность и главная цель общественного развития.

Восстановление тезиса о верховенстве классовых интересов над общечеловеческими ценностями, признание приоритета которых, по словам иных наших критиков, сослужило „плохую службу социалистической идее“.

Стремление доказать, что новое мышление исчерпало себя, разрушив старый порядок вещей и не создав основ нового миропорядка.

Отрицание принципа деидеологизации межгосударственных отношений, означающей, по мнению командиров атаки, „принесение социалистических интересов, целей и ценностей в жертву буржуазным“.

Реставрация лексики и „идей“ времен непримиримого противостояния двух систем, иными словами — возвращение к системе взглядов и представлений, поддерживавших в мире состояние перманентной угрозы военного столкновения и обрекавших страну на изоляцию от мира, на отставание во всем.

Все это происходило в присутствии президента и руководителя партии, начавшей перестройку. Теперь ему говорили в лицо, что перестройка не состоялась и повинна в этом его политика.

Опытный полемист, убедивший когда-то партию и страну в жизненной необходимости демократизации и обновления, — промолчал. У него на глазах ставили крест на главном деле его жизни, говорили,

что его идеи ничего не стоят и что надо вернуться к „старому, но грозному оружию“.

Даже самые прогрессивные, самые производительные идеи не вечны. Время, обстоятельства, конкретная ситуация всему отмеряют свой срок. И нет ничего печальнее участи идей, время которых ушло. Но ушло ли время идей перестройки и демократизации, защиты прав личности, свободы выбора и равной безопасности для всех?

Давно и хорошо зная Михаила Сергеевича, я уверен, что он не думает так. И я могу предположить, почему он промолчал: политик обязан учитывать реальное соотношение и расстановку сил. Но ведь уже на раннем этапе перестройки, признав факт сопротивления ей, он не страшился идти против стремнины, апеллировал к народу и получал его поддержку. Тем смелее мог формулировать кредо новой мысли и практически осуществлять его. Так целеустремленно, что, по словам иных, общих для меня с ним отечественных критиков, внешняя политика убежала далеко вперед. Оторвалась от своих тылов.

Позволю себе не согласиться с этим. Не внешняя политика опередила внутреннюю, а внутренняя отстала. Вернее, ее сознательно и довольно успешно тормозили. В исходных и главных своих измерениях она оставалась прежней, не ориентировалась на новые силы в обществе, которые могли бы создать необходимую базу поддержки более смелому и активному курсу. Это и привело к тому, что антиперестроечные круги в стране пытаются накинуть „узду“ на внешнюю политику.

Мы слишком медленно и робко двигались дома. Однако и здесь я не выступаю критиком Михаила Сергеевича, ибо за все несу равную с ним ответственность. Не в счет и мое внутреннее несогласие с теми или иными решениями, если в свое время открыто не оспорил их.

Тем не менее вопрос об ошибках остается.

Все ли учли архитекторы перестройки, чтобы предотвратить опасные перекосы реконструируемого здания? И так ли уже неверны утверждения о том, что в стратегическом планировании перестройки были допущены ошибки?

Из прочитанной в шестидесятых годах книги Леонида Волынского „Краски Закавказья“ мне запомнилась такая мысль:«Архитектор произносит слово „будет“ охотнее, нежели „есть“». Разумеется, автор имел в виду советского архитектора, чей даже самый замечательный замысел зависит от множества привходящих обстоятельств. От состояния строительной индустрии, например. Или от качества и набора материалов. Наконец, от заказчика, его общей и эстетической культуры, располагаемых им средств, возможностей, представлений.

По аналогии, архитектор политики тоже вынужден считаться с огромным множеством факторов. У нас — с наличием или, что чаще всего, отсутствием чего-то. Так вот, при явном наличии понимания необходимости перестройки в целом ряде слоев нашего общества сказалось отсутствие воли, желания или умения осуществлять ее. Наиболее зримо такой „дефицит“ проявился в дни работы XXVIII съезда КПСС, когда консервативные силы повели открытую фронтальную атаку против активных борцов за перестройку.

Говорят о недостаточно быстром темпе перемен, о запаздывании с принятием кардинальных мер. Все так. Истина, однако, заключается в том, что вы не можете достаточно быстро и уверенно идти к цели, не оглядываясь на тех, кто обязательно постарается помешать вам достигнуть ее. Не учитывая этот фактор, можно проиграть все. Я имею в виду то самое главное, решающее, наиболее закаленное и вместе с тем — наиболее хрупкое звено, которое зовется

„человек“. Неважно, кто он — Лигачев или Шеварднадзе, важно, какую тенденцию олицетворяет и насколько она сильна и крепка.

Воззвав к человеческому фактору, осознанно пробудив его к жизни, дав ему права активного самовыражения, вы уже не можете, просто не вправе не считаться с ним.

Человек — не прибор, который можно включать или выключать нажатием кнопки. Если он светит — не мешайте, пользуйтесь его светом, если он сеет мрак — сумейте убедить в этом окружающих. Но просто „выключить“ его по собственной воле, как это делалось когда-то, вы уже не можете.

Это — по идее, а на практике продолжают, стараются выключать. И небезуспешно.

Теперь, когда такое отношение все чаще дает знать о себе, я прихожу к выводу: да, нельзя не учитывать действие сил, мешающих идти к цели. Но нельзя игнорировать и те силы, которые желают помочь достичь ее. Не могу утверждать, что М.С. Горбачев игнорировал их. Ему постоянно приходилось выбирать опоры, и если одна оказывалась слабой, ненадежной, то он поневоле смещался к той, которая гарантировала ему бóльшую устойчивость. Одни действительно были ненадежными, другие он отвергал сам, и в результате в образовавшийся вакуум вступала испытанная „десятилетиями борьбы“ опора. Боюсь, однако, что она не так надежна, как кажется Михаилу Сергеевичу.

Должен заранее предупредить: тот, кто ждет от этой книги сенсационного рассказа о „человеческом факторе“, олицетворенном теми или иными конкретными персонажами, — будет разочарован. Эта книга — не политические мемуары. Их время еще не пришло. Мемуары — „жанр ухода“, а уходить я пока не собираюсь. В то же время это и не исповедь, хотя мне довольно часто придется использовать личное

местоимение „я“. По многим причинам мне это будет даваться с трудом, но, право же, я не знаю, как, ведя повествование от первого лица, обойтись без „ego“.

Быть может, „история перестройки в лицах“ была бы намного интереснее читателю, но сейчас мне больше хочется изложить историю идей перестройки. Потому что они того заслуживают. Потому что они не устарели и не подлежат ни отмене, ни забвению. Потому что сегодня они нуждаются в защите, ибо в защите нуждаются человек и человечность, во благо которым были рождены на свет и осуществлялись эти идеи. Наконец, потому что они дороги мне.

Наверное, я обязан объяснить, как, почему, через что пришел к ним. Для этого мне придется вернуться к истокам моей жизни и немного рассказать о ней.

Быть может, этот рассказ кому-нибудь покажется излишне пространным. Если это так — заранее прошу простить меня. Но иначе, наверное, не получится, потому что я, как и все мое поколение, прошел не простой путь, веря, заблуждаясь и постигая истину.



2

„Перед лицом страны ты — сын своей семьи, перед лицом мира — сын своего народа..." Эти слова, услышанные в детстве от отца, долгое время казались мне загадочными. Напрягая все свое воображение, я еще как-то мог представить себя перед „лицом страны", а вот перед миром...

Мой мир в те годы — это село Мамати, где я родился 25 января 1928 года и провел детство и отрочество. Зеленые холмы, волнами чайных плантаций нисходившие к болотистым равнинам Колхидской низменности, серебристая лента реки Супсы, буковые леса на взгорье. Из его стволов, распиленных на гладкие до зеркальности доски, был построен дом — двухэтажный дом на сваях, до сих пор помню рисунок древесной текстуры, свивавшейся в прихотливый узор на свежем распиле бука.

Дом перед уходом в армию поставил Акакий, мой брат. А всего нас в семье было четверо братьев и сестра. Большая семья, ставшая еще большей в пору постройки дома.

По местному обычаю дом строят всем селом. Это у нас называется „нади" — общинная взаимопомощь. Стоило Акакию объявить „нади", как все село от мала до велика включилось в дружную согласованную работу. При этом обычно поют „надури" — трудовую народную песню. У каждого в ней свой голос, своя партия, а все вместе они составляют на редкость слаженный полифонический строй.

В этом многоголосии была тайна, и раскрыть ее тогда мне было не по силам. Лишь с годами я понял, в чем тут дело: мало иметь свой голос, надо еще соотносить его с другими. Иначе ничего не получится.

В жизни, однако, было совсем по-другому. В

нашем доме звучали очень разные голоса, и нередко они спорили друг с другом. Тут, наверное, самое время рассказать о моих родителях и родичах, но этот рассказ будет неполон без небольшого путешествия по малой моей родине.

Мамати — одно из многих сел Гурии, а Гурия — одна из многих исторических провинций Грузии. Этнографически, диалектами, природными и климатическими условиями все они довольно заметно отличаются друг от друга, но с точки зрения исторических судеб и устремлений — это все то же стройное и единое многоголосие с лейтмотивами свободы и независимости.

Достаточно даже беглого взгляда на карту, чтобы понять это. Расположение Грузии на рубежах Европы и Азии, на древнейшем перекрестке важнейших магистралей движения народов и цивилизаций, там, где сходились и спорили культуры, верования, стратегические интересы сильных мира того, уготовило ей завидную, славную, но и во многом мученическую участь. Выбор христианства как государственной религии (IV век) предопределил выбор борьбы за сохранение национальной самобытности с ее главными устоями — языком, письменностью, верой. Борьбы против могущественных соседей, чьи притязания на стратегически важный ареал Грузии осенялись знаменами чуждого ей иноверия, насильственного ассимиляторства, уничтожения культуры и способов хозяйствования. Крестный путь Грузии отражен уже в первом, дошедшем до нас памятнике грузинской литературы „Мученичество святой Шушаник“ — агиографическом романе о принятых за веру страданиях, не сломивших взыскующую духовной свободы душу. Роман был написан в V веке, но письменность возникла много раньше — оригинальный алфавит, свободный от заимствования и влияний, несмотря на близость античного и эллинского мира, с которым у Грузии были развитые хозяйственные и культурные

связи. Миф о золотом руне Колхиды — отнюдь не миф в том смысле, какой вкладывают в это определение притягательности красивой и щедрой земли. За шкуру священного овна с начертанными на нем магическими письменами стоило потягаться. И тягались, одни — снаряжая „Арго", другие — полчища завоевателей.

Не случайно в грузинском языке все основные понятия сопряжены с живородящим началом, со словом и понятием „мать": земля, язык, город, родина. Рождая дух свободы и давая опору в противостоянии враждебной силе, они и требовали к себе сыновьего отношения. Любви к матери и непримиримости к посягающим на ее достоинство и покой.

Столь же не случайно слово „победа" утвердилось в грузинском языке как основное приветствие: не „здравствуй", а именно „победа", ибо здравствовать значило побеждать. Ни в чем другом так не нуждался народ, как в победе над роком внешних угроз и превратностями исторической судьбы.

Кахетинские виноградари и тушетские овцеводы и по сей день не расстаются с черными войлочными шапочками. Глядя на них, я всегда вспоминаю, что когда-то это был не просто головной убор, а подшлемник: в любую минуту земледелец или пастух должен был быть готов сменить рабочую одежду на боевое облачение. Шлем воина всегда находился под рукой — такая была действительность.

Культура восходила на виноградной лозе. От нее шли мотивы орнамента и начертание букв, а главное — материальный достаток, материальная основа народного самостояния. И в первую очередь иноверческое насилие обрушивалось на лозу — ее жгли и рубили, как живое существо. Отсюда и отношение грузина к лозе, как к родному ребенку.

Мне трудно удержаться здесь от взгляда в близкую современность. В 1985 году, получив сообщение

о готовящихся „антиалкогольных" законах, я пришел в ужас. Перестройка начиналась с ошибки, губительной, по крайней мере, для нашей республики. Директива об очередной „борьбе" с очередным „злом" сулила причинение неизбежного урона промышленному виноградарству — одной из основ нашей национальной экономики. Этот урон можно было спрогнозировать и подсчитать. Но никакому прогнозу и подсчету не поддавались потери от удара, который приказная система наносила по самым дорогим для всех нас понятиям.

Должен повиниться: я ничего не сделал, чтобы предотвратить это. Только стал изыскивать способы ослабить удар по нашему виноградарству и виноделию.

Надо сказать прямо: я и раньше голосовал за подобные решения, хотя внутренне был не согласен.

В чем тут дело? Только ли в дисциплине преданного „солдата партии"? В ней, конечно же, но не только в ней. И по сей день не удалось избыть мне какое-то болезненное состояние, когда решимость действовать бескомпромиссно вызревает в итоге длительного противоборства с самим собой. Я не спешу высказываться, пока не произойдет накопление того „материала" воли и мысли, который отливается в решение. Для политика, для дела — это крупный изъян, но не сказать о нем не могу. Иначе не объяснить ни людям, ни себе, как и почему я столь долго шел к нынешнему итогу.

Агрессия иномыслия не входит в рассуждения о том, что дорого кому-то, а что — нет. Я же, с детских лет приученный ухаживать за лозой, сразу подумал: вот и назовут теперь у нас инициаторов „антиалкогольных" постановлений именами средневековых завоевателей. И не ошибся. Впоследствии, слушая рассуждения одного „борца за трезвость", сводившиеся к тому, что в его родных краях годами не

видели виноградной грозди и поэтому надо отдать предпочтение столовым сортам винограда, в ущерб винодельческим сортам, я не нашел большой разницы между такой психологией и „философией“ агрессивного покушения на устои чужой для агрессора жизни. Авторитарное мышление, возводящее в непререкаемый абсолют собственные установки, едино во все времена.

Материальный ущерб, причиненный стране „борьбой с алкоголизмом“, превысил полтора десятка миллиáрдов рублей. А „прибыли“ — не получили. Усугубили недуг.

Отнять у кого-то все, что противно тебе, и навязать свое. Примерно по такой схеме веками делалась история. Огнем и мечом, железом и кровью. Право сильного означало бесправие слабого. Так было и с Грузией, и даже ее венценосцы не избегали судьбы своих подданных. Лишенные царства, они искали прибежища в занятиях, казалось бы, совершенно несовместимых с их званием и миссией.

Пытались наладить на чужбине книгопечатание или писали поэмы. По мне — пытались обрести царство свободной мысли. Не потому ли было сказано о грузинах, что их цари были поэтами, а поэты царствовали? Но и для тех, и для других идея возрождения утраченной государственности превалировала над всеми иными.

После заката могущественного просвещенного государства, каким была Грузия в XII веке, начинается бесконечная цепь попыток найти поддержку извне. Ее искали на Западе, но европейские монархи не пожелали рисковать интересами большой политики ради проблематичной выгоды от помощи маленькой христианской стране. Ее соседи контролировали важные торговые пути, и в европейских столицах предпочли не ссориться с ними. Идеологией, в данном случае соображениями веры, поступились. Союза с Западом не получилось.

Оставалась одна надежда и она брезжила на Севере. Все чаще взгляды обращались в сторону единоверной России. По всему получалось так, что только оттуда могла прийти помощь. Практически несколько веков с переменным успехом торили пути в Москву посланцы Грузии. Оседали надолго, обустраивались, основывали поселения. Большая и Малая Грузинские улицы — из тех времен. Из тех времен — некрополь Сретенской церкви Большого Донского монастыря, где погребены наиболее ревностные поборники сближения с Россией, представители династии Багратиони. При жизни им многое здесь удалось, но увидеть родину свободной они не успели.

Лишь в 1783 году в Георгиевске на Северном Кавказе послы Екатерины II и Ираклия II подписали союзный договор между Россией и Грузией. Большая северная держава обязалась покровительствовать маленькой единоверной стране, однако спустя восемнадцать лет манифестом императора Александра I присоединила ее к себе. Грузинское царство было упразднено, управлением занялись чиновники метрополии.

По любым меркам это была типично колониальная политика. Да, она спасла Грузию от внешних угроз, выставила на их пути заслон, но обрушила на нее свой имперский гнет. Действие рождает противодействие. Возникшее в Грузии национально-освободительное движение смыкалось с борьбой прогрессивной общественности России и других порабощенных народов империи против самодержавия. Для многих в Грузии это была борьба за возрождение государственности.

Шанс к этому предоставил 1917 год. Провозглашенное революцией право наций на самоопределение и сложные обстоятельства, образовавшиеся после заключения Брестского мира, поставили перед лидерами грузинской социал-демократии и других

национальных партий практический вопрос о создании независимой республики. 26 мая 1918 года она была провозглашена. И перестала существовать спустя три года, когда после вступления в Тбилиси частей Красной Армии здесь была установлена Советская власть.

В таком беглом обзоре, как этот, многое выглядит упрощенным и спрямленным. Многие сложные моменты не разъяснены. „За кадром“ остаются личные оценки, восприятия, мнения. Для историка это непростительно, однако к историку собственной жизни можно проявить снисхождение. Чтобы объяснить кое-что в себе, мне надо описать среду, в которой я рос.

Правительство Грузии, правившее ею в период с 1918 года по 1921 год, было в основном социал-демократическим и, в известной мере, „мононациональным“. Беру это слово в кавычки, потому что будучи, конечно же, совершенно однородным по своему национальному составу, это правительство включало в себя много выходцев из Гурии. Немало гурийцев было и среди тех, кто, принадлежа к большевистскому крылу, активно поработал для свержения своих соплеменников-меньшевиков.

Что и почему так политизировало этот край со столь ярко выраженной полярностью политических взглядов и целеустановок?

Безусловно, тяготы материального существования в малопригодных для эффективного хозяйствования заболоченных местностях Колхиды и на скудных горных наделах. Мои предки по материнской линии, владевшие одним гектаром земли в прибрежье Супсы, считались весьма зажиточными хозяевами. Бич малоземелья выгонял нищих крестьян на дороги, ведущие к крупным городам Западной Грузии — Кутаиси, портам Батуми и Поти, иначе — центрам революционного брожения. Стремление вырваться из

нужды вкупе с традиционной тягой к образованию заставляло приникать к любым источникам знаний. Многое значила близость враждебного иноверия, отпор которому требовал организованности и оружия. В домах хранили ружья.

Все это лепило весьма своеобразный, взрывчатый, восприимчивый к бунтарскому вольнодумству характер. И он широко проявлял себя в неповиновении властям.

Крестьянские восстания в Гурии отличались своими масштабами, размахом и жестокостью их подавления. Одно из самых мощных в революции 1905 года вошло в историю под названием Насакиральского сражения. Вооруженный отряд крестьян возглавлял двоюродный брат моего отца — Давид Шеварднадзе. После поражения восстания он ушел в нагорные леса. За его голову была назначена крупная сумма. Окруженный отрядом карательной экспедиции, Давид с горсткой товарищей принял бой. Один из них, самый близкий, самый надежный друг... в разгар перестрелки подал ему питье. Это была отрава...

Звучит как легенда, но это — быль. Сыновья Давида часто бывали в нашем доме. Старшие много говорили о нем. В разговорах о прошлом мелькали другие имена — и все, окруженные ореолом жертвенного стремления к справедливости.

Лоти, младший брат отца, погиб в 1918 году, защищая от погрома армянскую семью.

Я родился в 1928 году — спустя четыре года после антисоветского восстания, названного в официальной историографии меньшевистской авантюрой. В моем окружении было немало людей, сражавшихся по разные стороны баррикад. Они спорили, было ли это авантюрой или битвой за свободу.

Пора сказать о родителях. Отец — Амвросий Георгиевич, мать — Софиа Глахуновна, урожденная Патеишвили. Мать отца, бабушка Сарла, изо всех

сил старалась дать детям хорошее образование. По завершении учебы в Батуми отец вернулся в Аскана, родовое гнездо гурийских Шеварднадзе и начал учительствовать в школе села Дзимити. Там он и познакомился со своей будущей женой и моей матерью.

Отец преподавал русский язык и литературу. Недавно в архивах того времени нашли поименный список первых грузинских подписчиков на дореволюционное издание собрания сочинений Льва Толстого. Имя отца значится в нем одним из первых. Люди стремились раздвинуть пределы отпущенного им мира, выйти к просторам передовых идей своего времени. Вместе с оружием в домах хранили произведения грузинской классической литературы — Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, затем появились книги Толстого, русских революционных демократов, легальных марксистов, Плеханова, Каутского...

Мой отец и его родичи не составляли исключения. Братья матери — тоже. Старший, Акакий Глахунович, бывший офицер царской армии, воевавший в первую мировую войну, до конца своих дней сохранял преданность социал-демократическим воззрениям. Отец тоже симпатизировал социал-демократам, но разочаровался в них и вступил в Компартию. Этот свой шаг он объяснял тем, что меньшевики не решили основной, наряду с созданием национальной государственности, проблемы — не создали, не могли создать здоровой национальной экономики, что повлекло за собой огромные народные лишения. В стране воцарился хаос. Власть легко досталась большевикам. Акакий, яростный антагонист Сталина и большевизма, затевал с ним по этому поводу бесконечные дискуссии. Брат отца, Константин, человек сходной судьбы и убеждений — тоже бывший царский офицер и социал-демократ, — обладал необыкновенно оригинальным, острым умом, всегда находив-

шим самые неожиданные способы примирить взгляды спорщиков. Его аргументы поражали сложной простотой логического решения.

Это была своеобразная многопартийная система в рамках одной большой и дружной семьи. Дружной — несмотря на разделявшие ее членов политические взгляды. Я старался сопоставлять их, чтобы сделать собственный выбор, но он с трудом давался мне, потому что я одинаково любил всех. И если склонялся к чьему-то мнению, то не отвергал с порога противоположное, желая разобраться, чем же все-таки руководствуется дорогой мне человек, говоря так, а не иначе.

Если вы с детства едите такой хлеб, то это уже на всю жизнь.

Все вокруг говорили о классовой борьбе и классовых врагах, а я спрашивал себя: „Это кто же классовый враг — дядя Акакий?!" И когда впоследствии мне характеризовали какого-нибудь человека как „носителя чуждых вглядов", я вспоминал близких и дорогих мне людей — их ведь тоже можно было без труда зачислить в тот же разряд.

Жизнь учила другому. Ее уроки не всегда были легкими, но так, наверное, бывает у всех.

Приходил отец из школы, обедал и шел мотыжить кукурузу, обихаживать лозу, окуривать пчельники. Так трудился он допоздна, когда мы уже спали, а завтра вставал до зари, зажигал лампу, читал ученические тетради, готовился к урокам.

У мамы забот было больше. Пятеро детей. Старший, Евграф, заболел полиомиелитом и навсегда лишился подвижности. В те годы мы часто болели малярией — такие были там места. Потом началось освоение Колхидской низменности — осушались болота, закладывались чайные плантации, и лихорадка оставила нас в покое. Мать уходила собирать чайный лист и брала меня с собой — не с кем было

оставить. Свой первый килограмм чайного листа я собрал в шесть лет.

Мои братья и сестра помогали родителям как могли. Даже скованный неподвижностью Евграф находил способы быть деятельным. Решил стать журналистом и стал им, редактировал районную газету. Акакий — я уже рассказывал об этом — затеял постройку дома и построил его, дал нам новое, просторное и удобное жилище, взамен старого, одноэтажного двухкомнатного дома с маленькой пристройкой для кухни во дворе. Примером для меня был и другой брат — Иппократ, вдумчивый, рассудительный парень, тоже очень деятельный и добрый. И всем нам второй матерью была Венера, сестра, на редкость нежная, заботливая душа.

Деревенская жизнь прекрасна своей открытостью, в ней все на виду — и люди, и их дела. Она хороша тем, что с малолетства самым естественным путем вовлекает человека в круг повседневных забот и без понуканий приучает его к разумной и осмысленной деятельности. Результат — всегда перед глазами, вот он, можешь взять его в руки. Никто не говорил мне: „Ты должен..." Я знал, что мне надо делать и испытывал радость от того, что делал. Взбираясь на ореховое дерево, увитое лозой редкого сорта „чхавери", — из него получается замечательное вино — я собирал в листве гроздья чуть сморщенных, липких от сока ягод. Потом давил их и сливал тягучую струю в гулкие глиняные кувшины, где сок начинал бродить. Бегал на мельницу молоть кукурузу, предвкушая, как буду вдыхать дымящийся на разломе свежеиспеченной кукурузной лепешки пар. Я знал цену хлебу, потому что знал, как он достается, сколько пота надо пролить, чтобы вырастить урожай. В некоторых местах Гурии делянки с посевами кукурузы располагаются на таких крутых склонах, что для их обработки приходится привязываться веревкой к деревьям. Хлеб был горек, но и сладок, и,

наверное, не надо объяснять этот парадокс — все, добывающие хлеб насущный трудом земледельца, поймут меня.

Отец учил нас ухаживать за пчелами, и вид сочащихся медом сот по сей день доставляет мне удовольствие. Много лет спустя в Цхнети, пригородном курорте в горах над Тбилиси, на участке государственной дачи я высадил несколько лоз и поставил четыре улья. Мне, в ту пору первому секретарю ЦК республиканской Компартии, не было нужды таким образом добывать себе на пропитание. Каждодневно занимаясь множеством дел, в том числе — сельскохозяйственными, я радовался тому, что полученные в отрочестве навыки работы на земле не утрачены, что я могу на равных разговаривать с пахарем и пастухом, с виноградарем и пчеловодом, сборщицей чая и строителем. И если быть совсем уж откровенным, то я и поныне горжусь умением что-то делать собственными руками.

Один из моих близких родичей работал сельским почтальоном. Газеты и письма надо было доставлять из районного центра. Это довольно далеко от моего села, транспорта не было, а я знал кратчайший путь, но и он был не близок: двенадцать километров по холмистой тропе. Немолодому и не очень здоровому человеку, каким был мой дядя, трудно было ежедневно проделывать его с тяжелой поклажей почтовой корреспонденции. Мне же этот путь был в радость — только уже от одного сознания, что знаю самую короткую и красивую, хотя и не самую легкую дорогу.

Мне было тогда десять лет.

Почти ежедневно в один конец я пробегал эту дорогу, а обратно шел медленно, нагруженный почтой и, останавливаясь отдохнуть, прочитывал газеты. Сегодня можно оспаривать их информативность, но основные тенденции, характер жизни того времени в целом они отражали.

Бесконечные здравицы в честь Сталина, вести об успехах первых пятилеток и рядом — сообщения о диверсиях, террористических актах, происках „врагов народа" и мирового капитала. Голоса моих близких, правда, которую они — каждый по-своему и каждый свою — отстаивали, звучали во мне, отзывались сомнениями, множеством трудных вопросов, и это накладывалось на прочитанное, а все вместе производило сложный и противоречивый результат.

Недавно съемочная группа американской телекомпании Эй-Би-Си, побывав в моем деревенском доме, засняла полку с рядами зачитанных до дыр книг. На экране телемонитора я увидел любимую книжку своего детства — „Дэвид Копперфилд" Чарльза Диккенса. Магия великой литературы породила безграничную веру в печатную строку. Авторитет отлитого в металл слова был таков, что я верил прочитанному в газетах. И даже потом, когда уже не газетной строкой, а судьбой самых дорогих мне людей обожгло мою детскую душу, сохранял эту веру. И только с годами, научившись анализировать, выработал собственную систему воззрений, все чаще вступавшую в противоречие с господствовавшими взглядами.

Отчетливо осознаю опасное своеобразие подобных откровений. Жанр автобиографического очерка коварен. Даже очень трезвый, самокритичный, жестоко оценивающий себя человек испытывает искушение представить свои позиции, поступки, высказывания правильными. Выдать себе больше достоинств, отпустить больше грехов и соответственно — приуменьшить недостатки. Тут, наверное, ко всему прочему, „работает" глубоко потаенный инстинкт самосохранения — защиты собственного „я", берущей начало в желании оставить по себе добрую память. Не уйти из жизни без доброго следа.

На свой счет я не заблуждаюсь. Все, что мне надо знать о себе, знаю. Не меньше, если не больше,

знают обо мне люди, с которыми пересекались мои пути. Далеко не все из них думают и высказываются обо мне хорошо. Это несладко, но закономерно: всем мил не будешь. Особенно тем, кому твое право решать — а это тяжкое бремя мне слишком хорошо знакомо — причинило неудобства, а может быть, и боль.

Так вот, набрасывая этот беглый автопортрет, я изо всех сил стараюсь не польстить себе. И, думаю, это мне удается, потому что главная цель, которую я ставлю перед собой, объяснить, может, и самому себе, как формировались и видоизменялись мои взгляды. Как я пришел к тому, к чему пришел.

В страшные апрельские дни 1989 года, приехав в Тбилиси после трагических событий, когда в результате силового разгона митинга погибли люди, я сказал своим соотечественникам: „Вы уже не такие, какими были вчера. Но и я изменился“.

Можно, конечно, винить человека в том, что он отходит от прежних своих взглядов, можно возводить в абсолютную гордыню нежелание поступаться принципами. Но, по-моему, мертвая хватка, которой иные держатся за мертвые — или умирающие — постулаты, враждебна, противна самой жизни, самой сути ее вечного и постоянного обновления.

Изменяться — значит, отвечать на ее вызовы. Речь не о мимикрии, приспособленчестве, трусливой адаптации, „гибкости позвоночника“ — о цели, ради которой вы производите беспощадный пересмотр собственных позиций и взглядов. А проблема цели — это всегда проблема выбора, и если он нравственно безукоризнен, то вы обязаны сделать его без страха перед обвинениями в ереси и отступничестве.

Мой итоговый выбор предопределен всей моей жизнью, всем, что было в ней и хорошего, и плохого. Всей жизнью моего дома, моей семьи, моего народа,

с которым я могу быть в разладе, но быть вне его — не могу. В этой жизни — моей и общенародной — происходили такие процессы и события, которые не могли не сказываться на становлении, а затем и эволюции моей жизненной философии.

1937 год. Из Мамати и окрестных сел стали исчезать люди. Самые уважаемые, самые авторитетные. Не проходило дня, чтобы по селу не проносился слух об очередном аресте очередного „врага народа". Председатель сельсовета, председатель колхоза, агроном, колхозный бригадир назывались вредителями, троцкистами, национал-уклонистами...

В один день исчез и мой отец. Член партии с 1924 года, к тому времени добившийся открытия в Мамати средней школы, один из самых просвещенных и уважаемых в деревне людей. Мать замкнулась, на наши расспросы не отвечала, но ее слезы были красноречивее многих слов. За пределами дома я ощутил вокруг себя холод отчуждения. В школе меня считали лидером, избрали главой дружины пионеров, ребята всегда окружали тесной толпой, а тут — полное одиночество, никто не подходит, не зовет играть... Ярлык сына „врага народа" был уже отштампован для меня, и я ощутил его на своей груди, когда узнал, что меня не берут в сельский пионерский лагерь.

Это было первое, самое сильное, потрясение моего детства.

Спустя некоторое время отец вернулся. Лишь тогда я узнал, что ордер на его арест был выписан, но репрессии он избежал благодаря одному своему бывшему питомцу, сотруднику районного отделения НКВД. Тот предупредил его о готовящемся аресте и рекомендовал скрыться. Переждать смутное время где-нибудь в лесах. Тогда многие так поступали. Репрессии 1937 года были столь масштабны, что работать становилось некому, и в феврале-марте

1938 года машина террора была приостановлена. В ту пору я этого не знал и радовался, что мой отец не оказался „врагом народа". Но уже тогда впервые начал думать о причинах, разъединявших семьи и раскалывавших согласованный стройный „хор" сельской общины. Главной причиной называлась классовая борьба, чьи веления и законы ставились выше законов родства, человеческой близости, простых и живых отношений между близкими людьми. Они любили меня, учили добру и были добры ко мне, окружали заботой, лаской, теплом, и невозможно было примириться с мыслью об их враждебности. Я верил в их правдивость и правоту, но у времени были другие, жестокие аргументы, и подростку трудно было не принять их.

Особенно убедительным для меня аргументом стала война. Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Тезис о черной силе, вознамерившейся поработить нашу страну, получил подтверждение. Я, добровольный помощник сельского почтальона, стал горевестником: в дерматиновой почтовой сумке приносил в Мамати извещения о гибели односельчан. На меня смотрели со страхом и надеждой: есть?! нет?!

Горе пришло и в наш дом: мой старший брат Акакий, призванный перед началом войны в армию, погиб в первые ее дни, защищая Брестскую крепость. Другой мой брат — Иппократ — тоже был призван в армию, и мы ждали со дня на день его отправки на фронт. Моя мать надела траур — по всем тогдашним и будущим утратам.

Почти в каждом доме было такое. Ведь из 700 тысяч призванных на войну из Грузии (при населении в 3,5 миллиона человек) примерно половина не вернулась домой.

Война с фашизмом стала для меня моим личным сражением с ним. Он вел ее против коммунизма, а

коммунизм был моей религией. Победа в этой войне стала победой коммунизма, а значит — и моей победой.

Война формировала меня, как и миллионы моих сверстников. Она формировала мои убеждения и указывала цели. В политику я был втянут с самых ранних лет. Вернее, политика втянула меня в себя. В седьмом классе сверстники избрали меня председателем ученического комитета. Меня воспитывали близкие и дорогие мне люди, они на многое смотрели по-разному, и я смотрел так же — „разными глазами", но вернее будет сказать, что я был воспитан в духе времени, и это был могучий всепроникающий „дух".

С давних пор меня смущает „методология", по которой сложнейшие явления истории измеряются простейшими инструментами. Очевидные погрешности измерения не берутся в расчет, отбрасываются, а ведь именно в них очень часто и содержится истина. Для собственного ли удобства или для удобства чьего-то восприятия критики прошлого втискивают историю в свою критическую схему. Но ведь человеку тесно в ней! Мне тесно в схемах, по которым получается: нас одурманили, оболванили, повели за собой, заставили...

Нет, все было намного сложнее. Во всяком случае — для меня. Сначала та „борьба идей", в которую я был втянут с детства, ограничивалась кругом семьи, и какой бы острой ни была полемика, она учила терпимости. Но затем у меня на глазах она охватила село, республику, страну и, наконец, — мир. И теперь уже она не признавала ни терпимости, ни снисхождения. Нападение на Советский Союз стало самым убедительным аргументом в пользу тезиса о том, что нас хотят уничтожить. Уничтожить физически. Гибель близких людей, горе, страдания, лишения миллионов предопределяли выбор.

Из войны Советский Союз вышел великой державой, спасшей мир от фашизма. Победа отождествлялась с именем Сталина, с волей и силой партии. Критики системы акцентируют элемент репрессий и насилия и абсолютно исключают живую „плоть души“, воспрявшей для стройки, отпора нашествию и восстановлению разрушенной страны. Как бы то ни было, а проклинаемая сегодня многими административно-командная система смогла привести в действие этот могучий резерв любого дела, и было бы просто неразумно утверждать, будто при этом опиралась она только на силу.

В 1948 году я вступил в Коммунистическую партию. Меня увлекла обеєственно-политическая работа. Она предоставила мне возможность выполнить наказ отца: быть с людьми и трудиться для людей. Много лет спустя, говоря о политическом плюрализме, я позволил себе заметить, что монополия одной партии на власть уничтожила у нас политическую жизнь как арену взаимодействия различных политических сил. Сейчас я бы добавил: комсомол и партия, в которую я вступил в двадцатилетнем возрасте, оставались единственной сферой для политического самовыражения. Одни вступали в нее, влекомые инстинктом самосохранения, осознанием невозможности иным путем занять место в обществе, достойное их реальных способностей; другие — и таких тоже было немало — по велению души и сердца. Я погрешил бы против совести, сказав, что в моем случае превалировал только первый мотив и не было второго. Но при этом, последовав одному родительскому наказу, я пренебрег другим и впоследствии не раз об этом жалел. Речь идет о выборе профессии, а какой именно — надо рассказать отдельно, чтобы яснее был тот главный выбор, который столь многое определил в моей жизни.

Закончив в Мамати восемь классов, я поступил в Тбилисский медицинский техникум. Это было сдела-

но по настоятельной просьбе родных. Все они хотели видеть меня врачом. Отнюдь не только потому, что это престижная профессия. Неизлечимый недуг старшего брата, надорванное непомерно тяжким трудом здоровье родителей, малярия, бывшая бичом наших мест и кошмаром для детей и взрослых, постоянно ставили перед нами вопрос: кто поможет? Участковый врач сбивался с ног, не успевая обходить всех своих многочисленных пациентов, многие простейшие лекарства были недоступны, госпитализация превращалась в неразрешимую проблему. Здоровый крестьянский прагматизм побуждал искать опору и помощь в ближайшем окружении. Очевидно, останавливая выбор на мне, родители полагали, что я не обману их надежд. Увы, они ошиблись.

Приехав в Тбилиси, я поселился у сестры, в старом доме на Пасанаурской улице. Жизнь в полуподвальной комнате не сулила большой радости, но я вспоминаю о ней, как об очень светлой поре. По сути дела, я дневал и ночевал в техникуме, и если наведывался в свое темное и сырое пристанище, то только для того, чтобы поделиться с сестрой переполнявшими меня мыслями и чувствами. Они буквально бурлили во мне, требовали выхода. Учиться было интересно, но еще интереснее встречать и узнавать новых людей, находить в них друзей и единомышленников, ощущать себя частицей молодой деятельной силы. Мои сверстники и однокашники хорошо относились ко мне, выделяли вниманием и товарищеской поддержкой. Но самую большую помощь мне оказал отнюдь не ровесник — директор техникума Шота Гордезиани, совершенно неожиданно для меня ставший еще одним моим духовным наставником.

Он часто приглашал меня к себе. Разговоры об учебе и общественной работе — уже на первом курсе меня избрали секретарем комсомольского комитета техникума — неизменно переходили в ди-

скуссионное русло. Гордезиани поощрял мою дерзость, не осаживал самонадеянного юнца. Слушал внимательно, изредка скупо комментируя мои запальчивые речи. Как я сейчас понимаю, он на многое смотрел иначе, но не навязывал свое мнение, лишь деликатно высказывал его, и каждый раз оно заставляло меня усомниться в собственной правоте.

Только в одном он не смог убедить меня — в необходимости стать врачом. К моменту окончания техникума я испытал серьезные сомнения в правильности сделанного выбора. Диплом с отличием давал право на внеконкурсное зачисление в медицинский институт. Гордезиани рисовал радужные перспективы, льстил словами о подмеченной им склонности к научной работе, говорил о шансах последующего зачисления в аспирантуру, взывал к патриотическому чувству: „Нашему народу нужна высококлассная медицина. Ты можешь стать хорошим врачом. Ты должен стать им!“

Все было напрасно. Я был настолько поглощен общественными делами, что не мог думать ни о чем другом. И когда меня вызвали в районный комитет комсомола и предложили должность инструктора, я принял предложение.

До конца своих дней мои родители не простили мне этого. Много лет спустя, когда я уже работал министром внутренних дел Грузии, незадолго до своей кончины мать сказала мне: „Ты взялся врачевать общественные недуги. Пустое дело. Лучше бы облегчил мои страдания ...“

Конечно же, она была по-своему права. Сколько раз, приходя в отчаяние от осознания невозможности что-то выправить, улучшить, вернуть хоть малую толику здоровья болеющему обществу, я вспоминал материнский укор! Но он же подхлестывал меня, требуя доказательства ненапрасности моего выбора.

Испытаний хватало. За одержимость работой при-

ходилось платить. Мы трудились без устали, засиживались в райкоме до трех часов ночи, а потом меня ждал неуют скудного жилья, короткий беспокойный сон и снова — утро, полное новых встреч, дел и надежд рабочего дня. Аскетизм быта воспринимал как должное. Так жили многие. Но верилось: будем жить лучше. Вот только бы не жалеть себя в преодолении преград и трудностей.

Спустя полтора года такой работы я заболел туберкулезом. Пенициллин был на вес золота. Золота не было. Но были друзья и прекрасная наша природа. Они и излечили меня от недуга. Несколько месяцев я провел в высокогорном поселке Бахмаро, абсолютно не приспособленном для жизни и лечения. Несколько срубленных из сосен домов, жалкая амбулатория, никакой коммунальной инфраструктуры. Зато — избыток прозрачного горного, сходящегося с морским воздуха, настоенного на аромате альпийских трав и сосновых лесов, звенящие ледяной водой родники и ручьи, изумительные ландшафты, рождающие в душе ощущение полета.

Болезнь как рукой сняло. Но возникли кое-какие невеселые мысли. Контрасты нищего быта с роскошными богатствами природы были слишком очевидны, чтобы не задуматься: почему все, чем мы владеем, остается невостребованным? Почему, будучи столь богатыми, живем так бедно?

Доктринальность придавила сомнения. Больше электроэнергии, нефти, угля, стали, марганца, зерна, чайного листа! Быстрее выполнять планы! Только так можно заложить основу народного благосостояния, дать людям возможность пользоваться благами жизни!

Став первым секретарем Центрального Комитета Компартии Грузии, то есть, получив, казалось, шанс действовать по своему усмотрению, я вернулся к мысли об использовании природных богатств респуб-

лики, ее замечательных курортных мест. Создали специальное управление, стали изыскивать средства. Дело двигалось с колоссальным напряжением. Запрограммированная на централизованное распределение система сопротивлялась разумной инициативе. Тем не менее кое-что удалось сделать, но какой ценой!

Боюсь, однако, что свой долг Бахмаро я не вернул сполна и теперь уже вряд ли когда-нибудь верну. Вся надежда на разбуженную перестройкой энергию, способную вовлечь людей, их интеллект и талант, способности и ресурсы в русло нормальной беспрепятственной жизнедеятельности.

Но это — дело будущего, а мой разговор пока о прошлом.

В 1951 году вместе с сестрой мы проводили отпуск в горном санатории в Цагвери. Расположенный в Боржомском ущелье, этот курортный поселок и летом, и зимой переполнен детворой. Крупные предприятия и учреждения содержат здесь пионерские лагеря для детей своих сотрудников, привлекая для работы с ними юношей и девушек. Для молодых людей это неплохая возможность пожить на природе и немного подзаработать. В свободное от работы время они приходят в санатории и дома отдыха — на концерты, в кинозалы, вечера танцев.

Так я познакомился с Нанули Цагарейшвили, моей будущей женой.

К тому времени я с отличием закончил партийную школу, поступил учиться на исторический факультет Кутаисского педагогического института и ждал назначения на работу в Кутаисский областной комитет комсомола. Жизнь как будто бы складывалась неплохо. Родители и Евграф по-прежнему жили в родных местах, но теперь мы могли помогать им. Я известил их о своем решении жениться на Нанули. Они ответили, что рады, ждут нас в гости, готовятся как следует принять будущую невестку.

В один из летних дней мы встретились в Боржомском парке. Предложение было сделано, и я ждал ответа. Он ошеломил меня.

— Я не могу стать твоей женой, — сказала Нанули.

Я был не настолько самонадеян, чтобы рассчитывать на скорое „да“, но многое говорило мне, что предложение не будет отвергнуто. И вдруг — „не могу!“

— Не можешь или не хочешь?

— Не могу!

— Но почему же?

— Есть одно обстоятельство, не позволяющее мне согласиться...

Я сказал, что не знаю никаких причин, которые могли бы помешать нашему браку, кроме одной — ее нежелания. Что никакие обстоятельства не способны заглушить чувство, если, конечно, оно есть...

— Ты ведь и не догадываешься, какая я сирота, — сказала Нанули. — У меня отца арестовали как врага народа. Я даже не знаю, жив он или нет. А тебе карьеру делать нужно. Давай, пока не поздно, расстанемся. Я не обижусь, все пойму...

Мы расстались, чтобы встретиться через несколько дней и никогда больше не разлучаться. То, что я узнал, не могло остановить меня.

Во время беседы в Центральном Комитете партии высокопоставленный функционер предостерег меня от женитьбы на Нанули: „Испортишь себе биографию. Ее отец, полковник Раждев Цагарейшвили расстрелян как враг народа“.

Репрессии тридцатых годов обрушились на Грузию с необычайной жестокостью, хотя, казалось бы, Иосиф Джугашвили, больше известный миру как Сталин, должен был проявить милосердие к малой своей родине. Эта точка зрения имеет широкое хождение, но она в корне ошибочна. Интересы и цели

классовой борьбы не признают национальных чувств. Теория, в которую Сталин внес „неоценимый вклад", требовала практического подтверждения. И к тому же ко многим из своих соотечественников у Сталина был особый счет. Он не забыл, например, историю с так называемым „грузинским вопросом", в которой группа его сотоварищей по партии, руководителей Советской Грузии, воспротивилась осуществлению его плана „автономизации", предусматривавшего создание унитарного государства и полного лишения входящих в него национальных республик какой-либо самостоятельности. „Грузинский вопрос" перерос в острую полемику о форме национально-государственного устройства Советского Союза, а полемика — со временем — в сведение счетов с „национал-уклонистами", как окрестили оппонентов Сталина. Были у него противники и другой политической окраски. Он знал их, как говорится, в лицо, знал, что в Грузии сохранилось ядро сопротивления, и, хотя в целом для большинства грузин он был и великим соотечественником, цепная реакция репрессий действовала без разбора. Она охватила и конец сороковых—начало пятидесятых годов. Известен факт депортации из Грузии турков-месхетинцев. Менее известно о насильственном выселении нескольких тысяч грузинских семей по одному-единственному мотиву: имеют родственников за границей. Было это в том же 1951 году.

Эмигранты тоже приравнивались к „врагам народа", как зачислялись в этот разряд тысячи невинных, вроде моего отца и отца Нанули. От „врагов народа" и „членов семьи изменника родины" колесо террора катилось к „народам-врагам".

Я женился, отчетливо сознавая, чем это может обернуться для меня. Зачислением в парии, в отверженные — со всеми вытекающими из этого последствиями. Примеров перед глазами было более чем достаточно.

Мой случай можно было бы провести под рубрикой „Когда чувства побеждают рассудок“, если бы все не было намного сложнее.

Я не умаляю силы своих чувств, но в силу своих тогдашних убеждений не хочу их и принизить. Однако позволю себе одно признание: разум был смятен происходившим вокруг меня. В ту пору гонениям вновь подверглись сотни честных коммунистов, многих я знал лично, иные принимали участие в моей судьбе, были моими наставниками. Я верил в Сталина, но не мог поверить в виновность этих людей. Спасением в таком раздвоении была мысль: „Сталин не знает об этом!“ А еще — и это, может быть, самое главное — уже тогда во мне шевельнулось некое подобие протеста против чьих бы то ни было притязаний на право решать за меня мою судьбу. Против самой идеи всевластного подчинения интересов личности велениям большинства. Тот коллективизм, которому я служил изо всех сил, буквально творил чудеса, преображая бесплодные земли, побеждая фашизм, поднимая из руин страну — и в этом была его великая правота. Но он же превращался в страшную неправую силу, уподобляя человека винтику, который ничего не стоит сломать. И если человек всего лишь деталь машины, рассуждал я наедине с самим собой, то что же станется с машиной, если постоянно выламывать из нее самые нужные детали?

Когда много лет спустя у меня на глазах машина стала рассыпаться, я вспомнил тревожные раздумья своей молодости. Но в 1951 году я просто задал себе вопрос: почему я должен приносить в жертву ненависти свою любовь?

***

В 1953 году умер Сталин. В том же году — казнен Берия.

В 1956 году состоялся XX съезд партии. Никита

Сергеевич Хрущев выступил на нем с „секретным" докладом о преступлениях „сталинской эпохи". Приведенные в нем данные и факты не вызывали сомнений: они подтверждались жизнью и гибелью многих известных мне людей. Потрясла, однако, прямая связь между политикой террора и репрессий и деятельностью Сталина. Это был разлом жизни и веры. Мучительно трудно осознавать, что ты поклонялся не тому богу. Что ты обманут.

Критика культа личности Сталина больно ударила по национальному чувству. Отнюдь не только потому, что Сталин был грузин. Вольно или невольно Хрущев позволил себе высказывания, оскорбительные для грузинского самолюбия. Никите Сергеевичу мало было приведенных фактов — он дал волю эмоциям слишком долго третируемого человека и опустился до уничижительных выпадов в адрес мертвого „хозяина". Рисовал его не просто тираном, каким он в сущности был, а еще и глубоко невежественным и глупым человеком. Но если он действительно был таким, спрашивали многие, то как же удалось ему создать столь мощное государство и повести за собой миллионы? Стать достойным собеседником и партнером выдающихся политиков своего времени? Только коварством, жестокостью, насилием, хитростью? Такое невозможно! Сейчас я думаю, что причиной вспышки, воспламенившей в мартовские дни 1956 года грузинскую молодежь, было нечто гораздо более серьезное и значительное, нежели унижение национального чувства. Это был неосознанный протест против применения возведенных в принцип приемов борьбы, основанных на устранении зла недостойными способами, несправедливости — несправедливостью. Ниспровергатель рядился в одежды праведника, каким он, в сущности, не был и не мог быть.

Многие уже тогда задавались вопросом о роли

Хрущева в годы массовых репрессий. Ведь в тридцатые годы он занимал ключевые посты.

До конца этот вопрос не прояснен по сей день, однако целый ряд источников указывает на то, что и Хрущев внес свою лепту в „большой террор“.

К 9 марта 1956 года многотысячные митинги в Тбилиси переросли в шествия и демонстрации, особенно мощные на проспекте Руставели. Здесь, у так называемого Дома связи, к которому демонстранты подступили с петициями и телеграммами протеста, они получили убийственный ответ: залп из автоматического оружия. По набережной реки Куры шли танки.

В тот день, по официальным данным, погибли десятки людей, многие были ранены.

Неверно, будто впервые тяжелая боевая техника была применена против гражданского населения в Будапеште в октябре 1956 года. Танк как аргумент против инакомыслия был выставлен в Тбилиси в марте того же 1956 года.

В восточноевропейских потрясениях пятидесятых—шестидесятых годов для меня отражается тбилисский март 1956 года. Я и мое поколение на всю жизнь приобрели „комплекс 1956 года“ — комплекс неприятия насилия как метода и принципа политики.

Танк и автомат всегда используются как аргумент лишь в увязке с соответствующим идеологическим „обеспечением“. Невозможно оправдать применение тонн смертоносной стали против беззащитной человеческой плоти, не объявив ее носительницей опасной для народа и общества идеи. Настолько опасной, что танковая броня и разрывная пуля не всегда способны надежно защитить от нее. Собственно говоря, палачу всегда предшествовал инквизитор, топор и плаха всегда осенялись догматами веры. В этом смысле средневековые аутодафе мало чем отличались от процессов тридцатых годов.

По такой же схеме оценивались и тбилисские события 1956 года. Прибывшие из Москвы „теологи" марксизма объявили демонстрации и митинги результатом происков империализма, пережитками прошлого в сознании людей, конкретнее — проявлением буржуазного национализма. Иными словами, погибшие и раненые — виновны. Они либо сами враги, либо поддались пропаганде врага и поэтому получили по заслугам.

Этому катехизису должно было соответствовать и покаяние. Не получилось. Наступили иные времена, иные мысли руководили поступками людей. Многие из них не согласились с навязанной свыше „версией", смело и открыто выступили против нее. Среди них были и мои друзья.

В ту пору я работал в комсомольской организации города Кутаиси. По всей республике проводились собрания, на которых, по замыслу их организаторов, „буржуазный национализм" следовало осудить бесповоротно и навсегда. На общегородском собрании я позволил себе не согласиться с официальной оценкой происшедших в Тбилиси событий. Сказал, что зачислять участников митинга и демонстраций, убитых в ходе их разгона, в разряд националистов не просто недопустимо с точки зрения нравственности, но политически опасно. Потому что силовое сокрушение господствующих в обществе настроений неизбежно приведет к отторжению наиболее деятельной части молодежи. Что применение методов, осужденных новым руководством партии, дискредитирует его заявления о недопустимости и невозможности возврата к прошлому.

Аудитория поддержала меня.

Спустя несколько дней я был избран секретарем Центрального Комитета Коммунистического союза молодежи Грузии. Начиналась новая полоса жизни. Я стал часто бывать в Москве и других городах.

Познакомился со своими коллегами, руководителями республиканских и областных комсомольских организаций страны. Начиналось освоение целинных и залежных земель. Эшелоны с молодыми добровольцами шли в Казахстан и на Алтай. Мне поручили возглавить отряд грузинского комсомола. Несколько месяцев жили в казахской степи, поднимали целину, строили жилье и сельскохозяйственные сооружения. Общались со своими сверстниками из других республик. Я многим обязан той поре и всегда светло вспоминаю о ней.

Может быть, таково свойство моего возраста — идеализировать невозвратное прошлое, юность, глядеть на нее сквозь подернутую ностальгической дымкой толщу времени. Оно не искажает картины тех лет, не размывает детали и меты явного неблагополучия той жизни и не всем моим тогдашним спутникам сообщает героические черты. Ясно видятся мне недостатки в организации грандиозной целинной эпопеи, неразумность иных решений, непродуманность составляющих стратегии, которые впоследствии во многом свели на нет достигнутые итоги.

У нас на глазах приходила в негодность техника, стянутая на целину со всей страны. Сбивались с ног тысячи людей, не успевая собрать урожай с гигантских площадей. На корню гибли посевы, негде было хранить зерно. Происходила колоссальная растрата миллиардных сумм, материально-технических средств, живого труда.

Целина дорого обошлась стране. Сегодня я думаю, что все тогдашние затраты могли бы принести бо́льшую отдачу при ином подходе к решению зерновой проблемы. Но иной подход был в то время невозможен.

И все-таки та пора представляется мне доброй и славной, ибо она дала нам то, что, по-моему, более всего необходимо юности: способность делать жизнь

с нуля, когда ничего нет и все возникает из пустоты благодаря твоему разуму и усилиям.

К этой же поре относятся мои первые встречи с людьми, впоследствии занявшими видное место в руководящих структурах Советского Союза. Мы ощущали себя „людьми целины" в том смысле, какой я только что выразил. „Дорогой Никита Сергеевич" обещал нам жизнь при коммунизме. Первые советские космонавты вспахивали космическую целину. Многое из того, что доставалось нам в наследство, подлежало пересмотру. Во всяком случае, я жил с предощущением больших перемен и поэтому особенно остро всматривался в своих сверстников.

* * *

Среди моих новых знакомцев был и Михаил Горбачев, первый секретарь Ставропольского крайкома комсомола. Мы познакомились в Москве, на пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ. Многое сближало меня с ним, вызывало желание узнать получше. Те же крестьянские корни, что и у меня, та же работа сызмальства на земле, основательное знание народной жизни. Несомненная образованность, эрудированность. Географическое соседство и общие заботы, предопределявшие иное, неформальное, деловое „соседство".

Но было еще и нечто такое, что в моих глазах особенно выделяло его среди других. Он был абсолютно лишен этакой, всегда смущавшей меня, деланной комсомольской простецкости, а главное — в нем отчетливо читалась мысль, явно выпиравшая из рамок предписанных нормативов мышления.

Мы часто виделись — в Москве, Тбилиси, его краях, созванивались по телефону и постепенно, незаметно для себя, открывались друг другу в самом сокровенном.

Если одним рывком преодолеть три десятилетия

нашего знакомства и перенестись в конец семидесятых — начало восьмидесятых годов, то можно увидеть такую картину. Пустынный парк на безлюдном берегу Черного моря в районе мыса Пицунда и мы вдвоем, неспешно прохаживающиеся по аллее. „Прогулка в лесу" с далеко идущими последствиями. К тому времени Михаил Сергеевич Горбачев, секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро, и я, первый секретарь ЦК Компартии Грузии, тоже кандидат в члены Политбюро, уже не таили друг от друга своих взглядов.

Здесь мне хочется привести один эпизод, объясняющий меру и характер моего доверия к нему.

В начале семидесятых годов в районном центре Абаша был начат эксперимент по внедрению новой системы оплаты земледельческого труда, дифференцированной в зависимости от стоимости, качества и количества произведенной продукции. Если расшифровать это наукообразное определение, то получится нечто весьма простое: хорошо поработал — хорошо заработал. Западный читатель меня не поймет: а что же в этом „экспериментально-новаторского"? На этом простейшем принципе — человек должен быть заинтересован в результатах своего труда — основано любое дело. Любая хозяйственная деятельность, если она хочет быть продуктивной, должна предусматривать хозяйский интерес.

Увы, советский читатель поймет без расшифровки. Он знает, что наше общественное хозяйство построено так, что зачастую людям невыгодно работать хорошо. Оплата труда неадекватна его затратам и качеству. „Вы делаете вид, что платите нам, мы делаем вид, что работаем", — этот образчик советского рабочего фольклора как нельзя лучше характеризует положение дел.

Причину следует искать не только в практике непомерно большого присвоения государством при-

бавочной стоимости и продукта — существует фундаментальный теоретический принцип, согласно которому поощрение „частнособственнических инстинктов“ работника грозит самим основам социалистического строя. А то, что при этом общественное хозяйство становится неэффективным, — дело второстепенное. Главное — соблюсти чистоту постулата.

В том же Абашском районе земледелец-кукурузовод, выработавший за год в колхозе 400 человеко-дней, получал в среднем в месяц 10–12 рублей и 200 килограммов зерна за весь год. В результате люди перестали работать, коллективные хозяйства пришли в упадок. И такое происходило не в одном районе, да и не в одной нашей республике. То же государство, установившее идеологические и материально-экономические ограничители на производительный труд в аграрном комплексе, несло колоссальные убытки. То есть строй ослаблял себя, как бы самоуничтожался. Здравому смыслу невозможно примириться с таким абсурдом. Но и преодолеть его тоже казалось невозможным.

Здесь следовало бы расшифровать и термин „эксперимент“. Мы ввели его в оборот как некую защитную конструкцию, способную уберечь нас от обвинений в подрыве устоев социализма. Мы всего лишь экспериментируем на ограниченном участке, говорили мы прокурорам от идеологии, и наши пробы ни на что не замахиваются. Просто хочется посмотреть, что выйдет.

А вышло вот что. Выплачивая кукурузоводам премию натурой — десять процентов зерном за выполнение плана и семьдесят процентов от сверхпланового урожая, за два года в районе втрое повысили производство зерна, к 1980 году среднегектарная урожайность возросла впятеро. Около сорока процентов урожая начало поступать в семейные амбары,

но и государство стало получать намного больше, чем прежде.

Мы не остановились на этом. Перестроили управление агропромышленным комплексом. Получив зерно собственного производства, крестьяне взялись откармливать скот. Был отменен введенный во времена Хрущева „лимит" в одну корову для одного крестьянского подворья. Мы ввели в практику договорá, по которым колхоз передавал свой скот и комбикорма крестьянам, а те на своих приусадебных участках откармливали свиней и продавали затем тому же колхозу. Снизилась себестоимость продукции, возросли объемы и количество продаж. В результате удивительно быстро рос достаток, прекратился отток населения, новостройки — жилье, инфраструктура, общественно-культурные центры, спортивные сооружения — преобразили район.

В целом же это была небезуспешная попытка изменить характер отношений между крестьянством и органами власти, завязать новые кооперативные связи, чтобы затем распространить абашский опыт на всю республику.

Горбачев, курировавший тогда сельское хозяйство, поддерживал нас. Однажды, приехав познакомиться с ходом абашского эксперимента, попросил показать какое-нибудь приусадебное хозяйство.

— Пошли к Надареишвили, — сказал я секретарю райкома Гураму Мгеладзе. Тот изменился в лице: бывший фронтовик, инвалид войны, Надареишвили содержал на своем подворье десять дойных коров. По всем советским меркам — кулак.

— Пошли, пошли, — настаивал я. — Пусть Михаил Сергеевич увидит, чего добивается освобожденный от излишней регламентации хозяин.

Пошли, осмотрели, побеседовали с Надареишвили. Потом Горбачев спросил меня:

— Кто он такой, по-твоему?

— Фермер, — сказал я. — Крепкий хозяин. Но если хотите — можем раскулачить. Не будет ни фермы, ни молока, ни достатка.

Горбачев усмехнулся.

— Раскулачить, конечно, можно, чтобы „теоретики“ не сердились. Только как без такого „кулака“ поднять нам село?

Один „теоретик“, ответственный работник Центрального Комитета, как-то сказал Мгеладзе:

— Повышать поголовье и продуктивность скота надо, но и от Маркса уходить не надо.

Я рассказал об этом Горбачеву. Он посмеялся, но это был горький смех.

В сущности, ни о чем другом не говорили мы в те ежегодные зимние встречи. Главным образом — о человеке, бесправном, опутанном множеством нелепых ограничений, препятствующих ему трудиться с максимальной отдачей и выгодой для себя и общества. Об экономике, ослабленной в самом главном и решающем своем устое — положении работника. О той парадоксальной ситуации, при которой, располагая колоссальными площадями под зерновые культуры и самыми богатыми в мире черноземами, страна экспортирует зерно; имея огромный лесохозяйственный комплекс — испытывает нехватку строительного леса, мебели, бумаги; производя больше всех металла и энергоносителей — сидит на постоянном голодном пайке ...

Мы говорили о многих несуразностях нашей жизни и приходили к выводу: так дальше продолжаться не может ...

В декабре 1979 года мы почти одновременно узнали из газет о вступлении советских войск в Афганистан и поспешили навстречу друг другу, чтобы обменяться мнениями. Сошлись в одном: это роковая ошибка и она дорого обойдется стране.

В те годы мы еще не проецировали столь прямо

внешнеполитические дела на внутреннюю ситуацию в Советском Союзе, хотя обоим было ясно: не изменив внешнюю политику, не изъяв из нее главные факторы недоверия — силовой компонент и ориентацию на идеологические „указатели пути“, мы не создадим вокруг нее зоны комфортного доверия.

Эти идеи не формулировались тогда Горбачевым. Будущее было подернуто тучами, как вечереющее небо над холодным зимним морем.

Наши пицундские беседы тоже были своеобразным итогом. Для того чтобы они могли состояться, каждому предстояло пройти немалый путь. По всем традиционным меркам это был путь наверх. Путь успеха. Внешне, по крайней мере, было так. На обычный, чтобы не сказать обывательский, взгляд, мы делали карьеру удачливых комсомольско-партийных функционеров. Но если придерживаться иных измерений, то это был путь внутрь действительности, путь постижения причин, обусловивших существующее положение, и напряженного поиска выхода из него.

Вначале для меня это движение ограничивалось Грузией. Границы устанавливались рамками моей деятельности — первого секретаря Центрального Комитета комсомола республики, затем — первого секретаря районных комитетов партии. Район в ту пору — основное звено административно-территориального устройства республики, райком партии — основание иерархической пирамиды партийно-государственной власти. Только на первый взгляд власть первого секретаря райкома была безграничной в районе. На деле существовало такое множество ограничений, что желающий действовать с пользой и выгодой для района руководитель был связан по рукам и ногам. Чтобы разорвать путы, он должен был „выходить наверх“, но и там, в верхних эшелонах власти, обнаруживал полную их зависимость от более вышестоящих органов.

Поэтому, сколь ни мало начальное звено — райком, сколь ни сужен обзор секретаря райкома, он постоянно имеет дело с системой в целом. Для мыслящего человека ее несовершенства очевидны, для стремящегося что-то делать, изменять к лучшему — невыносимы.

Если позволительно говорить о суверенитете района, то есть самостоятельности, независимости в решении жизненно важных для него вопросов, то я мог бы сказать, что это было главной моей заботой и проблемой. Проблемой, увы, неразрешимой. Затем она переросла для меня в проблему республиканского масштаба. Я — первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии республики, ставший кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, зачастую не мог решить простейшего вопроса, не поклонившись всемогущим распорядителям кредитов и материальных благ в Центре. О чем бы ни шла речь — о выделении ли энергоносителей или открытии школы подготовки юношей-грузин для поступления в высшие военные учебные заведения, обновлении основных фондов чаеводства или строительстве крупных объектов общественного назначения — без ведома и разрешения Москвы мы и шагу ступить не могли. И что бы ни говорили обо мне критики из числа моих соотечественников, проблема достижения реального суверенитета республики, по Конституции СССР — независимого государства, всегда стояла передо мной.

Как я пытался ее решать — особая тема. Но сразу подступиться к ней трудно, не объяснив кое-каких вещей. Работа в районных комитетах партии, сначала в сельском, затем в городском, на многое открыла глаза. Не сразу я понял, что между пороками централизованного управления экономикой и коррупцией существует прямая связь. Долгое время они существовали для меня порознь, и на передний план, заслоняя все остальное, выдвигалась корруп-

ция. Больше всего от нее страдал „маленький человек", рядовой гражданин. Он не мог найти от нее защиты ни в высших эшелонах власти, ни в правоохранительных органах, ибо мафия проникла и в эти структуры и контролировала их. Доверие к власти было подорвано, чистоган определял все и вся, в обществе воцарялась атмосфера безысходности. Процессы гниения и распада были особенно страшны на фоне безудержной эксплуатации коммунистической и патриотической фразеологии. Для камуфляжа расхищения материальных ценностей использовались самые дорогие понятия. Для меня борьба с коррупцией, подпольным бизнесом, его воцарение на верхних этажах общественной жизни становилась делом спасения главных национальных достояний. Нация, которую разъедают метастазы преступного стяжательства, говорил я себе, обречена на вырождение и гибель.

В те годы во главе республики стоял Василий Павлович Мжаванадзе. На пост первого секретаря ЦК Компартии Грузии его выдвинул Хрущев, хорошо знавший Мжаванадзе по годам войны. Боевой армейский генерал, он оказался на редкость мягким и доверчивым человеком. Ко мне он относился хорошо, и я отвечал ему тем же. Однако не мог закрыть глаза на иные черты его характера и уровень знаний о реальном положении дел в республике. Этим пользовались многие, в том числе в его ближайшем окружении. Когда мне представилась возможность сказать ему об этом — сказал. В ответ, спустя какое-то время, получил предложение занять пост первого заместителя министра охраны общественного порядка Грузии.

Наверное, необходимо сказать о том, что я никогда не претендовал на какое-то особое положение, не домогался чинов и постов. Знаю, найдется много людей, готовых оспорить это утверждение. Немало, однако, и таких, которые могли бы засвидетельство-

вать, что я всегда отказывался от так называемых почетных предложений, сомневаясь в своих способностях выполнять порученное дело на достаточном уровне компетентности. Лишь убедившись в существовании реальной поддержки, способной компенсировать те или иные пробелы в моей подготовке, соглашался.

Так было и с назначением на пост заместителя министра охраны общественного порядка, и с выдвижением на должность министра внутренних дел. И в том и в другом случае поддержка была широкой. Исходила она не только от коллег, честных профессионалов, озабоченных ситуацией в органах охраны правопорядка. Пришли молодые ученые-криминологи, писатели, работники культуры, журналисты, предложили идеи, высказали предложения, реализация которых, по их мнению, могла бы помочь в оздоровлении общественной атмосферы.

В основу концепции моей новой работы была положена идея опоры на здоровые, жаждущие перемен силы. Они должны были получить убедительные свидетельства возможности обезопасить общество от разлагающего влияния нескольких основных преступных кланов, пользовавшихся покровительством в так называемом „Большом доме". Поэтому многим они казались недосягаемыми для уголовно-правового преследования. Начать его, воздать по заслугам, убедить людей в действенности закона, против остальных же осуществлять профилактические меры.

Общество имеет право знать о всех угрожающих ему пороках. Официальная пропаганда замалчивала их. Цензурные запреты распространялись на все, что так или иначе могло бы свидетельствовать о крайне неблагополучном положении дел. Например, на сведения о характере и масштабах распространения наркомании. Приходилось искать обходные пути. Так возникла идея института общественного мнения, результаты исследований которого могли бы стать

достоянием широкой общественности. Были введены в практику регулярные встречи с прессой, широко обнародовались сведения о преступности, и, хотя цензура выстраивала перед ними заслон, они тем не менее находили пути к обществу.

Впоследствии в зарубежной печати появились сообщения о случаях нарушений законности в правоохранительной практике тех лет. Не берусь утверждать, что они не имели места. Пенитенциарная система в тоталитарном государстве несет в себе все его ужасающие черты и одному человеку не под силу реформировать ее, не изменив характера самого государства. Чистки следственного и тюремного персонала, направление в органы внутренних дел проверенных на комсомольско-партийной работе кадров не помогали. Ограниченность принятой концепции была очевидна, но на тот момент большего сделать я не мог. Как огня боясь рецидивов бериевщины, отметал все, что могло бы повлечь за собой цепную реакцию „охоты на ведьм". Даже в тех случаях, когда угрозы касались непосредственно меня, не проявлял личной заинтересованности, отвергал предложения о соответствующем расследовании.

Когда впоследствии меня спрашивали о достоверности подобных фактов, я называл их мифическими. Не мифом, однако, было явное стремление устранить меня с поста министра внутренних дел, и в этом стремлении я видел свидетельства небезуспешности предпринятых мер. Находил в нем известное удовлетворение.

Способы изыскивались самые разные. Один из них и по сей день забавляет меня. В какой-то момент наши доморощенные мафиози начали сбор крупной денежной суммы для подкупа тогдашнего министра внутренних дел СССР — чтобы он назначил меня своим заместителем. То есть чтобы я перебрался из Тбилиси в Москву и оставил их в покое. Посредником был намечен близкий знакомый министра, широ-

ко известный в мире искусства человек. Он был безупречен в моих глазах, и я, внутренне посмеиваясь, ждал провала сделки. Так оно и произошло.

Этот человек жив, здравствует и, если эти строки попадутся ему на глаза, может подтвердить мои слова.

Я нередко ошибался в людях, но никогда не принимал на веру сведения о личной непорядочности или служебной недобросовестности того или иного человека. Пока непосредственно не убеждался в этом сам. К нашей общей беде, в закрытом, неправовом обществе ничего не стоит оболгать, оклеветать человека, и не каждый имеет возможность отвести хулу. Это происходило со многими, теперь коснулось и меня. Но сейчас мне не хочется говорить об этом. Эта книга — не замочная скважина, через которую можно было бы разглядывать подробности моей частной жизни, а ключ к пониманию явлений более широкого порядка. Во всяком случае, таков замысел, а как он осуществится — другое дело.

Что было, то было: и на посту министра внутренних дел, и в должности первого секретаря ЦК Компартии Грузии мне приходилось принимать непопулярные решения. Но для кого непопулярные? Вряд ли для отказников — грузинских евреев, которым препятствовали в выезде в Израиль, а я разрешал. Недавно один из них напомнил мне мою фразу тех лет: „Пора перестать видеть в эмигранте врага". Что ж, если я действительно произнес такую фразу, то, значит, мыслил в правильном направлении.

Полагаю, мыслил в правильном направлении и когда искал пути, средства, возможности ослабить чрезмерный диктат центральных ведомств, иными словами — засилье административно-командной системы, лишавшей республики какой бы то ни было самостоятельности.

Говорят, что инициатива наказуема. Тем более

наказуема инициатива, посягающая на святая святых системы — ее право решать, что и как вам надлежит делать. На право по ее усмотрению распоряжаться вами. В политике, где никакая благая цель не может быть достигнута без правильного выбора средств, приходится выбирать их адекватно реальной ситуации. А она была такова, что прямой и открытый вызов существующему порядку вещей был заранее обречен на поражение. Как я уже говорил, приходилось осуществлять нововведения под видом экспериментов. Узость их масштабов гарантировала снисхождение охранителей системы, результаты — какой-то шанс развивать начинание на более обширной территории. „Эксперимент" стал кодовым словом, паролем для желающих изменить существующий порядок вещей. Все они зачастили на наш „полигон", чтобы убедиться: невозможное — возможно.

Возможно, например, создать в городе Поти территориально-отраслевой орган самоуправления, благодаря которому расположенные на подпадающие в его юрисдикцию территории предприятия союзного подчинения уже не могли игнорировать нужды города и вносили свою лепту в его развитие. Причем — не без выгоды для себя.

В горных районах, где невозможно вести крупное коллективное хозяйство и только семейная форма способна наладить дело с более или менее сносными результатами, был внедрен так называемый семейный подряд.

Все, что диктовалось здравым смыслом, мы облекали в форму эксперимента. Привлечение зарубежного капитала для финансирования строительства горных спортивно-оздоровительных центров. Организацию сети частных ресторанов. Внедрение компьютерной техники в организацию сбора урожая. Создание механизаторских бригад, чей труд стимулировался более щедро, нежели в обычных хозяй-

ствах, и соответственно более высокой оказывалась производительность труда.

Мы передавали транспорт в аренду, ставя перед водителями всего несколько простых условий: эффективная работа, хорошая сохранность техники, культура обслуживания. Сколько вы зарабатываете, говорили мы, не наше дело, за исключением определенной части дохода.

Уже в те годы нам была ясна необходимость оздоровления финансов и денежной системы. Был разработан общереспубликанский проект, к его осуществлению мы приступили энергично и целеустремленно.

Мы создали систему государственной поддержки реставрации памятников истории и культуры. Специально созданное управление заботилось не только об их восстановлении и охране — не менее важным, как я сказал, было использование шедевров зодчества для пропаганды и приобщения к национальной истории возможно большего числа соотечественников и друзей Грузии.

Этой же цели служили местные праздники, как, например, Тбилисоба, праздник столицы, возродивший интерес к историческим и культурным достопримечательностям города, их сбережению. В ту пору я много размышлял о том, что лишь объединенный вокруг высоких идеалов и способный трудиться для их воплощения народ имеет будущее. Он не может жить, лишь оглядываясь на свое прошлое, как это со многими происходило, только сегодня и во имя сегодня он может и обязан реализовать свой творческий потенциал.

Мне неизвестен столичный город, где был бы установлен памятник родной речи, родному языку. В Тбилиси он есть. Но это не мемориал, а символ. И еще — призыв: любить, беречь, охранять язык, развивать его, улучшать изучение и преподавание. Для

этого были приняты специальные законодательные акты, разработана общереспубликанская программа. Но одновременно был поставлен вопрос об улучшении изучения и преподавания родных языков других народов и этнических групп. Так, в районах компактного проживания понтийских греков было введено преподавание новогреческого языка.

Полагаю, первая в Советском Союзе высшая школа для менеджеров открылась в Тбилиси. Она готовила руководящий управленческий персонал для реформируемой республики.

Так мы начинали в Грузии свою перестройку. Если быть совсем уж точным — мы первыми начинали ее, не сомневаясь, что при разумных подходах она вполне реальна. Убеждались, что, сооружая новые конструкции при одновременном осторожном демонтаже старых, можно добиться прекрасных результатов.

Многое, конечно, зависело от людей, от их отваги, мужества. Дайте им знак, подайте сигнал — они придут и встанут рядом. Это я познал на собственном примере.

Когда Тенгиз Абуладзе снял — тоже в виде „эксперимента“ — свой знаменитый фильм „Покаяние“ и об этом узнали в Москве, один из высокопоставленных деятелей сказал мне:

— Говорят, вы сняли антисоветский фильм?

Это был не вопрос — утверждение, и в нем звучали угрожающие нотки.

— Почему же антисоветский? — спросил я. — „Покаяние“ — фильм о том, к чему приводят произвол и беззаконие. Разве эта проблема не актуальна для нас?

Режиссер Роберт Стуруа, чьи новаторские театральные постановки грузинской и мировой классики, политически всегда заостренные и смелые, вызывали у одних восхищение, у других — ропот и смятение, говорил своим московским коллегам:

— Мне ваши проблемы незнакомы. У себя в Грузии я ставлю все, что хочу, и так, как считаю нужным.

В то время в других городах страны людей искусства карали не только отменой спектаклей и запретом на издание книг. Выдающийся кинорежиссер Сергей Параджанов был осужден на Украине и приговорен к лагерному сроку по статьям, ничего общего не имеющим с его политическими взглядами и гражданской позицией. Его осудили за диссидентство. По выходе из мест заключения он приехал в свой родной Тбилиси и здесь вновь был привлечен к уголовной ответственности — вновь по другим мотивам.

Мои друзья, грузинские кинематографисты, могут подтвердить, каких усилий стоило вызволить его из неволи, спасти как художника, дать возможность снова заняться творчеством.

Кое-кем „наверху“ это тоже было воспринято как „эксперимент“, цель которого была та же, что и у других нововведений: поколебать устои.

Нечто подобное я услышал после освобождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова из горьковской ссылки.

Все, что мы делали в те годы в Грузии, можно было по меркам господствующей идеологии без труда зачислить в разряд антисоветского, и желающих сделать это было более чем достаточно. Поэтому наша инициатива, наше право на эксперимент должны были быть надежно защищены. По самому большому счету — защищено право на поиск путей к достижению республикой реального суверенитета, хотя бы и в рамках существующей системы. Реформаторство отнюдь не было самоцелью, традиционной „показухой“, когда, желая завоевать расположение начальства, создают видимость бурной деятельности. Нет, мы затевали реформы ради совершен-

но конкретных целей, и они стоили тех средств, к которым приходилось прибегать. В условиях „феодальной“ вертикальности мне не оставалось ничего другого, как играть по правилам системы. А именно — добиваться поддержки сюзерена.

Я получил ее, и было бы нечестным утверждать, как это делают мои оппоненты, что получил лишь благодаря славословию в адрес Брежнева. Гроссмейстеров лести у него хватало и без меня. Иногда мы встречались и беседовали. Я делился с ним своими планами — это ему импонировало. Широко известные факты о неблаговидном поведении некоторых его родственников утаивались от него. Один из них проявлял повышенную „активность“ в грузинских делах. Я сказал об этом Брежневу. Он возмутился, сказал, что я обязан действовать так, как считаю нужным.

В день моей отставки в кулуарах съезда народных депутатов распространялись листки с моими высказываниями о Брежневе. Могли бы отпечатать и другие речи, в которых я говорил ему весьма нелицеприятные вещи — то, чего не делал никто.

Когда-нибудь я опубликую эти речи.

На XXVIII съезде партии меня спросили, как бы я мог соотнести прежнюю мою хвалу Брежневу с моей сегодняшней позицией. Я ответил, что Генеральный секретарь не только не препятствовал нашим начинаниям (а он, конечно, мог бы препятствовать им ввиду их, так сказать, „еретического“ характера), но и поддерживал их. В этом смысле для меня застоя не было. Так что же мне, жертвовать справедливостью, порядочностью, доброй памятью, наконец, ради господствующих на сегодняшний день оценок и настроений? Как я буду выглядеть в собственных глазах?

Поступки, слова, действия политика нельзя вырывать из контекста его деятельности, игнорируя ее

общую направленность. Ведь в том, что наши ученые-обществоведы назвали нравственной революцией, был немалый риск. Наши эксперименты, шедшие вразрез со „священными“ догмами, не просто раздражали высокопоставленных ортодоксов — вызывали у них ярость и жажду расправы. О, если бы она грозила только мне!

Разве могу я забыть, в какой драматической ситуации принималась на сессии Верховного Совета республики в апреле 1978 года новая Конституция Грузии? Большинство населения республики требовало сохранить в ней статью о государственном статусе грузинского языка. Эта норма была в первом Основном законе Советской Грузии, принятом еще при Ленине. Осталась она и в Конституции 1938 года. Однако в новый проект ее не включили — по требованию московских государствоведов: „Статья противоречит марксизму-ленинизму“.

Я рассказал об этом Брежневу, высказал свои тревоги и опасения. Он посоветовал поговорить с Сусловым и Черненко, „а если будет особенно трудно — дай мне знать“.

Не просто было убедить их в неразумности изъятия статьи о государственном языке. Во мне по-прежнему был жив „комплекс 1956 года“. Было известно, что готовится мощная студенческая демонстрация в защиту родной речи. Я понимал, к чему это может привести. В день сессии, за несколько часов до ее начала, на рассвете состоялся телефонный разговор с М.А.Сусловым. Я просил доложить Брежневу, напомнил о 1956 годе, убеждал и наконец сказал, что буду действовать по своему усмотрению.

Пусть сколько угодно говорят о „маневре“ и „заигрывании с Москвой“. Мы предотвратили большую беду и приняли Конституцию в соответствии с волей народа — вот что для меня главное. Я очень высоко ценю поддержку, которую в те трудные дни мне

оказывали Г.В.Колбин и ряд товарищей из Центрального Комитета партии.

Да, мне приходилось рисковать, но я всегда знал, ради чего это делаю. Даже в тех случаях, когда обстоятельства несли прямую угрозу моей личной безопасности.

Разве риск – это когда вы рискуете жизнью?

Риск – когда не рискуете. Трусливо обезопасив себя, рискуете потерять все: доверие, уважение, поддержку людей и право быть лидером. Как сказал один мой старинный друг, народом должны руководить не просто мудрые – смелые люди.

Разумеется, это ненормально, когда руководителю постоянно приходится испытывать свое мужество в экстремальных ситуациях. Норма – спокойная работа в спокойной, лишенной эксцессов обстановке. Но если нет спокойствия, если бурлят страсти – надо идти к людям и разговаривать с ними.

От этого я никогда не уклонялся, как не уклонялся от признания своих ошибок.

Перестройку обвиняют в том, что она разожгла национальные и межнациональные страсти. Это неверно. На деформации в национальной политике, на прямолинейную и вульгарную эксплуатацию тезиса о сближении и слиянии наций, грубо переносимого в практическую плоскость, ответом всегда были недовольство и возмущение. Искры тлели под пеплом былых поражений, но память о них не угасала. В любую минуту сапог обвинений в национализме мог затоптать их. Перестройка убрала сапог, и искры разгорелись, теперь уже осеняемые ярлыками сепаратизма и экстремизма. Так что же, жалеть о сапоге и взывать к сапогу?

Если о чем и сожалеть, так разве лишь о том, что перестройка с самого начала не выработала концепцию национальной политики, адекватной своим целям и задачам. Ведь уже в самом начале, в

1986-м, а особенно заметно – в 1988 году проявились симптомы ушедших вглубь недугов, требовавшие коренной реформации национально-государственного устройства страны.

В счете, который я предъявляю самому себе, этот „пункт" — главный. Один из немногих членов руководства, досконально разбирающийся во всех тонкостях жизни национальных республик, не понаслышке знающий, сколь серьезны, сложны, неоднозначны волнующие их население проблемы, я мог бы более активно воздействовать на выработку и принятие правильных решений. Ведь у меня за плечами была суровая школа. Межнациональные трения возникали практически во всех регионах республики. Особенно трудными были конец семидесятых-начало восьмидесятых годов. Мне и моим товарищам приходилось вступать в напряженное, опалявшее нас гневом и неприязнью общение с десятками тысяч людей. Но это был диалог, стремление и попытка дойти до умов и сердец и в свою очередь услышать и понять их.

Однажды, в 1978 году, в Сухуми на двадцатитысячном митинге народ отказался слушать нас. Было два варианта действий: уйти, оставив все как есть, или все-таки постараться завязать разговор. Мы выбрали второй путь. Всю ночь просовещались, а наутро разъехались по селам, городам и рабочим коллективам. Это было неимоверно трудное дело – найти общий язык с людьми. Около двух месяцев шел этот острый, весьма болезненный для нашего самолюбия разговор. Но это был разговор на равных, без окриков и угроз, лести и посулов – настоящий диалог. Благодаря ему мы избежали самого страшного – кровавых столкновений на национальной почве, не дали искрам разгореться в пожар.

Каждый человек обязан понимать другого, особенно когда обострены чувства. Очень важно понимать национальные чувства, иначе говоря – понимать

народ. Разобраться, что его тревожит, почему он в обиде на соседей и недавних друзей.

К нашему несчастью, это оказалось не всем по плечу. Мало кто входит в рассуждение насчет этого. Преобладают менторско-поучающий тон, разговор свысока. Этим грешили даже иные члены Политбюро — и даже в годы перестройки. Приезжали в республики и держали такие речи, в таком тоне их вели, что в аудитории вызревала ярость. Может быть, именно такие поездки и речи стимулировали то, что впоследствии было названо национальным экстремизмом.

Лишенная элементарной чуткости власть неизбежно терпит поражение. Мне скажут, что власть и чуткость — вещи не совместимые. Хорошо, пусть будет не чуткость, а чутье — хотя мне больше нравится чуткость, это слово точнее, — но ведь и чутья, интуиции нам подчас катастрофически не хватает.

Столь же искренне, откровенно хочу сказать о моем отношении к диссидентскому движению. По этому поводу в мой адрес было много критических высказываний в зарубежной печати и сегодняшней грузинской прессе. Не оспаривая их, я мог бы просто сказать: да, было. Но сейчас этого мне недостаточно.

Борьба с инакомыслием велась по всей стране под флагом борьбы с антисоветизмом и национализмом. Конечно же, это была общегосударственная политика, широко использовавшая репрессивный и пропагандистский аппарат. Мог ли я предотвратить или остановить ее? Конечно же, не мог. Но заявить протест был обязан. Однако тогда, в семидесятых годах, ни внутренне, психологически, ни политически не был готов к этому.

Многие участники диссидентского движения Грузии были мне хорошо знакомы. С некоторыми не раз встречался и беседовал. Слово „диссидент" — все

тот же ярлык, за которым скрывается истинная мотивация личности. Никакие это были не диссиденты — обычные, нормальные, но разгневанные существующим порядком вещей люди. Полагаю, мы беседовали без ярлыков, и я во многом был согласен с моими собеседниками. Например, с необходимостью убрать танково-артиллерийский полигон подальше от уникального монастырского комплекса Удабно, разрушаемого детонацией, или с требованиями улучшить режим хранения бесценных древних рукописей. Все это, как и многое другое, о чем мне говорили эти люди, было моей заботой, но оказывалось — не в моей власти. Никак не удавалось убедить соответствующие центральные ведомства перенести полигон в другое место или выделить ассигнования на строительство современного хранилища для рукописей.

Не в моей власти оказалось защитить тех разгневанных мужчин и женщин, которые в своем обличении существующих пороков шли много дальше слов, предпринимали шаги, мало согласующиеся со статьями Уголовного кодекса.

Но были сотни молодых людей — студентов, научных работников, писателей, от которых удалось отвести беду. Мы вели открытые дискуссии. Каждая из них прямо подпадала под соответствующие статьи Уголовного кодекса, которые, однако, в действие не приводились.

Моя позиция по каждой личности формировалась в трудной внутренней борьбе с самим собой. Может быть, именно в результате этого противоборства я и пришел к тому, к чему пришел, к тому, что сделало меня активным сторонником перестройки. Эта борьба, как и знание правды о положении дел в стране, привела меня к выводу о том, что корень существующих зол — не в отдельных людях, а в системе. И если иные люди настроены враждебно по отношению к ней, то лишь потому, что она безжалостна к

человеческой личности. Что в условиях тоталитаризма невозможно обеспечить соблюдение прав человека, его свободу, а значит — невозможно обеспечить нормальное развитие страны.

„Все прогнило. Надо менять“, — я действительно сказал это Горбачеву зимним пицундским вечером 1984 года и не отрекусь от этих слов и сегодня.

***

Наверное, следовало бы вспомнить тот день в середине июня 1985 года, когда в моем тбилисском кабинете раздался телефонный звонок и я услышал в трубке голос Горбачева.

— У меня есть весьма серьезные намерения в отношении тебя. Два предложения, конкретизировать которые я пока не готов. Но оба связаны с твоим переездом на работу в Москву.

Отреагировал я несколько настороженно, сказал, что моей нынешней работе в Грузии нужна поддержка, и я надеюсь ее получить. Ничего другого мне не нужно.

— Не торопись с решением, — сказал Горбачев. — Это будет очень важное предложение.

30 июня он позвонил вновь.

— Хочу продолжить наш разговор. Мы окончательно определились и предлагаем тебе пост министра иностранных дел. Завтра утром ждем в Москве.

Сказать, что я был удивлен, — ничего не сказать. Не раз говоря разным людям, что это была самая большая неожиданность в моей жизни, я, наверное, не выражал этими словами и тысячной доли охвативших меня в те мгновения чувств. Попробуйте описать чувства человека, с головой ушедшего в дела малой своей родины и вдруг, в один миг, выхваченного из них таким вот рывком.

У меня в кабинете висела рельефная карта Грузии — каждый ее сантиметр был буквально на

ощупь знаком мне. Никаких иных карт я не держал перед глазами. Я тогда уже поездил по свету, но немного — побывал в девяти странах. У себя в Тбилиси часто принимал зарубежные делегации, иногда — весьма высокого уровня, но они были всего лишь гостями, а я — гостеприимным хозяином. Если и приходилось прибегать к дипломатии, то лишь в кругу острых на мысль и язык соотечественников и в общении со столичными иерархами, от которых мне надо было чего-нибудь добиться. Незнание иностранных языков — только родной, грузинский, и русский, с невытравленным акцентом. Отсутствие опыта, специальных знаний ... Да полно, не ослышался ли я?

Нет, не ослышался.

— Все, что угодно мог ожидать, только не это. А Громыко?

— Громыко поддерживает твою кандидатуру. Приедешь — поговорим.

Вылетел в Москву ранним утром следующего дня. Беседа с Горбачевым длилась минут сорок. Большую часть этого времени я посвятил доводам против моего назначения. Министр иностранных дел — это не должность, а профессия, говорил я. Дипломатия — сложный профессиональный мир, в который трудно войти своим, признанным человеком. В моем случае — и того труднее. Отнюдь не второстепенный вопрос — национальность. Исторически этот пост всегда занимал либо русский, либо питомец российской культуры, российских корней. Мое назначение будет неоднозначно воспринято в России и других республиках. Неизбежно возникнут непростые вопросы и за рубежом ...

— Вопрос этот решен, — сказал Горбачев. — Он согласован с секретарями Центрального Комитета. И, как я уже сказал, твою кандидатуру поддерживает Громыко. Что же до национальности, то да, ты —

грузин, но ведь советский же человек! Нет опыта? А может, это и хорошо, что нет? Нашей внешней политике нужны свежесть взгляда, смелость, динамизм, новаторские подходы... У меня нет сомнений в правильности выбора.

Сразу же после беседы было созвано заседание Политбюро. Горбачев проинформировал коллег, изложив уже знакомые мне доводы. Предоставил слово Громыко. Андрей Андреевич говорил о том, какой, по его мнению, должна быть внешняя политика страны на этапе перестройки и какой он представляет себе работу нового министра иностранных дел. Он был добр в своих высказываниях обо мне и щедр в заверениях поддержки дипломатического ведомства. В ответ я вновь высказал свои сомнения. Боюсь, что мне не удалось скрыть смятения. Такой переход из одного состояния в другое, из соизмеримых с привычной жизнью масштабов в абсолютно несоизмеримые был сопряжен для меня с сильнейшим потрясением.

Почему я не отказался? Сказать, что это было не принято, противоречило бы традиции — значит покривить душой. Я достатачно часто действовал против правил, в нарушение традиций, чтобы на сей раз поступить иначе. Да, я не ведал тонкостей профессиональной дипломатии, но знал за собой способность так вгрызаться в дело, чтобы меня не считали дилетантом в нем. Это был вызов, и я не мог не принять его. Я всегда искал сильных оппонентов и партнеров — это помогало приводить в действие все внутренние ресурсы. А главное — выбор Горбачева, который для меня был выбором товарищества. Я знал, чего хочет он, и знал, что хочу того же.

2 июля состоялся Пленум ЦК, на котором меня избрали членом Политбюро.

...Спустя несколько дней, перед окончательным переездом в Москву, я на несколько часов приехал

в Мамати. Родительский дом встретил улыбками родственников и односельчан. За скромной трапезой помянули умерших. Потом я пошел на кладбище и постоял немного у надгробных плит. Наверное, я не должен говорить об охвативших меня тогда чувствах.

С балкона дома широко открылось наше село. По долине змеилась серебристая Супса. Где-то далеко отсюда впадала она в Черное море. На большее взгляд не простирался, и мне по-прежнему трудно было представить себя перед „лицом мира“...

ВВЕДЕНИЕ В КУРС НОВОГО МЫШЛЕНИЯ



От Кремля до Смоленской площади, где расположено Министерство иностранных дел СССР, несколько минут езды. Пока ехал в МИД, на свою первую встречу с коллегами, мысленно проделал куда более продолжительный путь.

Это было 2 июля 1985 года, когда по завершении Пленума Центрального Комитета М.С. Горбачев предложил мне немедленно приступить к делу. Легко сказать „немедленно"... Но с чего начать?

У подъезда ждал начальник секретариата. Мы поднялись на седьмой этаж и вошли в кабинет министра.

Со 2 июля 1985 года по 16 января 1991 года я провел в нем пять лет и шесть с половиной месяцев. Прошу поверить: мне запомнился едва ли не каждый прожитый здесь день, но тот, первый, — врезался в память до мельчайших подробностей.

Те, кто бывал в этом кабинете под порядковым номером 706, могут подтвердить: в его интерьере ничего не было изменено. Все осталось, как при прежнем владельце. Но с того дня должна была измениться внешняя политика, и, зная — как, я не знал, с чего начать.

Попросил пригласить заместителей министра. С некоторыми из них был знаком, но одно дело встречаться на заседаниях Центрального Комитета и совсем другое — вступать в должность, подчинявшую моих добрых знакомых мне, даже на самый доброжелательный взгляд — чужаку и дилетанту.

С трудом преодолевая волнение, предложил ввести меня в курс дела, рассказать, кто какую отрасль ведет, познакомить с самыми неотложными вопросами. Выслушав коллег, сказал:

— Я весь перед вами, и положение у меня — хуже не придумаешь. Удивить вас познаниями в области внешней политики не могу. Могу лишь обещать, что буду работать так, чтобы мне не было стыдно перед вами, а вам — за меня. И все-таки не уверен, что из этого что-нибудь получится. Мне придется особенно трудно на фоне авторитета Андрея Андреевича Громыко и того наследия, которое он оставил. Что я по сравнению с ним, крейсером мировой внешней политики? Всего лишь лодка. Но — с мотором.

Дружный хохот коллег снял напряжение. Несколько забегая вперед, хочу сказать, что этот мой „мотор“ с самого начала получил сильную зарядку от их доброжелательности, участливого отношения ко мне, готовности помочь, просветить, приобщить к делу, не акцентируя при этом свой профессионализм и пробелы в моих знаниях, щадя мое самолюбие. Разумеется, это рождало во мне чувство благодарности. Но не только. Став объектом пристального и повышенного внимания в министерстве и за его пределами, когда явно сбывались мои прогнозы о неоднозначной реакции на мое назначение министром иностранных дел, когда удивление соседствовало с недоумением, а то и с негодованием, я стремился как можно быстрее избавиться от унизительного положения ученика, назначенного в руководители к мэтрам. Но не спешил при этом. Парадокс? Ни в коем случае. Формула: максимум сосредоточенности на деле, минимум выраженных вовне претензий на формальное, не обеспеченное реальным авторитетом главенство — помогала решать задачу быстро, но не поспешно.

Тем не менее самая большая неожиданность в моей жизни становилась самым большим и трудным испытанием — и с точки зрения пережитого, и с точки зрения вхождения в сложный мир дипломатии в столь непростое для страны и мира время.

Это было испытание, до предела напрягавшее не только волю, не только всегдашнюю мою способность работать так, чтобы соответствовать занимаемой должности, — экзамен держали мои знания и представления о стране, ее внутреннем положении и внешней политике, ее месте в мире, о том, какая она есть и какой она должна и могла бы быть. Все, что меня мучило не один год, требовало и не находило ответа, — нахлынуло на меня в те первые дни, недели и месяцы пребывания в кабинете министра на седьмом этаже высотного здания на Смоленской площади в Москве.

И при этом едва ли не самой моей большой заботой было самочувствие моих коллег: подвергаясь тягчайшему испытанию, я был обязан уберечь их от потрясений, связанных со сменой курса. Поворот должен был совершиться плавно и естественно.

Прежде чем предложить им четкую и ясную программу действий, я должен был выстроить ряд приоритетов для самого себя — что я считаю основным, главным, ключевым для руководителя коллектива советских дипломатов. Глубоко уважая своего предшественника на посту министра, почитая его колоссальный опыт, компетентность, эрудицию, зная, сколь авторитетен он в кругу советских и зарубежных дипломатов и в народе, я опасался как-то невзначай, ненароком противопоставить себя ему, выступить в роли этакой „новой метлы“, которая всегда бурно метет, но при этом вздымает много сора и пыли.

Повторяю, я не спешил, присматривался к людям, наблюдал, накапливал информацию о ведомстве, больше слушал, чем говорил, изучал, но не поучал, брал, сколько мог взять, и отдавал только поощряющим интересом и вниманием к потенциально сильным сторонам сотрудника. В то же время я ясно осознал, что перестройка не может ждать. Что

она не обойдет стороной наше ведомство, что ему нужны новые ориентиры, отвечающие новым реальностям времени, в которых оказались страна и мир. Это была трудноразрешимая, как мне тогда представлялось, дилемма, но в целом мне виделись три взаимосвязанные задачи, которые предстояло решить.

Первая — личное мое самоопределение, становление в качестве министра, то есть и главы ведомства, и дипломата, признанного коллегами, а не формального, в силу лишь высокого назначения.

Вторая — перестройка работы самого ведомства, адекватная стратегическим целям новой внешней политики, заявленным М.С. Горбачевым на апрельском (1985г.) Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Наконец, третья — самая главная и в то же время самая трудная — наше участие в практической реализации новой внешнеполитической стратегии в тесной ее увязке с задачами перестройки и демократизации общества и страны. Непосредственный эффективный вклад советской дипломатии в совершенствование и обогащение новых концептуальных подходов к ведению международных дел.

Как решалась первая задача — этот сюжет я уже обозначил и здесь, и в предыдущих разделах. Работать не щадя себя. Учиться у тех, у кого дóлжно учиться. Искать и находить опору в толковых людях. Поощрять их к действенному самораскрытию, пробуждая и повышая чувство профессионального достоинства, во многом ущемленное в прошлом. Не монополизировать право на мысль, быть открытым для самых разных мнений.

Допускаю, что ошибался, был подчас несправедлив, но в целом, наверное, смог утвердить стандарты нормальных служебных взаимоотношений. В личном же плане многое упустил и до многого не дотянулся. Неудовлетворенность собой — нормальное состо-

яние любого нормального человека. И хотелось бы повторить: сколько бы бессонных ночей ни провел я в стремлении овладеть началами нового для себя дела, мое прилежание не дало бы хоть каких-нибудь заметных результатов без концентрированной и целенаправленной поддержки моих коллег, советников и помощников, без доброжелательного отношения ко мне зарубежных собратьев по ремеслу, встретивших сочувственным и заинтересованным вниманием меня, а если точнее — тот новый курс, курс Горбачева, курс перестройки, который я представлял и по мере сил проводил в жизнь во внешних сношениях.

Вторая задача тоже далека от окончательного своего решения. Такой концовки у нее нет и быть не может. Ибо в современных условиях внешнеполитическое ведомство должно быть подобно гибкому производству, способному быстро переналаживаться на выпуск именно той продукции, которая нужна именно сейчас, сегодня, с учетом, разумеется, ее близкой и отдаленной перспективы, конкурентоспособности и т.п.

Так, скажем, для практического осуществления курса на сдерживание гонки вооружений и решение проблем безопасности мирными средствами было создано новое структурное подразделение — управление по проблемам ограничения вооружения и разоружению. Новые подходы к защите прав человека и провозглашенный принцип верховенства права потребовали сформировать специальные подразделения — управление по международному гуманитарному сотрудничеству и правам человека и международно-правовое управление.

Со временем коррективы, внесенные внутренней перестройкой, побудили нас углубленно заняться вопросами международного научно-технического, экономического, экологического сотрудничества, и быстрая структурная новация также отреагировала на выдвижение новых приоритетов.

Принципы гласности и открытости побудили улучшать связи с общественностью и прессой. Для этого было создано управление информации, введены в практику регулярные брифинги, пресс-конференции министра, его заместителей, послов.

Пожалуй, наиболее показательный пример — перестройка и объединение нескольких подразделений, действовавших на разных европейских направлениях, с весьма заметным, отражавшим факт разделения континента идеологическим акцентом. Теперь это одно мощное, с сильными структурными ветвями „древо", которое я для себя определял как интеллектуально-политический центр, ведающий проблемами создания единой Европы. Крупная реорганизация прошла в подразделениях, которые „вели" вопросы США, Африки, Латинской Америки, азиатско-тихоокеанского региона.

Что будет завтра? Не берусь что-либо советовать своему преемнику на посту министра — теперь ему решать это. Но, наверное, правильным был бы такой ответ: то, что необходимо для адекватного отклика на вызов времени. И так, наверное, без конца.

Перестройка — непрерывный процесс, как и новое политическое мышление. И здесь я подхожу к обрисовке третьей и самой главной нашей задачи, к тем сущностным, кардинальным переменам и сдвигам во внешней политике Советского Союза, которые предопределила политика перестройки. Практическая политика нового мышления.

Незадолго до прихода в МИД СССР в одной дельной книге я вычитал сетования по поводу того, что новое мышление не стало доминирующей тенденцией в международных отношениях.

После ухода в отставку познакомился с иным мнением: концепция нового политического мышления вступила в противоречие с процессами реальной жизни.

В последнее время появился и другой тезис: новое мышление годилось, мол, для разрушения старого миропорядка, но не может создать порядка нового, что тут должно появиться что-то совсем новое.

Первая точка зрения была опрокинута ходом развития международных отношений, их сегодняшним состоянием.

Вторую точку зрения, как и третий тезис, я собираюсь оспорить, и это тоже предмет дальнейшего разговора.

Пока же позволю себе немного порассуждать на старую, широко известную тему, памятуя о том, что иные вечные истины лишь выигрывают от своего повторения. Особенно во времена, когда многие либо забыли, либо не желают помнить о них. Рождаясь в больших умах, великие идеи долго ждут своего часа. Иногда ожидание растягивается на столетия. Но рано или поздно их час пробьет.

„Проект был недостаточно хорош для Европы, ибо Европа была недостаточно хороша для него“, — сказал Жан-Жак Руссо об одной из многочисленных концепций объединения стран Старого Света. Мысль ясна: для ее реализации в Европе той поры не было соответствующих условий и обстоятельств. Идея вызрела слишком рано, но отнюдь не поздно для наследников тех великих мыслителей, которые прозрели времена единства европейских стран и народов.

Сейчас, когда пришли такие времена и европейская идея впервые обретает шанс практического осуществления, ее поборники разделяют авторские права наравне со своими славными предшественниками. И вместе с этими правами — огромную, не знающую аналогов ответственность, ибо на сей раз им предстоит воплотить проект в реальность, то есть в повседневную жизнь миллионов людей.

Параллель с новым мышлением здесь более чем

очевидна. Слово о нем было произнесено в годы, когда в международных отношениях господствовало мышление категориями силы и конфронтации, когда сила почиталась главным национальным средством политики, когда противостояние полярных миров казалось, да и по существу было — неустранимым и риск гибельного для всего человечества столкновения между ними пытались свести к минимуму обоюдным наращиванием силы, по сути дела многократно увеличивая риск.

Ничто, казалось, не могло разорвать этот замкнутый круг, ничто ни сулило просвета во мраке лихорадочной гонки вооружений. Кошмар существования под дамокловым мечом ядерного взаимоистребления стал повседневным уделом человечества. И пелена отнюдь не спала с его глаз, когда прозвучали слова: „Необходим новый способ человеческого мышления, чтобы человечество выжило и развивалось дальше ... Люди находятся в новой ситуации, которой должно соответствовать их мышление ...“

Манифест Рассела—Эйнштейна предлагал политикам ключ к самым сложным и тяжелым замкам эпохи. Не столько сам ключ, сколько идею, замысел ключа: атомная бомба так изменила мир и породила такую ситуацию, в которой мыслить прежними категориями — значит семимильными шагами двигаться к пропасти.

Политики, однако, не захотели или, что вернее, не могли тогда воспользоваться этим ключом. Накопленный столетиями опыт защиты был слишком сильно спрессован в весьма эффективной практике военного обеспечения безопасности, чтобы мозговое вещество — эта самая хрупкая и беззащитная субстанция — могло пробить в ней спасительную брешь. Самая хрупкая и беззащитная и в то же время всесильная — чье всесилие, увы, чаще всего сказывается в яростном неприятии нового.

Ко всему этому цепкая живучесть „вековечных" представлений о праве силы питалась также соображениями удерживания власти, которую никто никогда добровольно не уступал. Новое мышление — эта глобальная революция в умах — должно было дождаться своего часа, когда осознание грозящих опасностей, подчиняясь неизбежности исторического процесса, подведет политиков к необходимости мыслить по-новому.

Должен был найтись в мире кто-то, кто решился бы соотнести новые реальности времени с новой мыслью.

25 февраля 1986 года в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, я вместе с другими делегатами XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза слушал Политический доклад ЦК съезду, с которым выступал М.С. Горбачев.

Я знал, какой документ будет предложен партии и стране, знал, как он разрабатывался, знал, какое противодействие встречали те или иные его положения. В подготовке доклада, иначе говоря — программы нового руководства страны, отразилась широчайшая и противоречивая гамма мнений о выборе пути. Спорили люди — так мне виделось это тогда, но сейчас я бы рискнул сказать, что это был спор интересов и позиций различных сил, достаточно широко представленных в тогдашнем составе Политбюро, весьма далеком от заявленного „монолитного единства".

По установившейся с давних пор традиции члены Политбюро получают проекты всех важнейших документов и высказывают по ним свои замечания. Проект Политического доклада XXVII съезду многократно перерабатывался, замечания вносились практически непрерывно. За день до открытия съезда, получив окончательный вариант доклада, я обнаружил, что в нем отсутствует упоминание необходи-

мости вывода войск из Афганистана. В первых вариантах доклада эта ключевая, на наш взгляд, фраза присутствовала в тексте. Почему же она исчезла? И по чьему настоянию?

Немалых усилий стоило восстановить и закрепить ее в докладе и решениях съезда.

Несколько опережая события, хотел бы сказать, что именно после афганского урегулирования, после вывода советских войск из этой страны цивилизованный мир поверил нам. Тем самым открылся широкий простор для практического осуществления принципов нового мышления. И, может быть, именно опыт афганской эпопеи подвел нас к мысли о возможности партнерства и сотрудничества с Западом.

Но на том этапе речь пока шла о философии внешней политики. В почти каждодневном общении с Горбачевым я различал движения мысли, шедшей в абсолютно неизведанном и, говоря откровенно, опасном направлении. Опасном с точки зрения выразителей и охранителей догм, которым в течение десятилетий подчинялось все и вся. Ниспровергатель вековечных постулатов всегда рискует, ибо ортодоксия, не прощая покушения на „святая святых“, автоматически трансформируется в инквизицию, спешащую наказать „еретика“. Драма идей, увы, почти всегда чревата личной трагедией для их автора и носителя. „Опасное“ направление мыслей не сулило спокойного их провозглашения.

Тем не менее, раздумывая над положениями доклада, я все больше убеждался: это именно то, без чего невозможен выход из создавшегося положения.

Выдвинутая еще в 1917 году теория мирного сосуществования не устраняет и не может устранить краеугольный камень изнурительной конфронтации — изначальную посылку о неизбежности победы одного общественно-политического строя над другим. С практической точки зрения она статична

и пассивна, ибо слишком динамичные и активные приверженцы классовой борьбы переносят ее на сферу межгосударственных отношений. Чтобы оправдать это, совместить несовместимое — объявили мирное сосуществование государств с различным общественным строем „специфической формой классовой борьбы". На XXVII съезде эта дефиниция должна была исчезнуть, принципу мирного сосуществования придавалось значение универсальной формулы межгосударственных отношений.

Это была отнюдь не схоластическая дефиниция. „Форма классовой борьбы" неизбежно влекла за собой взгляд на мир как на поле перманентной борьбы систем, лагерей, блоков, и „образ врага" завладевал сознанием миллионов во всех частях света.

Стереть, изгнать этот образ — едва ли не самая главная цель в условиях такого мирового развития, когда приближаются, встают во весь рост действительные враги человечества, грозящие ему гибелью, — термоядерная война, экологическая катастрофа, развал мирохозяйственной системы.

Для этого надо было отвалить в сторону камень вражды и недоверия, так, чтобы в образовавшийся просвет мир увидел действительно достойные его внимания ориентиры консолидации во имя выживания.

К тому времени, о котором идет речь, концептуальные начала нового мышления уже были заявлены и даже выведены в практическую сферу. Уже состоялась советско-французская встреча на высшем уровне в Париже, где М.С. Горбачев высказал идею общего европейского дома. Уже была Женева, где советский лидер и президент США Рональд Рейган сформулировали кредо о недопустимости ядерной войны. Уже было обнародовано заявление М.С. Горбачева от 15 января 1986 года о поэтапной ликвидации к началу следующего века всех запасов ядерного

оружия. Советский Союз прекратил ядерные испытания и призвал к тому же Соединенные Штаты Америки...

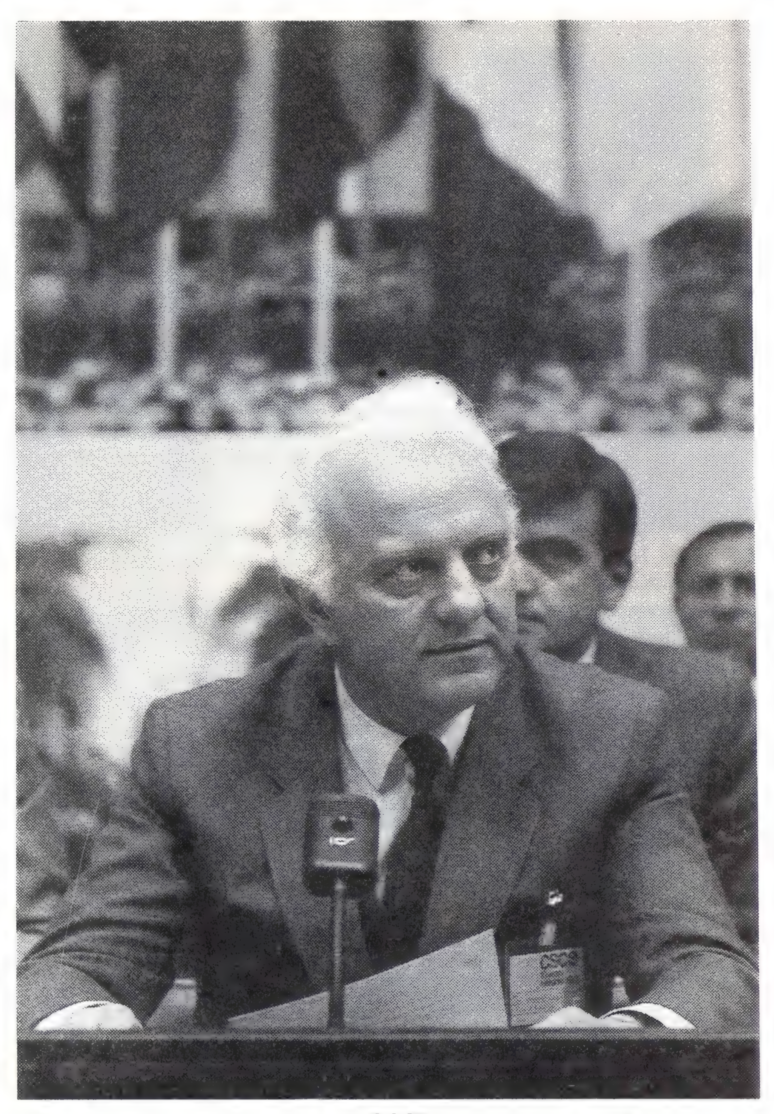
И вот 25 февраля 1986 года, XXVII съезд партии...

Перечитывая сегодня Политический доклад ЦК КПСС съезду, я вижу драматизм состояния личности, вставшей на критическом рубеже между старым и новым. Путь к новому открыт ей, но он неведом другим, живущим старыми представлениями. В средние века это приводило к аутодафе. Ну а сегодня? Должен ли политик восходить на отнюдь не фигуральный костер? Чтобы утвердить новые идеи, он вынужден идти от доступного, близкого, понятного другим. Ведь новая идея сама по себе ничто, всего лишь набор слов, если она не овладеет сознанием большинства и не определит тем самым мотивацию практических действий, поведения, поступков.

Когда вас десятилетиями убеждали — и убедили! — в том, что мирное сосуществование государств с различным общественным строем есть „специфическая форма классовой борьбы“, невероятно трудно сразу, в какой-то единый миг осознать и принять иное.

Когда вас учили — и научили! — что межгосударственные и международные отношения подчинены интересам и законам классовой борьбы, невозможно враз, с ходу усвоить пусть и восходящую к Ленину идею приоритета общечеловеческих ценностей перед всеми другими...

Как в атмосфере утвердившегося фактического раскола мира на системы и блоки по типам общественно-политических формаций признать факт формирования мира взаимосвязанного, целостного, в котором железная необходимость самовыживания человечества ломает стены идеологического противостояния?



Дебют министра иностранных дел СССР на международной арене. Юбилейное заседание представителей стран — участниц СБСЕ в Хельсинки, 29 июля 1985 года



БЕСЕДЫ, ВИЗИТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ...

С Дж. Бушем и Дж. Бейкером

В Белом доме у рождественской елки с Барбарой Буш



С Ф. Миттераном на космодроме Байконур

С Маргарет Тэтчер



С Фиделем Кастро

С Дэн Сяопином



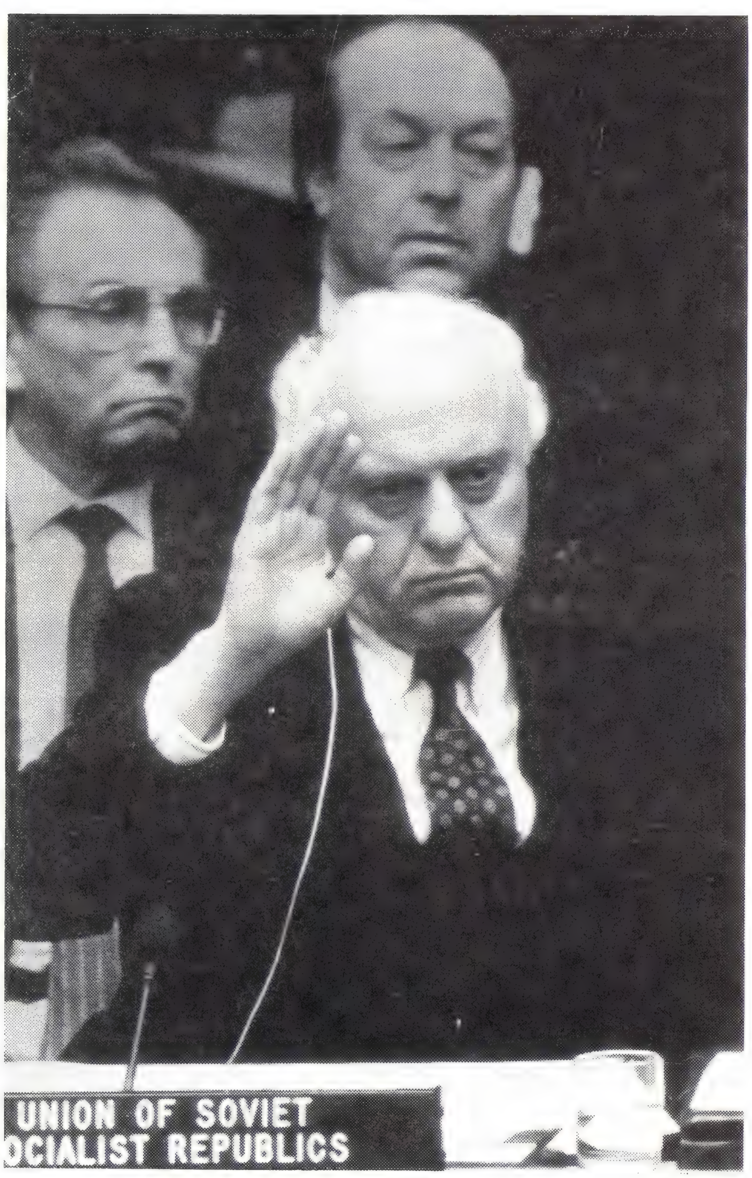
С Дж. Шульцем

Возложение венков вместе с Г.-Д. Геншером на могилу защитников Бреста, где похоронен брат Шеварднадзе



Переговоры в Вайоминге по „открытому небу“ под открытым небом

С министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем аль Саудом



Голосование резолюции 678 по Кувейту в Совете Безопасности ООН. На заднем плане советский посол в США, ныне министр иностранных дел СССР А. А. Бессмертных и помощник Шеварднадзе Т. Г. Степанов



ВСТРЕЧИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ...

На Владивостокской международной встрече „Диалог, мир, сотрудничество"



На благотворительном концерте в Вене, сбор от которого пошел в помощь пострадавшим от землетрясения в Армении



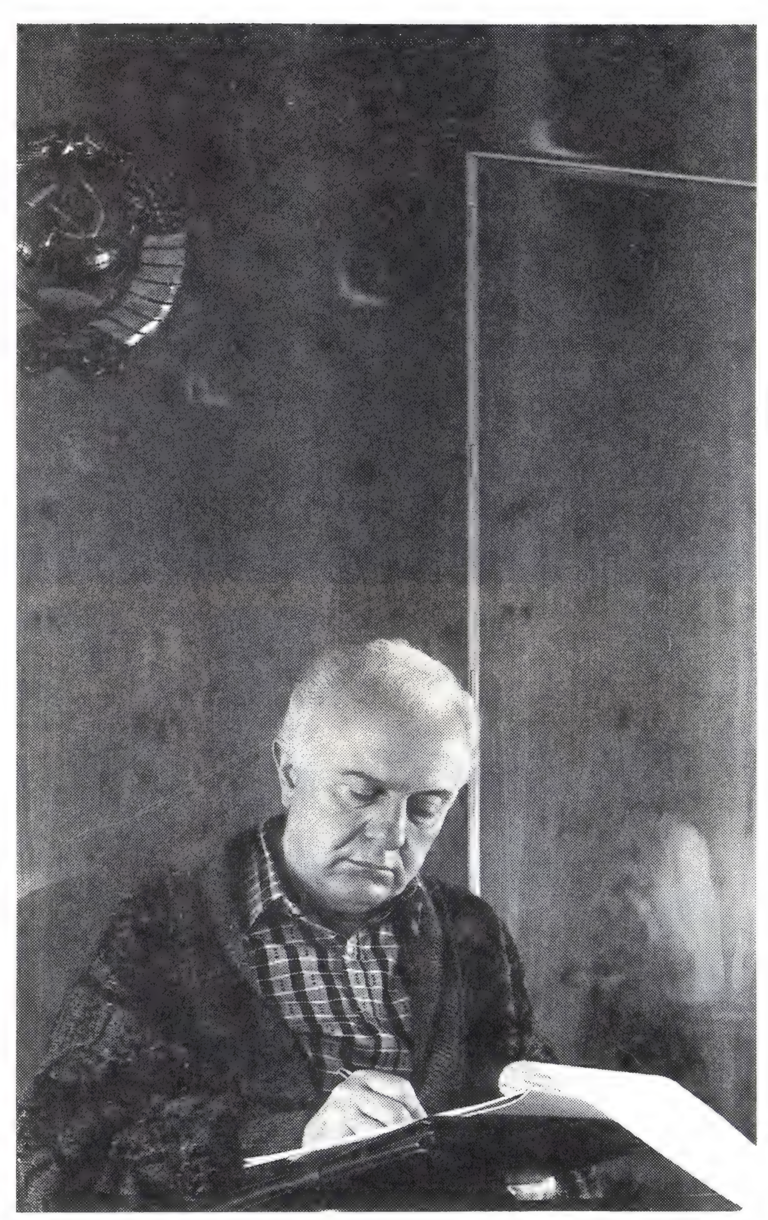
На улицах Мехико



Подписание Женевских соглашений по Афганистану

На Московском совещании „два плюс четыре". Слева направо: Э. Шеварднадзе (СССР), Р. Дюма (Франция), Г.-Д. Геншер (ФРГ), М. Горбачев, Л. де Мэзьер (ГДР), Д. Хэрд (Великобритания), Дж. Бейкер (США)

Поздравления народных депутатов СССР после ратификации договора по РСМД



Работа шла и в салоне самолета...



С американским послом в Москве Дж. Мэтлоком

Возвращение с Боннской встречи „два плюс четыре" со своим заместителем Ю. Квицинским



В ЧАСЫ ОТДЫХА ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ...

На Байкале с Дж. Бейкером



В Вайоминге



Последнее выступление на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября 1990 года

Формулированию основных принципов нового мышления должен был предшествовать скрупулезный, научно выверенный анализ основных тенденций и противоречий современного мира в самой прямой, непосредственной связи с положением страны.

Это была задача не менее трудная, чем провозглашение новых путеводных целей, задача, сама по себе тоже неразрешимая без инструментов нового мышления. И она была прекрасно выполнена.

Все положения доклада в своей совокупности звучали категорическим „нет" системе господствующих взглядов.

Ключевая идея — о противоречивом, но взаимосвязанном, по сути дела — целостном мире.

Тезис о человеческой жизни как высшей цели общественного развития, впоследствии развернутый в императивную категорию приоритета общечеловеческих ценностей.

Принцип свободы выбора, который может быть реализован лишь в мире без оружия и насилия.

Обеспечение безопасности и решение всех спорных вопросов исключительно политическими средствами, иными словами — констатация главенства силы политики над политикой силы.

Крайне важный как с теоретической, так и с практической точек зрения вывод о том, что безопасность — неделима: в двусторонних отношениях она может быть только взаимной, а в международных — только всеобщей. А такая безопасность в нынешний век гарантируется не предельно высоким, а предельно низким уровнем стратегического баланса, из которого необходимо полностью исключить ядерное и другие виды оружия массового уничтожения.

Простое, внешне лишенное каких-либо подводных камней, а фактически отвергающее фактор иде-

ологизации положение: вести себя на международной арене сдержанно, по нормам цивилизованного общения, руководствуясь критериям общечеловеческой морали ...

Внешнеполитическому разделу доклада аплодировали. Аплодисменты выражали, как повелось у нас говорить и писать, единодушную поддержку и одобрение.

Сегодня, когда эти принципы и положения подвергаются сомнению, когда звучат требования признать их ошибочность, я невольно задумываюсь над природой массовых выражений согласия и восторга. Что это было тогда — проявление дисциплинированности привыкших рукоплескать главе партии? Дань ритуалу, когда „одобряют" и „поддерживают" в силу традиции, полагая, что слова останутся словами? Неужели не понимали, что идеи доклада сулят системе демонтаж? Скорее всего, прихожу к выводу, аплодировали от души, ибо многие желали перемен, не сознавая, однако, что эти перемены могут затронуть их положение.

А тогда в этом выражении согласия я видел свидетельство всеобщей поддержки новых нормативов нашей внешней политики, принципов нового мышления.

Я думал о том, что неколебимые догмы, всегда бравшие верх над здравомыслием даже самых умных и трезвых людей, ибо и перед ними постоянно маячила угроза остракизма за „ересь", наконец-то поколеблены. Вспоминал при этом свои былые тяготы, когда любая попытка ввести нечто новое, разумное, эффективное наталкивалась на яростное сопротивление верховных охранителей учения, которое они сами же и извратили. Я знал, какой огромный потенциал интеллекта и воли накоплен в стране и как безысходно он связан „смирительной рубашкой" са-

мовластительного догматизма, не освободившись от которого — не двинуть страну вперед.

Теперь это наконец-то свершилось.

У меня как у министра иностранных дел были и свои, личные резоны радоваться. Я и мои коллеги получали предельно близкую нашим собственным устремлениям рабочую программу.

Это были совершенно четкие рабочие ориентиры. Остановить материальную подготовку к ядерной войне. Перевести советско-американские отношения в русло нормального цивилизованного диалога. Отказаться от „мертвых“, жестко фиксированных позиций в пользу разумных взаимоприемлемых компромиссов. Вести дело к балансу интересов. Добиваться ограничения военных потенциалов пределами разумной достаточности. Утверждать принципы всеобъемлющего контроля и проверки. Искать пути к прекращению ядерных испытаний и ликвидации американских и советских ракет средней дальности в Европе. Вернуть советские войска из Афганистана. Создавать в Европе систему безопасности на базе хельсинкского процесса, радикального сокращения ядерного и обычных вооружений. Разблокировать региональные конфликтные ситуации. Нормализовать отношения с Китаем. Строить отношения с соседями на основе уважения их интересов, принципа невмешательства в их внутренние дела. Заняться глобальными проблемами.

Все это должно было воплотиться в практической политике.

Оставляя, однако, в стороне естественную озабоченность человека, раздумывающего над тем, как бы получше, потолковее распорядиться путеводной картой, скажу, что при всем внутреннем подъеме я испытывал тревогу.

Не помню, у кого из немецких мыслителей я

прочитал слова о Голгофе, которая всегда есть там, где высказываются большие идеи. Инициаторам перестройки предстояло нести крест неимоверной тяжести и, конечно же, восхождение виделось им нелегким. Однако оно оказалось куда более тяжелым, чем мы предполагали.

Сказано, что самое увлекательное путешествие — это путешествие ищущей мысли. Но даже став кругосветным, охватывающим весь мир, оно увлекает вперед отнюдь не всех. Иные — и таких немало — пытаются перекрыть движение.

Моя нынешняя полемика с ними свободна от каких-либо личных мотивов. При любых поворотах судьбы я не сочту свою участь незавидной. Желание отстоять философию и политику нового мышления продиктовано интересами страны в их теснейшей увязке с интересами мира. Мира — как желанного состояния человечества и как сообщества составляющих его семью стран. Я не столь самонадеян, чтобы не понимать, сколь огромен избранный масштаб, но он задан масштабом нашей перестройки, ее ролью и значением для судеб страны и мира.

Я назвал этот раздел „Введение в курс нового мышления". Прошу не усматривать в этом заголовке некую претензию на какую-либо научность. Просто мне хочется рассказать, как проходило мое личное вступление в этот новый курс советской внешней политики.

Оно не было легким и безоблачным.

Этот курс постоянно уточнялся и конкретизировался нами, хотя иные коллеги прямо оспаривали его правомерность. В поле зрения высокопоставленных критиков, как я уже говорил, прежде всего оказался тезис о верховенстве общечеловеческих ценностей и устранении классового и идеологического компонентов из межгосударственных отношений.

Ну что ж, каждый, в том числе и член руководства, вправе иметь, высказывать, отстаивать собственное мнение. На стадии выработки решений это просто необходимо. Но когда решение принято и оформлено как стратегический курс, выступать против него представителю руководства — значит подрывать доверие и к самому курсу, и к его разработчикам. Противодействовать осуществлению согласованной политики, за которую он же и голосовал.

Вспоминаю июль 1988 года. Только что прошла XIX Всесоюзная партийная конференция, подтвердившая главный для нас приоритет — обеспечение средствами политики мирных, благоприятных внешних условий для преобразований внутри страны. Были подведены итоги трех лет перестройки, проанализированы причины торможения, уже тогда весьма заметного и сильного. Выдвинутый на конференции проект политической реформы потребовал ясных представлений о том, какой должна быть внешняя политика в новой надстройке, как она будет действовать при новых конституционно-полномочных институтах. К тому времени нам в министерстве кое-что удалось, но многое оставалось в проектных замыслах. Целый ряд идей не мог быть реализован из-за ограниченности философско-концептуального „поля“. Принцип классовой борьбы, распространяемый на межгосударственные контакты, сводил на нет очевидные рабочие достоинства формулы о мирном сосуществовании как универсальном принципе международных отношений. Реликт старого мышления — „мирное сосуществование как специфическая форма классовой борьбы“ — мешал развернуть эту формулу в результативное практическое действие.

Я много размышлял над этим. Хотелось внести кое-какие возникшие у меня идеи на широкий профессиональный совет, привлечь к их обсуждению ученых, экспертов и партнеров по внешнеполитиче-

скому процессу. Так возник замысел научно-практической конференции. Готовясь к ней, мы провели в МИДе опрос. Результаты превзошли все ожидания. Мы получили множество острых, оригинальных предложений, позволявших по-новому взглянуть на наше дело. Ко всему этому итоги опроса однозначно свидетельствовали: люди наконец-то поверили, что их идеи могут быть востребованы. Многое из высказанного ими оказалось созвучно моим раздумьям.

В своем докладе я сказал, что выношу на конференцию наш совместный, коллективный труд.

Большое место занял в докладе вопрос о мирном сосуществовании. Новое мышление, говорил я, рассматривает его в контексте реалий ядерного века. Вполне обоснованно отказываемся мы видеть в нем специфическую форму классовой борьбы. Сосуществование, которое основывается на таких изначальных для всех принципах, как ненападение, уважение суверенитета, национальная независимость, невмешательство во внутренние дела и т.п., несовместимо с классовой борьбой. Этот алогичный симбиоз ведет в тупик. Приравнивание межгосударственных отношений к классовой борьбе ставит на пути взаимовыгодного сотрудничества государств с различным общественно-политическим строем неодолимый барьер.

Еще выше и массивнее другое „теологическое“ препятствие — тезис о противоборстве двух систем как ведущей тенденции современной эпохи. Если человечество способно сегодня выжить лишь в условиях мирного сосуществования, а оно, безусловно, не способно обеспечить себе будущее в условиях перманентной конфронтации, то напрашивается вывод о том, что противоборство двух систем не может рассматриваться как ведущая тенденция современной эпохи.

На передний план теперь выступает нарастающая

тенденция взаимодействия государств мирового сообщества, вызванная к жизни реалиями формирующейся взаимозависимости мира.

Все, чего мы добились впоследствии — новое качество советско-американских отношений, диалог, вытеснивший конфронтацию, перенос акцентов с силовых конфронтационных методов на политические средства решениям международных проблем, — стало следствием практической ориентации на эти выводы.

Они были широко поддержаны в стране, но и атакованы весьма влиятельными людьми. Егор Кузьмич Лигачев заявил, что „подкидывать" нам такие идеи — значит вносить сумятицу в представления советских людей и наших друзей за рубежом.

Сегодня эти идеи объявлены исчадием перестройки. На них списывают все, что угодно критикам, даже ослабление национальной безопасности.

Оказывается, идеалисты и романтики от политики, заменившие принцип пролетарского интернационализма приоритетом общечеловеческих ценностей, не нашли места в концепции нового мышления таким категориям, как „национальная безопасность" и „национальные интересы".

Это неверно. Перестройка была вызвана к жизни объективной необходимостью преодолеть кризисное состояние, угрожавшее безопасности и интересам страны.

В мае 1986 года на совещании в МИД СССР было подчеркнуто: утвердившаяся в умах иных стратегов установка на то, что Советский Союз может быть столь же силен, как и любая возможная коалиция противостоящих ему государств, абсолютно несостоятельна и следовать ей — значит действовать вопреки национальным интересам.

Сверхдержавой мы стали главным образом благо-

даря военной мощи. Но гипертрофия той же военной мощи, ее безудержное наращивание низвели державу к положению третьеразрядной страны, породили процессы, поставившие ее на грань катастрофы. Опережая США по доле военных расходов в валовом национальном продукте примерно в полтора-два раза, мы отстаем от них в расходах на здравоохранение в два с половиной раза. Гордясь достижением военного паритета с США, мы и мечтать не смеем о достижении паритета в производстве одноразовых шприцев, продуктов питания, предметов первой необходимости, катастрофический дефицит которых отнюдь не укрепляет нашу безопасность и не служит обеспечению национальных интересов. Захватив на мировом рынке оружия первое место — 28 процентов от общего числа продаж, сделав знаменем передовой нашей технологии автомат Калашникова, мы оказались в шестом десятке государств по уровню жизни населения, на 32 месте — по средней продолжительности жизни, на 50-м — по детской смертности.

Какая уж тут национальная безопасность?

Не просто безнравственно — политически опасно выстраивать уравнение национальной безопасности на танковой броне и ядерных боеголовках, исключая из него самую „малость" — жизнь и благополучие человека.

Неверно, что проблемы национальной безопасности и обеспечения национальных интересов оказались вне поля зрения советской дипломатии, внешнеполитического ведомства, министра иностранных дел. Уже в самом начале мы предложили задуматься над тем, почему безопасность государства, столь мощного в военном отношении, оказалась столь уязвимой с точки зрения состояния экономики, научно-технологического потенциала, национально-государственного устройства, положения личности и граж-

данина, их духовного и материального благополучия. Почему всем этим факторам отводится лишь служебная, вспомогательная роль предпосылок обеспечения надлежащей военной мощи?

Традиционные, вековечные представления о национальной безопасности как о защищенности страны от внешней военной угрозы оказались поколеблены в результате глубоких качественно-структурных сдвигов и изменений в развитии человеческой цивилизации вследствие возрастания роли науки и технологии, формирования политической, экономической, социальной, информационной взаимосвязи и взаимозависимости мира.

Не могут считать себя в безопасности государства, сделавшие упор на преимущественно военные средства ее обеспечения. Сегодня они оказываются в невыигрышном положении, ибо источником политического влияния в мире и обеспечения национальных интересов во все большей степени выступают экономические, научно-технологические, валютно-финансовые факторы, тогда как огромные арсеналы вооружений, в которые вложено столько сил и средств, не могут дать рационального ответа на вызовы сегодняшнего дня. Разрушительная сила этих вооружений такова, что их невозможно применить без риска уничтожить собственную страну, соседей, полмира.

Пытаясь проследить, как, когда и почему Советский Союз оказался вынужденным накапливать ядерные вооружения, приходишь к выводу: нам всегда приходилось лишь догонять американцев. И, конечно же, создание Советским Союзом собственного ядерного потенциала в условиях конца сороковых — начала пятидесятых годов было объективной необходимостью. Но также верно и то, что, позволив втянуть себя в гонку вооружений — как ядерных, так и обычных, — увлекшись „валом“, количеством, мы

слишком уж ревностно отвечали оппонентам симметрично и массивно, когда можно было дать несимметричные, количественно менее объемные, но более высококачественные по своему уровню „ответы".

Многотерпеливый наш человек, двужильный народ, вынесший из второй мировой войны вместе с утратами и ранами чувство гордости за себя и страну, спасшую мир от фашизма, готов был последнее отдать ради укрепления ее обороны. И отдавал. И принимали, не раздумывая и не задумываясь о том, что не может надежно обеспечить свою безопасность страна социально и политически униженных, во всем себе отказывающих людей. Страна, где человек на деле оказывался средством обеспечения безопасности (спрашивается: чьей?), а не целью ее.

Преодолев инерцию привычных представлений, мы обнаружили, что обладание разросшимся ядерным арсеналом не создает государству надежной защиты, а напротив, ослабляет ее, отвлекая ресурсы от решения задачи обеспечения высокого технического уровня мирного производства, образования, здравоохранения, максимального удовлетворения запросов населения. Нам стало предельно ясно, что любые внешнеполитические программы, замыслы, действия, включая способы обеспечения национальной безопасности, должны строго соизмеряться с действительными национальными приоритетами, с долговременными интересами и реальными возможностями страны, запросами граждан.

Спору нет, в минувшие десятилетия в СССР создан огромный научно-технический, интеллектуальный, экономический потенциал. Но как он используется? Как работают — и работают ли вообще? — такие факторы „национальной мощи", как размеры территории, природные ресурсы, потенциал мысли, государственно-национальные институты?

Обширнейшие территории испытали на себе та-

кое давление нерассуждающего централизма, что превратились в мертвые зоны экологического бедствия. Природные ресурсы? Хищническая эксплуатация — „план любой ценой!" — истощила природные богатства, не дав взамен качественного прироста экономики. Заработав на „легкой и быстрой" нефти около 180 миллиардов долларов, страна не испытала от этого никакого облегчения, никакого улучшения материального положения своих граждан. Моральный дух общества и стабильность национально-государственных институтов? Они поддерживались лживой „пропагандой успеха", практикой подавления инакомыслия, насаждением страха перед „внутренними" и „внешними" врагами, угрозой кары и возмездия за „неподобающее" поведение.

Обвиняя политическое руководство страны в ослаблении ее безопасности, сегодняшние критики видят основную причину в явном преувеличении факторов международного положения при недооценке факторов национальной мощи как главного гаранта успеха перестройки. Я готов был бы согласиться с этим, признав, как уже сделал это вначале, что внутренняя политика отстала от внешней, если бы не знал доподлинно: внутренние реформы тормозились отчаянным сопротивлением системы. Той самой системы, которая сама на протяжении десятилетий подрывала факторы национальной мощи, сосредоточив свои усилия лишь на военных средствах обеспечения национальной безопасности. Той самой системы, которая сегодня устами наиболее ревностных своих охранителей зачитывает приговор политике нового мышления: „Противопоставляя общечеловеческие и классовые интересы, отдавая приоритет общепланетарным ценностям, мы сослужили дурную службу социалистической идее ... Было нарушено диалектическое единство классового и общечеловеческого. Мы-то с вами знаем, что никогда никто не

выражал общечеловеческие интересы лучше, чем рабочий класс ...“*

С таким утверждением трудно спорить. Трудно дискутировать, когда предмет дискуссии намеренно разрушается бронебойными ударами догмы. Чем и как возразить заявлению о наилучшем выразителе общечеловеческих ценностей — рабочем классе, на протяжении десятилетий лишаемом элементарных человеческих условий существования? Как оспорить положение об ущербе, причиненном социалистической идее, если самый главный урон причинен ей преступно ложным ее извращением и воплощением в совершенно противоположных ее изначальным целям бесчеловечных формах?

Чем-то мучительно знакомым веет от пассажей о деидеологизации, которая сейчас „может быть только одной — принесением социалистических интересов, целей и ценностей в жертву буржуазным. Разве может существовать демократия, свобода, справедливость вне какого-то общественного строя? В современном мире не существует иных общественных систем, кроме социализма и капитализма ...“#

Как вступить в этот, отдающий средневековой схоластикой, спор? Можно на догму ответить догмой и таким образом принять предложенный уровень „мышления“. Можно обратиться к бесстрастной статистике и установить, что показатели эффективности жизнеустройства каждой из двух систем явно не в пользу нашей, а значит, незачем и говорить о каких-либо ценностях, жертвовать которыми невозможно, настолько они обесценились. Можно сказать: „Да, демократия, свобода, справедливость не существуют вне какого-то общественного строя, но надо совсем уж игнорировать объективную реальность,

---

**Материалы Объединенного Пленума ЦК и ЦКК КПСС. — Правда. 1991. 4 февраля.*

#Там же.

чтобы утверждать, будто в рамках построенной у нас „социалистической модели“ существовало хоть какое-то подобие этих категорий“. А можно просто выйти на улицу и увидеть, как выглядят люди, какие у них лица, как они одеты, в каких обитают квартирах, в каких условиях трудятся и как мало все это похоже на достойную человека жизнь. Как безнадежно далека она от социалистического идеала.

Только это отбило бы у меня какую-либо охоту пускаться в дискуссии о соотношении классового и общечеловеческого, если бы за внешне схоластическими построениями противников нового мышления не просматривалась совершенно определенная практическая цель.

Отказаться от принципа верховенства общечеловеческих ценностей и вернуться к абсолюту классового начала — значит реанимировать „образ врага“, внутреннего или внешнего, и тем самым обосновать правомерность репрессий внутри и вне страны. Исходя из существования полностью враждебного нам внешнего окружения, культивировать философию „осажденной крепости“, готовиться к войне, не переводить дух от конфронтации и конфликтов.

Это значило бы вернуться на путь „холодной войны“ с изматывающим страну противостоянием, гонкой вооружений, поддержкой режимов, отношение к которым определялось мерой их „солидарности“ с нами в „борьбе двух систем“.

Рецидивы подобной имперской логики проявились и в недавней шумной поддержке режима Саддама Хусейна, иначе говоря — поддержке самой идеи безнаказанного насилия над слабым и беззащитным, права вершить бесправие и произвол, вдохновляемого ложными фетишами „верной дружбы“, помогающей в борьбе против „заклятого недруга“.

Тот „образ врага“, преодоление которого давалось нам с таким трудом, складывался в противовес и

вопреки истинному образу советского народа, вопреки и наперекор его дружелюбию, отваге, мудрости, самопожертвованию. Веру в его созидательное миролюбие подрывали репрессии против „инакомыслящих", заявления типа „мы вас закопаем", неверные, мягко говоря, шаги в отношении друзей и проповедь установки о мирном сосуществовании как специфической форме классовой борьбы.

Внешняя политика творилась именем народа, за его спиной. Однако всегда ли она пеклась о народном благе? На благо ли народу была едва ли не параноидальная озабоченность проблемами военного обеспечения безопасности, приведшая, в частности, к массированному развертыванию ракет РСД-10 (СС-20)? Или утвердившаяся в пятидесятых годах привычка „хлопать дверью", которая стала стереотипом поведения в начале восьмидесятых, когда наш уход с женевских переговоров ускорил и облегчил создание противостоящего нам второго стратегического фронта в Европе? На благо ли народу была разорительная для нас политика псевдоподдержки развивающихся государств, главным образом оружием и вооружениями? На благо ли народу был ввод наших войск в Афганистан? Увы, вопросы подобного рода с общим для всех ответом „нет" можно долго множить.

Вспоминаю, какую бурю аплодисментов вызвали слова одного весьма уважаемого мною политика о том, что ни один вопрос в мире не может быть решен без участия Советского Союза, а тем более вопреки его интересам. Воистину это так. Но все дело в том, как решен, какой ценой для самого Советского Союза.

Война в Афганистане только в стоимостном выражении обошлась нам в 60 миллиардов рублей. По самым скромным подсчетам, примерно в 200 миллиардов рублей — конфронтация с Китаем, на границе

с которым — семь с половиной тысяч километров — в течение двух-трех десятилетий мы строили колоссальную военную инфраструктуру.

Кто скажет, сколько стоило долгое пребывание наших войск в Чехословакии, Венгрии, Польше? Или во что обошлось наращивание производства химических вооружений при том, что американцы прекратили его еще в 1969 году?

Давайте поинтересуемся, какова стоимость „холодной войны“ в ее рублевом и политическом эквивалентах. Только два последних десятилетия идеологической конфронтации с Западом добавили, по некоторым оценкам, 700 миллиардов рублей к стоимости военного противостояния. Иными словами — сверх того, что требовалось для достижения военного паритета с США и Западом.

Излишне усердно молясь идолам псевдоидеологии, мы обездолили наш народ, всю страну. А обездоленность, обнищание народа не есть факторы, усиливающие его безопасность.

Цена нереальных, конфронтационных по своей сути доктрин и укоренившейся командно-бюрократической практики принятия важнейших внешнеполитических решений оказалась непомерно высока.

Теперь нас вновь призывают восстановить этот счет и обоснованием служит тезис: философия нового мышления вступила-де в явное противоречие с интересами безопасности страны. Я готов принять этот тезис, но с одной небольшой поправкой: она вступила в явное противоречие с философией и психологией великодержавности.

Можно, конечно, устранить это противоречие, пожертвовав политикой нового мышления, но тогда придется обречь страну на окончательный разрыв с мировой цивилизацией, на изоляцию от мира со всеми вытекающими из этого последствиями.

Я хочу, чтобы критики нового мышления назвали цену, в которую обойдется этот „откат“. По единственно возможному курсу, пренебрегая которым в прошлом, мы превратились из победителей в побежденных.

По курсу человеческой жизни.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАСШТАБ. ПРИЗНАНИЯ „ИДЕАЛИСТА“



В июле 1985 года „лицо мира" приобрело для меня наконец конкретные черты. Министры иностранных дел тридцати пяти государств Европы, США и Канады собрались в столице Финляндии, чтобы отметить десятилетие Хельсинкского акта и поговорить о будущем европейского процесса. Я был новичком среди них, и эта встреча превратилась в „смотрины" нового министра иностранных дел Советского Союза. Сквозь выражение официальной вежливости проглядывал живой человеческий интерес. Я ощутил искреннюю доброжелательность, откровенное желание коллег понять, что за человек столь неожиданно вступил в их круг. Не скажу, что при этом чувствовал себя в своей тарелке, но и сам „снимал мерку" с них. Пристально всматривался в каждого, стараясь в первую очередь разглядеть человека. Пытался снять с глаз идеологические линзы, сквозь которые тот или иной представитель Запада должен был предстать мне в образе коварного недруга. Зафиксированный и канонизированный идеологией антагонизм предписывал держать ухо востро: „Смотри, как бы не надули, не обвели вокруг пальца". Утвердившийся с каких еще времен стереотип допустимости в дипломатии любых средств, в том числе обмана и подтасовок, ради достижения необходимой цели смущал меня. Нравы эпохи талейранов и меттернихов, сохранившиеся в современном обороте, никак не согласовывались с нормами, которых я желал придерживаться: честность, порядочность в деловых контактах с партнером, подразумевавших принципиальность самой высокой кондиции. Я хотел, чтобы мои партнеры доверяли мне, и сам желал доверять им. Многое тут было связано с философией, к которой я наконец пришел, но многое шло

и от непосредственного восприятия конкретной личности, стремления разобраться в ней, в мотивах поведения и высказываний. Впрочем, одно неотделимо от другого. И все-таки хотелось бы коснуться философии.

Быть может, это слишком громко сказано. На звание философа не претендую, но, как верно заметил видный мыслитель нашего времени, мой соотечественник Мераб Мамардашвили, люди реально, на деле начинают мыслить иначе еще до того, как они выработали об этом какую-либо философию.

Так было и со мной.

Садясь за стол переговоров, я всегда стремился к тому, чтобы мой собеседник видел во мне прежде всего человека, а не носителя какой-то враждебной ему идеи. Для начала он хотя бы должен был чувствовать, что она не стоит между нами — иначе мы не сварим каши. Я не отказывался от своей веры, от своих убеждений, но при этом не превращал в их заложников интересы дела. Разумеется, в первую очередь интересы моей страны, но при этом — и интересы партнера. И того же ждал от него. Я всегда знал, что нас разделяет, но при этом пытался уяснить, что — объединяет. Общие интересы и ценности выступали на передний план, отметая в сторону все иное.

Тесно связанные с объективными тенденциями развития единого взаимосвязанного мира, прогрессом материальной и духовной цивилизации национальные интересы — категория весьма подвижная, динамичная, постоянно меняющаяся.

Наша приверженность приоритету общечеловеческих ценностей позволила по-новому взглянуть на нее. Иным содержанием в этой связи — подчеркну еще раз — наполнилась философия мирного сосуществования как универсального принципа международных отношений.

Не каждому читателю будет понятно, в чем тут суть, почему одно это слово „универсальный" так весомо. Придется пояснить, что до 1986 года принцип мирного сосуществования распространялся только на наши отношения с потенциальными противниками, а в отношении наших друзей и союзников существовал другой принцип — пролетарского интернационализма, дававший нам право вмешиваться, в том числе и вооруженной силой, в дела наших союзников, скажем, по Варшавскому Договору.

Что ж, сегодня принцип мирного сосуществования работает по-новому. Однако после того, как ушло в прошлое противостояние Востока и Запада, окончилась „холодная война", началось строительство новой Европы, мировое сообщество справилось с кризисом в Персидском заливе, сам термин „мирное сосуществование" выявляет определенную недостаточность. Теперь вперед выдвигается универсальный принцип партнерства, сотрудничества, взаимопонимания и взаимодействия. В этом принципе заложен огромный потенциал сохранения и переустройства мира, исключающий любую рознь, будь то классовая, национальная или религиозная. Быть может, утверждаясь в живой практике международных отношений, этот принцип позволит осуществить в будущем миростроении синтез всего лучшего, что накоплено человечеством.

На XXVIII съезде КПСС один из делегатов спросил, в чем я вижу принципиальные отличия интересов, например, рабочего класса от общечеловеческих интересов. Я ответил ему, что не считаю такую постановку вопроса правомерной. Никогда не противопоставлял классовые интересы общечеловеческим — говорил лишь об их соотношении. Никаких противоречий между ними нет. Это соотношение части и целого. Приоритет общечеловеческих интересов подразумевает то, что все нормальные люди, независимо от их различий, в равной степени заин-

тересованы в мире, в процветании и прогрессе, здоровом состоянии общества и человека, в спасении цивилизации от ядерной, экологической угроз, в решении проблем развития.

Чтобы правильно оценить и обеспечить свои национальные интересы, необходимо осознавать ведущие тенденции и понимать основные направления общего движения человечества. Понимать, что каждая общественная группа, класс, нация, народ, государство лишь тогда полнее реализуют свои устремления, если верно соотнесут их со всеобщим благом.

Образно говоря, если мир и безопасность — это генеральный замысел панорамы современного миропорядка, то гармония общечеловеческих и национальных интересов — это ее идеальная композиция. Привнося в эту фреску свой национальный фрагмент, каждый из нас обязан видеть его в органичном, неразрывном единстве с другими. И хотя, к сожалению, в иных узлах композиции все еще возникают нарушающие ее целостность разрывы, они не означают, что философия нового мышления несостоятельна. В современных условиях эти „разрывы" — аномалия, а не норма, и поэтому, как любая патология, требуют специфических средств преодоления. Самый наглядный пример — агрессия Ирака против Кувейта, но ведь и в этом случае мировое сообщество шло общечеловеческим путем и, лишь исчерпав все политические средства, вынуждено было для восстановления порядка прибегнуть к силе. Надо видеть разницу между тем, как она применялась раньше, и как это произошло теперь. По сути дела, это разница между произволом и законностью.

Новое мышление логически подвело нас к отказу от противоборства как правила и основы внешней политики, преодолению идеологических штампов, к деидеологизации международных отношений. К тому, чтобы государства научились сотрудничать и уважать интересы друг друга, невзирая на различия

в идеологии, искать точки соприкосновения, а не подчинять свою внешнюю политику зачастую полярным по своему содержанию идейным установкам какой-то части — большой или малой — человечества. Такое понимание вопроса, разумеется, не отменяет наши собственные мировоззренческие убеждения, но тем более мы не вправе этого требовать от других.

Да, политика, в сущности, любого государства основана на идеологии, пронизана идеологией. Весь вопрос в том — какой. И политика может быть состоятельной только в том случае, если в основе идеологии заложены принципы добра, справедливости, гуманизма, духовности. Проповедь же идеологического сектантства, нетерпимости никогда не приносила — и тем более не принесет сегодня — ничего хорошего.

Позвольте сделать здесь одно отступление. Я всегда испытывал дискомфорт при попытках соединить идеологию с правами человека. В иных обществах идеология сродни религии. И человеку надо позволить выбирать веру. Во всяком случае — взрослому человеку.

В нашей стране любят говорить, что советский народ сделал свой выбор в октябре 1917 года. Да, наши деды совершили революцию. Означает ли это, что они выбрали то, что последовало затем, пусть в виде искажений, деформации, злоупотреблений, откровенно преступных актов? Обязателен ли их или наш выбор для наших детей, внуков?

Закрыв границы страны для выезда своих граждан, отбирая командируемых за рубеж почти так же, как космонавтов для полета на Луну, мы не оставили человеку выбора. Законным считался выбор — социалистический. Если мы верим, что наша идеология истинна, что она самая передовая, то почему так боялись контактов с представителями другой, так

сказать, веры, почему запрещали книги, глушили радиопередачи, наказывали людей за то, что они смотрят не те фильмы, слушают не ту музыку, танцуют не те танцы?

Нельзя запереть людей в церковь, не выпускать их из страны, утверждая, что за ее порогом — царство греха и гниения. Человек должен иметь свободу решать за себя, делать свой выбор.

Размышляя о деидеологизации межгосударственных отношений, я всегда имел в виду необходимость освободить их прежде всего от густого налета деформированной, ложно толкуемой идеологии, от элементов идеологического экстремизма и окаменевшего фундаментализма. В общем же, чтобы деидеологизировать международные отношения, думал я, надо устранить мифы, которыми загромоздили их. То есть научиться видеть окружающий нас мир таким, каков он есть, а не таким, каким нам было велено видеть его.

Иными словами, если мыслить критически, деидеологизация — это, в сущности, повышение удельного веса объективности, самостоятельности суждений внутри нашего миропонимания, мировидения. И тем самым — снижение, а в идеале, конечно же, исключение из международной практики нравоучительных мотивов и главное — ритуально-догматического отождествления своего политического курса с априорно истинным.

Эта проблема соприкасается с проблемой соотношения морали и политики. Издревле они рассматривались как антиподы. Многие выдающиеся авторитеты утверждали: „В политике нет морали, а есть только интересы“. Многие политики публично открещивались от Макиавелли, но в делах своих следовали его советам. Политическая „мораль“ оправдывала все, что вело к цели, к успеху. В конце XX века оказалось: многому уже не может быть оправдания,

ибо былые различия в целеустановках все более отступают перед формированием общих целей. Да, сила еще не стала бесполезной, но ее использование все чаще предстает и бесперспективным, и аморальным делом. И в этом отношении новое мышление, думаю, стимулировало политическую мысль, утверждая приоритет нравственных критериев и представлений над узкоэгоистическими соображениями политической выгоды.

Жизнь привела нас к этому. Теперь ни одно политическое решение или дипломатическая акция не могут считаться отвечающими интересам народа и государства, если они безнравственны. Конечно, общий аршин здесь не пригоден. История с кризисом в Персидском заливе как будто бы свидетельствует о довольно широкой поддержке в самом Ираке явно безнравственной акции его лидера. Можно было бы не ходить далеко за примером и в собственной стране отыскать эксцессы аморализма, осеняемого знаменами „национальной идеи“, которые подхвачены отнюдь не одной парой рук. Но это, повторяю, аномалия, болезнь, не излечившись от которой, не дать народу счастья, свободы, независимости. Иначе — летальный исход.

Новое мышление способно предотвратить его.

Тут мне опять хотелось бы немного порассуждать на тему, мало связанную с политикой.

Где-то в шестидесятых годах прошлого века родилось современное искусство, появились импрессионисты. В основе их манеры письма лежали новые физические представления о природе света. Приращение знания, понимание того, что жизнь человека претерпевает решительные изменения под воздействием научных открытий дали толчок новому стилю, иному выбору и иной подаче предмета живописи. Импрессионисты изображали вроде бы все тот же мир, но на своих полотнах они несли правду

о новом мире. О мире, который не мог оставаться прежним после появления в нем новых „технологий", о мире, в котором утверждался новый образ жизни.

Интересно вспомнить, как было воспринято это новое художественное мышление академистами. Один искусствовед заметил: „Когда обновляется искусство, с ним обновляемся и мы". Возможно, то же самое можно сказать и о политике.

Великие мастера прошлого навсегда останутся с нами, ибо, как сказал поэт, „насчет страданий они никогда не ошибались, Старые Мастера". Но люди не живут одними страхами, им нужна и радость жизни.

Принять новое мышление не просто, как не просто победить в самом себе инерцию старого. К новому мышлению идешь, выстрадав, пропустив через сознание и душу опыт и уроки прошлого. Во внешней политике новое мышление также влечет за собой отказ от устаревшего, переоценку того, что считалось правильным в течение многих десятилетий.

В первую очередь — от стереотипов существования „врага". Утверждаемые столетиями войн и переделов мира, они отражали историческую реальность. Но сколь часто представление о враге искусственно насаждали в интересах правящих режимов и властвующих персон, в интересах, представляемых как общенациональные и общенародные. Кривые идеологические зеркала до абсурдного искажали реальный облик „недруга", внушая народам страх, ненависть и готовность принять существующий „порядок вещей" как нечто естественное и должное. Предъявляя собственному народу „врага", можно заставить его терпеть любые лишения, идти на любые жертвы, отказывать в самом необходимом. Настает, однако, момент, когда запасы долготерпения иссякают, а главное — постоянное умаление человеческого начала обрекает страну и народ на риск исключения из

общецивилизационного процесса. И тогда возникает действительная угроза его безопасности.

„Все действительное разумно; все разумное действительно“, — писал Гегель. А если перефразировать? Скажем, так: „Все то, что неразумно, то обречено“? Не пора ли понять, сколь много обреченных неразумностей продолжает существовать в мире и отравлять ему жизнь? И не пора ли противопоставить им сверенные с общечеловеческой моралью новые разумные идеи?

Да, современный мир существует в состоянии сложного и тонкого баланса составляющих его частей, противоборство интересов, центростремительных и центробежных движений. Он многоцветен и многолик, но един и неделим прежде всего с точки зрения безопасности, у которой сегодня множество граней: военно-политическая, экономическая, гуманитарная, культурная, экологическая.

Пока существует ядерное оружие, национальная безопасность при любом уровне вооруженности — фикция.

Пока в мировом масштабе не налажено эффективное экологическое сотрудничество, каждое государство стоит перед угрозой деградации физических условий своего существования.

Пока государства обременены непосильными, подрывающими их экономику долгами и отсутствует справедливый экономический порядок, обеспечивающий всем без исключения достаточно высокое качество жизни и уровень благосостояния, возможные при данном уровне развития науки и технологии, международная безопасность зыбка и ненадежна.

Пока нации не приемлют общих гуманистических ценностей и единого для всех стандарта уважения прав личности, ни одна из стоящих перед ними и всем сообществом проблем не может быть успешно решена, а значит, не может быть надежно защищена и всеобщая безопасность.

Логическое сцепление этих звеньев ныне таково, что выпадение одного грозит развалом всей цепи. Это следует помнить всегда, чтобы вековечные привычки и традиции не создали опасного для человечества крена перегрузками узко и корыстно трактуемых национальных интересов.

Когда еще было сказано о разуме, который „страшен, если не служит человеку", но лишь на исходе нынешнего века разумная организация человеческого бытия в глобальном масштабе, освобожденная от врожденных пороков саморазрушения, предстает абсолютной необходимостью. Взглянув на себя через частокол ядерных ракет, через озоновые „дыры", сквозь призму действий новоявленных „фюреров", человечество осознало себя — должно осознать! — единым целым, вопреки и наперекор различиям, тяготеющим к сохранению общего и объединяющего.

Мне думается, что при всех потрясениях времени главенствует все-таки линия на возрождение гуманистической идеи, возвращение к человеку, человеческому масштабу. Новое мышление — это взгляд на мир через человека, через его интересы. „Человек есть мера всёх вещей". С этой точки зрения новое мышление — отнюдь не новое. Новое оно в том смысле, что ориентация на благо человека становится сегодня все более императивным масштабом политики.

Идеализм? Может быть. Но, отвергая его, придется признать единственно правильной ту политику, которая исключает личность, ее покой и благополучие из числа главных своих ориентиров. Которая приносит ее в жертву ложно и своекорыстно трактуемым национальным интересам. Как это было с войной в Афганистане. С бесконечной гонкой вооружений. С переключением большей доли бюджета на военное производство. С навязанной Европе психологией раскола и иным бесчеловечием, дамокло-

вым мечом нависшим над беззащитной человеческой головой.

„Человеческий масштаб“ придумали архитекторы. Этот термин не вполне совпадает с „человеческим измерением“, введенным в оборот политиками. „Человеческий масштаб“ предполагает соразмерность жилища и человека, среды обитания и ее обитателей. Нарушение этого масштаба влечет за собой дискомфорт с тяжкими психологическими, физическими, социальными последствиями.

Архитекторы политики чаще всего оперируют категориями, в которых человеку нет места. Есть „народ“, „страна“, „национальная безопасность“, то есть сумма гордых величин, игнорирующих, однако, самую главную малость — человеческую жизнь. Как бы само собой подразумевается, что суммарный подход гарантирует благоденствие каждого. Но ведь даже в самом благополучном, разумно распланированном и красиво выстроенном городе очень многим горожанам живется скверно.

Политика должна быть соразмерна человеку. Во всяком случае она должна быть комфортной для человека, не требовать от него жесткой адаптации к невыносимым условиям, продиктованным велениями „высших интересов“.

Сознаю, что и от этого рассуждения отдает идеализмом, но что есть идеал, как не цель, к которой должно стремиться? В отличие от многих утопий, с которыми круто расправилось наше время, эта цель — земная, здравая, разумная, не противоречащая, кстати, традиции крупных целеустановок: чем больше выиграет личность от разумной государственной политики, тем больше выиграют народ, общество, государство, их безопасность. И если политика есть искусство возможного, то она должна вдохновляться идеей невозможного, чтобы выйти за пределы ординарного. Боюсь, однако, что самим архитекторам

политики неуютно живется в возводимом ими здании, которое никогда не будет закончено и не получится совершенным. Последний галерный раб не позавидовал бы участи, скажем, Джеймса Бейкера или Ганса-Дитриха Геншера — с такими перегрузками она сопряжена, такому давлению подвергается. Но такова участь каждого, кто принимает на себя бремя ответственности, и я касаюсь этой, достаточно банальной темы, чтобы подойти поближе к предмету повествования. К людям, с которыми имел дело. К людям, для которых делал его.

В день, когда я выступил с заявлением об отставке, один из моих оппонентов обвинил меня в чрезмерно поспешном выводе советских войск из стран Восточной Европы. В результате семьи военнослужащих оказались в палатках, поставленных прямо на снег. Оратор выразил сомнение, смогу ли я посмотреть в глаза этим людям. Смогу! Как смог в Афганистане посмотреть в глаза не одному двадцатилетнему парню в армейской форме, внутренне содрогаясь от того, что в них увидел. Как смотрел в полные боли и слез глаза матерей, чьи сыновья погибли или пропали без вести в Афганистане. Может быть, именно это — выражение человеческих глаз, а не ежегодные итоги голосования в ООН против нашего военного присутствия в этой стране укрепило мою решимость сделать все для того, чтобы бездушная машина войны перестала перемалывать жизни и судьбы наших парней и их родителей, самих афганцев. Выражение их глаз тоже забыть не могу.

Пусть обвиняют меня в пренебрежении к макромасштабам державной политики, предписывающей оперировать крупными „блоками" государственных интересов. Я исходил и исхожу из того, что они не могут быть надежно обеспечены, если постоянно игнорировать микромасштаб — человеческий.

История с палатками на снегу, с живущими в них людьми — из того же разряда. Я готов жить с ними

в тех же палатках, потому что в свое время не смог одолеть той же машины. Эта книга — попытка рассказать, почему и как это произошло, дать ответ на те трудные вопросы, которые мне задают. Я вернусь к ним позже, когда смогу показать и доказать, что во главу угла нашей внешней политики была поставлена человеческая жизнь и что мы считали безнравственным делить ее на „свою“ и „чужую“.

Цифры наших потерь в Афганистане широко известны. На них часто ссылаются, но почему-то замалчивают другую ужасающую цифру — полтора миллиона погибших афганцев. „Человеческий масштаб“ един, универсален, и мне трудно примириться с попытками избирательного пользования им.

Когда по моему поручению одного руководителя непримиримой афганской оппозиции попросили посодействовать возвращению советских военнопленных на родину, он ответил согласием. „Только помогите мне установить судьбу моих близких, оставшихся в Кабуле. Я не имею от них никаких вестей“, — добавил он.

По-моему, политики, забывающие о том, что люди — это прежде всего люди, а уже потом — носители определенных взглядов, не имеют права заниматься политикой.

В день подписания Женевских соглашений по Афганистану я испытывал сложные, могу признаться, отнюдь не радостные чувства. Казалось, я должен был быть счастлив. Достигнута заявленная на XXVII съезде партии цель, осуществлено принятое еще в декабре 1985 года принципиальное политическое решение. Это была невероятно трудная проблема, не решив которую, перестройка потеряла бы многое. Наша вовлеченность в братоубийственную афганскую войну воспринималась в большинстве стран мира как стремление воспользоваться региональным

конфликтом для расширения сферы влияния. Пребывание наших войск в Афганистане не только тормозило развитие отношений с целым рядом стран, но и порождало сомнения в искренности стремления вести международные дела по-новому.

Теперь всему этому приходил конец. В страну перестанут идти траурные извещения и гробы с павшими на этой войне юношами. Через несколько месяцев все наши офицеры и солдаты вернутся домой. Было от чего испытывать прилив радостных чувств. Но их не было...

В иллюминаторе самолета таяла сумеречная гряда Альп. Стюардесса принесла вино. Один из моих помощников разлил его по бокалам. „За сегодняшний успех!“ Я не смог даже пригубить напиток. На душе было тяжело. Перед глазами стояли лица кабульских друзей. Теперь им не на кого было рассчитывать, кроме как на самих себя. Смогут ли они выстоять после ухода наших войск? Как помочь им достигнуть национального примирения, остановить кровопролитие, вернуть Афганистану мир? Мысль о людях, доверившихся нам и теперь оставшихся один на один с непримиримыми своими противниками, не давала мне покоя. Я знал, что мы не ослабим политических усилий ради мирного урегулирования в Афганистане, и тем не менее не мог избавиться от чувств личной вины перед друзьями.

Наверное, сегодня я вправе обнародовать один факт. Уже после того, как последний наш солдат пересек советско-афганскую границу, я и председатель КГБ В.А. Крючков вновь полетели в Кабул. Вечером того же дня были гостями в семье Наджибуллы. Город подвергался ракетным обстрелам, в ряде ключевых провинций шли тяжелые бои. Казалось, их отзвук доносится в комнату, где за столом со скромным угощением сидели мы, гости, хозяин дома, его жена и дети.

— Может быть, — осторожно начал я, — вашей семье лучше было бы покинуть страну? Мы могли бы помочь вам перебраться в Москву...

Ответила хозяйка вежливо, но твердо:

— Мы предпочитаем погибнуть на пороге этого дома, чем умереть в глазах нашего народа, выбрав путь бегства от его несчастий. Мы все останемся с ним здесь до конца, счастливого или горького...

Я подумал тогда, что идеи и идеалы лишь в том случае чего-нибудь стоят, если они одухотворены настоящей человечностью. Мне неловко вкрапливать в разговор о них какие-либо специальные политические термины, чтобы ненароком не нарушить самой тональности его, но я все-таки скажу: все, что мы делали впоследствии и делаем сейчас для афганского урегулирования, имеет целью и благо каждого афганца. Независимо от того, в каком он находится стане. Ради этого мы поддерживаем миролюбивый компромиссный курс Наджибуллы на прекращение братоубийственной войны, налаживание межафганского диалога, проведение свободных выборов и создание правительства на широкой основе. Ради этого активизируем торгово-экономические связи, возобновляем сотрудничество на объектах, построенных при нашем содействии, возвращаем на них специалистов, несмотря на продолжающиеся военные действия, устанавливаем прямые связи между афганскими провинциями и союзными республиками, участвуем в программе ООН по оказанию гуманитарной и экономической помощи Афганистану. Ради этого стремимся к сближению советско-американских позиций по этой стране, ставшему возможным благодаря качественно новому характеру и уровню отношений между СССР и США в период до и в особенности после окончания „холодной войны".

В этой генеральной стратегии нашей внешней политики главной отправной точкой, основной еди-

ницей измерения для меня неизменно оставался все тот же человеческий масштаб. Как с точки зрения целей, так и в плане моих личных контактов с партнерами. В тот, теперь уже далекий, июльский день 1985 года, впервые встретившись в Хельсинки со своими зарубежными коллегами, я страстно желал, чтобы каждый из них принял избранный мною критерий. Чтобы мы разговаривали друг с другом как люди, у которых есть общие заботы: покой наших семей, будущее детей и внуков, благополучие сограждан. Чтобы нас не разделяли стены недоверия и страха...

Моему желанию суждено было сбыться. Едва ли не с каждым моим коллегой у меня установились такие личные контакты, которые во многом способствовали если не улучшению отношений между нашими странами, то хотя бы — лучшему взаимопониманию.

Я благодарен каждому за это. Мне очень хочется сказать о каждом. Но как это сделать, если каждый заслуживает не просто добрых слов — доброго повествования о проблемах, которые мы решали в непростом, но всегда честном сотрудничестве?

Пожалуй, я все-таки кое-что скажу и начну с Джорджа Шульца. Не уверен, знает ли он о том, какими цветистыми легендами обросли у меня на родине наши первые с ним встречи. Мне вообще всегда везло на земляков-мифотворцев, обставлявших мою жизнь занятными декорациями преданий и сказок. Одни из них добры, другие — злы, одни нравятся мне, другие — не очень, но эта прелестная сказочка о нас с Джорджем очень мне по душе, потому что в ней отразились большие людские ожидания и надежды, высокая народная мечта.

Будто бы в Хельсинки я положил на стол перед госсекретарем США грузинский кинжал и сказал:

— Я разоружился. Теперь очередь за вами.

Увы, ничего этого не было, хотя то, что было, — не уступает такому преданию.

Уже во вторую нашу встречу — она состоялась в Нью-Йорке в сентябре 1985 года — я сказал Шульцу:

— Многое в мире зависит от состояния советско-американских отношений. А они во многом зависят от моих с вами отношений. Я намерен вести дело так, чтобы быть вам честным и надежным партнером, а при встречном желании — и другом.

Шульц порывисто встал из-за стола и протянул мне ладонь.

— Вот вам моя рука. Дайте вашу!

С тех пор я всегда ощущал его рукопожатие. Иногда оно слабело по независящим от нас причинам — то обстоятельства, связанные с серьезным расхождением позиций наших стран, то непредвиденные, помимо нас возникавшие ситуации вносили в наши контакты элементы досады и раздражения, но никогда они не оказывались выше и сильнее обоюдного желания слушать и понимать друг друга, добиваться взаимоприемлемого результата. Так было в самые драматичные моменты — после Рейкьявика, на заключительной стадии разработки договора по средним ракетам, перед подписанием Женевских соглашений по Афганистану, но и здесь мы находили возможность по-человечески объясниться друг с другом и поискать выход из создавшегося положения.

Наши контакты исподволь преодолевали рамки служебных, деловых. Наверное, впервые в истории отношений наших стран министры иностранных дел СССР и США стали бывать дома друг у друга, общаться семьями, знакомить своих детей и внуков. Неистощимый на выдумку Джордж то устраивал семейные пароходные прогулки по Потомаку, то затевал вечера отдыха в чисто американском стиле с банджо и песенкой „О, Джорджиа, Джорджиа“, то

потрясал меня сюрпризом — великолепным хором Йельского университета, исполнявшим в госдепартаменте грузинскую народную песню „Мравалжамиер“.

Я тоже старался не остаться в долгу. И когда мы садились за стол переговоров — в окружении ли наших коллег или с глазу на глаз — ничто не мешало нам оставаться самими собой в главном — в сопоставлении позиций сторон и стремлении сблизить их. Если один говорил: „На большее я пойти не могу“, другой понимал: „Так оно и есть. Это не блеф“.

У Шульца оказался достойный во всех отношениях преемник. Человек совсем иного склада, Джеймс Бейкер не упустил шанса перевести контакты со своим советским коллегой в русло максимально доверительных взаимосвязей. Впервые мы встретились в Вене, если не ошибаюсь, — на открытии переговоров о сокращении обычных вооружений. Это был его дебют, и он великолепно провел его. Произнес умную, но несколько жесткую, по сравнению с манерой Шульца, речь, а затем вместе с женой Сюзанн подошел к нашей делегации и сказал мне, что надеется на доброе плодотворное сотрудничество. Полагаю, что эта надежда сбылась.

Благодаря Джеймсу расширились и география, и содержание наших встреч. Мало сказать, что мы начали открывать друг другу свои страны, — открыли и показали, как живут люди, чем они дышат, на что уповают. Так было в Джексон Хоул, в Вайоминге, где мы пришли к выводу, что СССР и США переходят от былой конфронтации к сотрудничеству и взаимодействию. Так было в древнем Загорске под Москвой, в Иркутске, на озере Байкал и, наконец, в родном штате Бейкера — в Техасе. В ту последнюю, перед моей отставкой, встречу с ним он пригласил меня с женой в дом престарелой своей матери, и, конечно же, я не остался равнодушным к этому жесту.

Уже после отставки моя жена получила письмо от Сюзанн Бейкер. „Мы плачем и молимся за вас“, — писала она. Я подумал, что у меня нет никаких оснований подвергать сомнению искренность его и Сюзанн отношения к нам. Скорее, это у него могли возникнуть сомнения в моей добропорядочности — в связи с одной малоприятной историей, о которой я пока не могу говорить. Не будучи, однако, повинен в ней, я предпочел не испытывать наш деловой альянс недоверием, понимая, что если дело будет продолжаться так, то я не смогу взглянуть в глаза партнеру. Если хотите, это тоже одна из причин моей отставки.

Ложь — всегда непродуктивна. Быть честным — выгодно. Этим принципом я руководствовался в отношениях со всеми своими партнерами. Полагаю, они мне платили той же монетой. Иначе нам не удалось бы то, что удалось — заложить основы новых структур безопасности и дать коллективный отпор агрессии в зоне Персидского залива.

Все эти минувшие годы я встречался со своими коллегами так часто, как это было необходимо. Например, с Гансом-Дитрихом Геншером только в период подготовки договора о внешних аспектах строительства немецкого единства — более дюжины раз. География встреч — от Бреста до Виндхука, в Намибии, их содержание — напряженные, подчас изобиловавшие острыми коллизиями переговоры о будущем Германии и Европы в тесной увязке этих вопросов с проблемами безопасности Советского Союза.

У меня есть множество оснований питать глубочайшее уважение не только к высокому профессионализму Геншера и Дюма, Хэрда и Андреотти (на начальном этапе моей работы — министра иностранных дел Италии), Цянь Цичэня, де Микелиса, Кларка, Ордоньеса, Накаямы, других моих коллег, но и к их чисто человеческим качествам. В последние годы мне посчастливилось быть собеседником самых

крупных политических и государственных деятелей. Повторяю, каждый достоин отдельного повествования, и я надеюсь, что в будущем смогу рассказать о каждом. Здесь же вновь подчеркну, что при всех различиях в наших позициях все мы стремились к общему знаменателю. К тому, без чего не доискаться наилучших путей к наилучшему обеспечению собственных интересов.

Конечно же, мы дискутировали, но без того, чтобы спор переходил в конфронтацию. Если государства желают отказаться от противостояния и перейти к сотрудничеству, то первыми это должны сделать люди, представляющие их в межгосударственных отношениях. Без высокой культуры, общей и профессиональной, без широкого взгляда на положение вещей, непредвзятости в оценке фактов и событий этого не добиться.

Кажется, у Бертольда Брехта есть фраза о мысли, способной доставить почти чувственное наслаждение. Так вот, сколь бы трудно не складывались наши деловые встречи, я получал удовольствие от бесед с моими партнерами, столь неординарны по содержанию и форме выражения были высказываемые ими мысли.

И еще один непревзойденный дар едва ли не каждого — чувство юмора, которое я очень высоко ценю. По моим наблюдениям, оно, это чувство, — непременное качество яркой индивидуальности, вернейший показатель личной внутренней свободы. Когда меня спрашивают о назначении шутки в серьезной беседе — врожденное ли это свойство человека или профессиональное „средство дипломатии“? — я отвечаю, что мне нравится, когда человек делает свое дело с улыбкой и знает толк в остром слове. Мы ведь все люди, ищущие пути к уму и сердцу друг друга, а дипломаты, если можно так сказать, вдвойне „обостренные люди“. И мрачной угрюмостью, непод-

вижностью лицевых мускулов мы мало чего добьемся.

Правда, бывают случаи, когда вам не до шуток и улыбок. Не думаю, например, чтобы я улыбался во время последней моей встречи с иракским коллегой Тариком Азизом, когда говорил ему, к каким последствиям может привести нежелание руководителей Ирака уйти из Кувейта. И мой собеседник был невесел — не в пример прошлым встречам в Багдаде, Басре и Москве.

Улыбка — это свидетельство лада, показатель нормального положения вещей, и если вы хотите улыбаться, то вам ничего другого не остается, кроме как находить согласие с партнерами. А для этого надо стремиться как можно лучше знать их. Да, с господином Геншером мы провели десятки часов за столом переговоров, и за это время, думаю, хорошо узнали друг друга. Но с совершенно неожиданной стороны он открылся мне в Бресте, у мемориального надгробия с именем моего погибшего брата, и в Галле, у дома, в котором мой коллега родился и провел детские годы.

Точно так было и с господином Роланом Дюма. Широкий спектр наших бесед охватывал самые разные вопросы — от нового качества советско-французских отношений до живописи Анри Руссо и Нико Пиросмани. Я восхищался широчайшими познаниями моего собеседника, его неброским артистизмом, сквозившим в каждом движении благородством, но всю тонкость и широту его души открыл лишь после своей отставки — благодаря одному незаурядному жесту внимания, адресованному мне лично.

Грустно, конечно, сознавать, что в будущем мне не доведется встречаться с моими бывшими коллегами столь же часто, как и прежде. И все-таки я счастлив. Наше общение оказалось небесполезным для мира и наших народов ...

Изначально заявленный мной масштаб требует честности. Человеку стало хуже от перестройки, утверждают наши „ястребы“ и приводят в доказательство факты. Обострившиеся межнациональные распри, кровопролитные стычки на этнической почве, явно несущие в себе зародыш „ливанизации“, теперь уже совершенно очевидная угроза дестабилизации, усугубленное экономической стагнацией бедственное положение граждан, экологический кризис — все это печальная действительность наших дней.

Но насколько повинна в ней политика нового мышления? И насколько правомерно стремление возлагать ответственность за внутренние наши беды на внешнюю политику?

Полагаю, что это несерьезно, хотя и небезопасно. Серьезно и опасно другое. А именно: не политика нового мышления повинна в наших внутренних катаклизмах, а неспособность — или нежелание — следовать ее принципам в домашних наших делах. Слишком уж очевидно сегодня стремление действовать вопреки им прежними, главным образом силовыми методами, отказ от которых вне страны стал одним из основных внешнеполитических достижений перестройки.

Если в чем и „повинна“ внешняя политика, то разве что в преодолении изоляции страны от остального мира, в предоставлении гражданам возможности убедиться, что он благополучнее, терпимее, человечнее, чем его рисовали рыцари идеологического мессианизма. Она избавила нашего человека от привитой ему ксенофобии, как избавила общество от образа внешнего врага, превратив „противника“ в партнера и показав, что там, где якобы „человек человеку — волк“, люди желают жить и живут по нормальным человеческим законам. Что материальный достаток и жизненные блага, доставаясь им как итог умной, основанной на чувстве личной свободы предприимчивости, умении работать производительно, от-

нюдь не лишает их человечности, способности сострадать попавшему в беду.

Утечка мозгов и рабочих рук? Длинные густые очереди желающих выехать за рубеж у ворот иностранных посольств? Не надо путать причины и следствия. Если „гражданин“ (классический образец искажения понятия) слишком долго был лишен статуса человека, то единственное, чем его можно удержать на родине, — это дать ему такой статус. Система не смогла или не захотела этого, как не смогла или не захотела многого другого, и теперь, когда люди уже отказываются жить по-старому, винит в утечке мозгов кого угодно, только не себя. И самое интересное, что при этом ее адепты не выдвигают никакой здравой альтернативы новому мышлению, если не считать альтернативой ему „кулак“ или ностальгические воззвания к „классовому подходу“. Привыкнув безнаказанно ломать „человеческий масштаб“, система не способна обратить себе во благо его возрождение.

Вспоминаю трагические для Армении дни, когда потрясшее ее землетрясение отозвалось во всех странах потрясением сострадающих сердец. Мы — внешняя политика в том числе — не скрыли от мира ран и руин Армении и дали потокам международной помощи излиться на нее. Чем, кроме всего прочего, показали, что общечеловеческие ценности — не пустой звук для нас, не отвлекающая пропаганда. Что мы страна людей, а не империя монстров.

Так кого и в чем винить теперь? Внешнюю политику — за стимулирование широкой международной поддержки и помощи страдающей Армении? Или систему — за неспособность толково, эффективно, с пользой для пострадавших распорядиться этой помощью?

Неразумно возлагать на внешнюю политику вину за нестабильность внутри страны, неутихающие меж-

национальные конфликты. Перестройка активизировала „человеческий фактор", противодействие ей лишило его верного политического русла. Слишком быстрый, не учитывающий реальное состояние умов, уровень политической культуры, переход из университетов тоталитаризма в академию демократии оказался чреват болезненными эксцессами и издержками. Демократические институты используются для откровенных притязаний на власть, беззастенчиво эксплуатирующую весь арсенальный набор приемов и средств тоталитарной системы: то же шельмование инакомыслящих, зачисление во „враги", использование идеологических клише, применение жестокой, нерассуждающей силы. Внутренняя консолидация не состоялась, тогда как внешняя обнаружила заметную тенденцию к этому. На фоне такого несовпадения внешняя политика оказалась наиболее удобной мишенью для „стрелков", преследующих внутриполитические цели. Боюсь, однако, что они не ведают, что творят: такая стрельба влет и в упор может подорвать внешнеполитические позиции страны, а главное — для меня главное — приостановить начавшееся движение к новой иерархии ценностей, венчаемой человеческой жизнью.

Мысль об этом была бы невыносима, если бы я не имел возможности убедиться: „масштаб человечности", это „золотое сечение" политики, этот „золотой запас" каждого народа — сохранен у нас в неприкосновенности. Ни властное подчинение личности системе, ни жестокие репрессии, ни подмена норм и принципов морали велениями „революционной целесообразности" не подорвали его. И пока он есть, пока деятельно выявляет себя — жива моя надежда ...

Политику делают люди. Во всяком случае, те, кто ее делают, должны быть людьми. Но это всего лишь одна сторона медали, а без другой ее и нет вовсе. Эта, другая сторона и есть главная, лицевая сторона:

политику делают для людей. „Мы плачем и молимся за вас“, — написала мне Сюзанн Бейкер. Я бы отнес эти строки к уникальному проявлению человечности, если бы в те же примерно дни не получил тысячи подобных писем. Этот поток посланий потряс меня — так светится в них живая душа, взыскующая правды и справедливости, так выражает она себя в словах, казалось, пригодных лишь для молитвы и исповеди. Меня потрясло, что, взывая к моей совести, люди говорят о Боге, родине, детях, близких — живых или ушедших. Так говорит Кланя Слезкина из Магнитогорска, и одно лишь то, что она подписывает телеграмму именем, принятым лишь в тесном домашнем кругу очень близких людей, обожгло мне сердце. Так говорит москвичка Филатова — „пишу Вам от имени десяти тысяч моих погибших друзей, бойцов Второй дивизии народного ополчения“... Так говорит ветеран всех войн (подлинное выражение автора) Кулюкин со всеми своими детьми, внуками и правнуками, писатель Виктор Конецкий, учительница-пенсионерка Хмельницкая, ученики загорской школы, полковник Скипальский, актер Олег Басилашвили, семья переживших ленинградскую блокаду Леоновых и сколько еще других незнакомых мне людей. Собственно говоря, тот самый народ, во имя которого и вершится политика. То самое главное ее измерение, которое пока не вошло в плоть и кровь нашей жизни, ибо слишком долго у нас человек, на словах звучащий гордо, на деле был средством, а не целью общественно-государственного бытия. Слишком настойчиво внушали нам, и мы в свою очередь другим, что превыше всего — интересы государства, а интересы личности и гражданина как-нибудь приложатся.

Теперь, когда эта дисгармония обнаруживает себя в столь трагических изломах народной жизни, нет иного пути к укреплению государственности, кроме укрепления человека и утверждения человечности

посредством гармонического сочетания интересов гражданина и общества. И совершенно очевидно, что это может сделать лишь политика, одушевленная сильным человеческим началом.

Ни о чем другом не свидетельствуют полученные мною после отставки телеграммы и письма. Приняв их как весть надежды и веры, я решил, что моя книга не может быть только ответом моим критикам — она должна стать отчетом перед людьми, ради которых я и мои коллеги делали наше дело.

МЫ ТАЩИЛИ МЯЧ ЧЕРЕЗ ВСЁ ПОЛЕ

5

Нет печальнее зрелища, чем угасающее пламя. Дотлевающие угли рассыпаются в золу, из-под пепла еще доносится тепло, но проходят минуты — и вас охватывает холод. Счастье, если рядом находится человек, умеющий разворошить холодный пепел, отыскать в нем чудом сохранившуюся искру и разжечь ее в веселое пламя.

В государственном департаменте США много каминов, но больше и лучше других мне помнится тот, что устроен в личном кабинете государственного секретаря. У этого камина я провел много долгих и трудных часов.

Первый из тех, с кем довелось мне делать наше общее дело — Джордж Шульц, — любил вести переговоры у горящего камина. И на работе, и дома. Впрочем, дома он тоже работал, совмещая беседу с обязанностями гостеприимного хозяина и кулинара. Барбекю* он творил непревзойденно. У меня была возможность убедиться в обширности его познаний по части каминного искусства, в умении поддерживать огонь. Делал он это мастерски и с нескрываемым увлечением. И мне доставляло удовольствие наблюдать, как он раскладывает поленья и орудует щипцами, чтобы камин, подобно соборному органу, завел свою мощную, светлую и жаркую песню.

За неплотно прикрытыми шторами сияет вашингтонский день. Острые вспышки света перебегают по стенам — это крылья взлетающих с близкого аэродрома авиалайнеров отражают солнце. Ликующая зелень Арлингтонского холма и белоснежные колонны мемориалов вступают в окоём цельным, умиротворяющим душу ландшафтом покоя.

---

*Зажаренное на углях мясо

Идиллия? Как бы не так! Я не знаю ни одного нашего дипломата или военного, который похвалился бы легкостью ведения дел с американцами. Это очень трудные и часто неуступчивые собеседники. В этом я смог убедиться на собственном примере. Да, я обменялся с Шульцем рукопожатием, и оно не было протокольно-ритуальным жестом, предназначенным лишь для фото- и телеобъективов, но сказать, что диалог наш складывался легко и просто — не могу...

Спустя годы в Риме Джулио Андреотти рассказал о том, как был он удивлен, услышав от Шульца, что тот обсуждает с Шеварднадзе вопросы уголовного законодательства. „Вот до чего дело дошло, — заметил итальянский премьер, — в какие сферы углубились Эдуард с Джорджем. Значит, поладили по-человечески. А ведь Шульц очень жесткий человек“.

Да, это так. Но пока дело дошло до нормального человеческого лада, нам пришлось изрядно попортить нервы друг другу. И менее всего, полагаю, в этом повинны какие-то скверные черты наших характеров. Таким был сам характер советско-американских отношений — нервозный, подозрительно-враждебный, мстительный. Он предопределял и соответствующую „установку на игру“: бесконечный, непрерывный прессинг по всему полю. А полем был мир и его постоянно лихорадило от такой игры, способной привести к потасовкам (что и происходило в разных частях мира), а то и ко всеобщему побоищу.

Аномалия противостояния была провозглашена нормой — как нами, так и американцами.

Женевскому рандеву Р. Рейгана и М. С. Горбачева в ноябре 1985 года предшествовала более чем шестилетняя пауза в советско-американских встречах на высшем уровне. Как верно сказал один мой добрый приятель-публицист, пауза — отнюдь не вакуум.

Она была заполнена конфронтацией, гонкой вооружений, ростом напряженности.

Это была жестокая реальность, но фантомы внешней угрозы, опасности взаимного уничтожения, подрывной деятельности сознательно культивировались в политике, пропаганде, общественном мнении. И я знаю, что это делалось не только нами. Для США, Запада „советская угроза" тоже была удобным средством для решения определенных задач.

Мне не хотелось бы сейчас вдаваться глубоко в историю, вскрывать и анализировать причины и корни непримиримости и вражды — об этом написаны горы книг и взаимных обвинений тоже предостаточно. Но для целей своей системы аргументов должен сейчас затронуть, хотя бы в самом общем плане, роль ядерного оружия, более подробно рассмотрев его впоследствии. Появление его, а также средств доставки сразу же ввело новый элемент в отношения между Востоком и Западом — проблему взаимного уничтожения.

Я думаю, что психологически для американцев, как, впрочем, и для других людей на Западе, осознание того факта, что их страны могут быть обречены на гибель в результате ядерной войны, было бóльшим шоком, нежели для советских граждан.

Я не зря приводил цитату из Одена, современного английского поэта, о старых мастерах, которые знали все о страданиях. До зарождения и становления политики нового мышления „старые мастера" — государственные деятели, публицисты, военные, политологи, люди искусства — стремились всячески показать ужасы ядерной войны и связанной с ней катастрофы.

В обеих странах писали жуткие полотна ядерного апокалипсиса, а идеология расставляла в них на нужные места „святых", „грешников", простых смертных, иначе говоря — смертников. Эта констатация необ-

ходима, чтобы воссоздать политическую атмосферу совсем недавнего времени — начала восьмидесятых годов. Тогда ощущение военной опасности и на Востоке, и на Западе было доминирующим элементом бытия.

Возникла и утвердилась идея стратегической оборонной инициативы. В той атмосфере лишь она одна могла разрушить все, что было сделано в области ограничения стратегических наступательных вооружений и систем противоракетной обороны.

Короче говоря, к 1985 году сложилась чрезвычайно мрачная ситуация. Апрель того года дал проблеск надежды.

Мы, в советском руководстве, остро осознавали необходимость кардинальных перемен в политике, поиска другого пути.

В центре, естественно, оказались советско-американские дела. Но тогда они виделись в таком безнадежном тупике, что в руководящих, как у нас принято говорить, сферах возникла даже установка на устранение перекосов во внешней политике, образовавшихся из-за отношений с США. Была выдвинута идея своего рода обходного маневра — усиления внимания к европейскому направлению, активизации связей и контактов с другими странами мира.

В чем-то такой курс был оправдан. К этому моменту мы в самом деле действовали в зауженном диапазоне, концентрировали силы на немногих, по сути дела, проблемах и регионах.

Но главное, видимо, все же состояло в том, что ни мы, ни американцы не были готовы произнести новое слово в наших отношениях. Слишком многим были обременены они тогда. Положение казалось безвыходным, если не считать „выходом" разрубающий гордиев узел взрыв. Разрубающий и уничтожающий мир.

Против нас действовали американские санкции, введенные в связи с нашей вовлеченностью в Афга-

нистане. Остро стоял вопрос о политических диссидентах в Советском Союзе, о нашей практике в области прав человека вообще. В тупике находились переговоры по ядерно-космическим вооружениям, включавшим крупнейший спор вокруг судьбы Договора по противоракетной обороне (ПРО). Не видно было выхода из ситуации, сложившейся вокруг взаимного размещения ядерных евроракет среднего радиуса действия.

Фоном ко всему этому служили обвинения в том, что Советский Союз нарушает уже заключенные соглашения в области ограничения стратегических вооружений.

Согласитесь, в таких условиях не то чтобы не просто было решиться расчистить этот огромный завал, еще сложнее было определить, в каком месте начинать расчистку.

Тем не менее, как ни крути — выходило, что без нормализации советско-американских отношений мы ничего не добьемся. И мы напряженно размышляли об этом, подчас приходя в отчаяние от осознания тупиковости ситуации.

Непреодолимые, как казалось в 1985 году, сложности возникали и в личном, психологическом плане. Почти всегда это был разговор глухих. Все советско-американские контакты начинались со взаимного предъявления претензий и обвинений. Хорошо утоптанная дорога, которая никуда не вела. Нас и американцев разделяли стены, сложенные из глыб недоверия и булыжников идеологии. Неверно, что чрезмерно идеологизированными подходами грешили только мы, советские представители. Личные встречи с президентом Рейганом — а их у меня было немало, что-то около дюжины, — дают мне полное основание утверждать это. Надеюсь, он не обидится на мою память, хранящую картины первых наших бесед. Едва ли не каждую из них он начинал с чтения „обвинительного заключения“ в адрес Советского Со-

юза, где пункты обвинений были обильно прослоены вольными истолкованиями цитат из основоположников марксизма. В большом ходу были также Алексис де Токвиль* и американские „отцы-основатели“. Человек номер один США смотрел на нашу страну сквозь очки идеологии и видел в ней „империю зла“. Чтобы отрешиться от такого взгляда, ему надо было увидеть страну людей — самый точный образ политической истины. Но к этому тогда вел длинный путь, и в его начале мы тоже не оставались в долгу. Мысленно, по крайней мере, я откликался залпами ответного идеологического огня, ибо знал, что нет абсолютно грешных или безгрешных государств, и богатая, процветающая Америка, это „исчадие империализма“, как думалось мне, — отнюдь не исключение в этом смысле.

У меня тогда сложилось такое впечатление, что президенту Рейгану не вполне верилось, что его советский собеседник действительно мыслит так, как говорит. Да полно, не ослышался ли я? — читалось в его взгляде. Плен стереотипов весьма цепок. Почувствовалось, что хозяин Белого дома очень хочет разобраться в нас. После переговоров в зале заседаний кабинета министров он приглашал в другой зал с накрытым для ленча столом, за которым мы проводили еще два часа оживленной и острой дискуссии, к счастью, сдобренной изрядной толикой юмора. В том числе — политического. В долгу друг у друга мы не оставались.

Непременным участником этих весьма своеобразных переговоров-„перестрелок“ был вице-президент Джордж Буш.

Словом, в смысле идеологии мы были достойны друг друга. Проблема заключалась в том, чтобы избавиться от такого сомнительного достоинства и приобрести новые качества.

*Алексис де Токвиль (1805—1859) — французский историк.

Как это было сделать? Как начать? Вся надежда была на здравый смысл американцев. Не может быть, говорил я себе, чтобы среди моих собеседников и новых знакомцев не нашлось людей, понимающих, что так дальше продоложаться не может. Что помимо общих „камней преткновения“ у нас есть общая ответственность перед миром и общие интересы. Подобно Диогену, я мог бы воскликнуть тогда в ответ на вопрос, что ищу: „Человека!“ И я нашел — не одного человека, многих людей, осознающих ту простую истину, что нашим странам попросту не выгодно враждовать и жизненно необходимо сотрудничать.

Недавно в моем московском доме гостил посол Уотсон. Я глубоко уважаю этого выдающегося американца, чья героическая биография оказалась столь тесно связана с историей моей страны, с ее трагическими военными главами. Поэтому мне особенно приятно было убедиться, что мыслим мы одинаково.

— У нас в стране появились признаки снижения уровня жизни, — говорил маститый политик и дипломат. — Мы вдруг обнаружили, что в США растет детская смертность, и это при нашем-то богатстве, при высочайшем уровне нашего здравоохранения. К сожалению, немногие в нашей стране осознают, что это — следствие гонки вооружений. И у вас так же. Взяв на себя основное бремя гонки вооружений, США и СССР начали проигрывать соревнование в других областях ...

Согласившись с послом Уотсоном, я привел пример ФРГ и Японии. Пока мы соревновались в производстве и накапливании самого совершенного оружия, они, свободные от этого груза, вырвались резко вперед. „И мы, и вы проиграли гонку вооружений“, — сказал я.

Мог бы добавить еще, что в нашей экономике лишь военно-промышленный комплекс работал образцово и жил за счет народа, а стране предоставлял

возможность пробавляться иллюзиями насчет ее мощи и силы. И вдруг выяснилось, что истинная мощь — это нечто гораздо большее, нежели ядерные боеголовки.

Но это уже другая, неоднократно обозначенная в этой книге тема, и пора возвращаться в русло разговора о здравом смысле и его конкретных носителях в США.

Повторюсь: мне повезло на таких людей, первым среди которых оказался Джордж Шульц.

К моменту наших первых встреч огонь в камине советско-американских отношений угасал, угли превращались в золу. Нам предстояло разворошить дотлевающий костер, взбодрить его, дать выход искрам.

И мы это сделали.

За пять лет проведено беспрецедентное число советско-американских встреч на высшем уровне — семь — и не поддающиеся точному счету встречи на уровне министров. С Шульцем мы сбились со счета где-то „в районе“ тридцать пятой или тридцать седьмой встречи. На десятки шел счет моих личных встреч и с Джеймсом Бейкером.

Эта статистика сама по себе ни о чем бы не говорила, не отрази она нарастающую интенсивность советско-американского диалога, а главное — происходящие в нем качественные изменения.

Думаю, я мог бы здесь обойтись без хроники новых советско-американских отношений. Желающий освежить ее в памяти может заглянуть в соответствующие справочники. Я же, обращаясь сейчас к своей памяти, извлекаю из нее невидимые миру тревоги и радости, предчувствия и раздумья, связанные с перестройкой советско-американского диалога.

***

И до 1985 года в наших отношениях с США время от времени возникали периоды, своего рода окна, в которые светило солнце. Нам удавалось за-

ключать полезные соглашения, скажем, в области ограничения ядерных испытаний, ограничения стратегических вооружений и систем противоракетной обороны. Большие надежды были связаны с годами „разрядки“.

Эти периоды поисков и обретений имели огромное значение для советско-американских отношений. Чаще проводились встречи на высшем и других уровнях, велись или начинались переговоры по многим вопросам, связанным со сферой безопасности. Мы приступали к поискам согласия по противоспутниковым системам, торговле оружием, уменьшению военной активности в Индийском океане, готовили и заключали отдельные соглашения, часть которых, однако, не проходила через ратификацию, другие же — приостанавливались и не выполнялись в силу разных причин.

Но при всем том — за исключением, пожалуй, пятилетия, связанного с советским вторжением в Афганистан, — плотность контактов, переговоров, консультаций, визитов последовательно нарастала.

Иными словами, складывавшийся годами потенциал для продвижения вперед к началу перестройки в нашей стране был достаточно велик, но, как я уже говорил выше, — оказался заморожен.

Для нас — и об этом надо откровенно сказать — в отношениях с Соединенными Штатами, как, впрочем, и со всем Западом, всегда существовал один фактор, не позволявший им развиваться более или менее устойчиво, — все то же верховенство положения о непримиримой „идеологической борьбе“ между двумя общественно-политическими системами. Любое соглашение, любая попытка улучшить наши отношения с США немедленно упирались в это препятствие. В период „разрядки“ в начале семидесятых годов партийным идеологам пришлось немало потрудиться, чтобы хоть как-то совместить потепле-

ние в отношениях с США с этой незыблемой догмой. И все же догма тогда, как и раньше, восторжествовала. Идеологи дали такое толкование, по которому в моменты потеплений идеологическая борьба не только не должна затухать, но, наоборот, вестись еще более настойчиво.

Честно говоря, я никак не мог уразуметь, как можно сближаться с человеком и в то же время вести с ним непримиримую борьбу. Еще задолго до начала перестройки и наша пропаганда и политика — а временами между ними невозможно было углядеть разницы — стали все больше путаться в попытках примирить противоречащие друг другу идеологические установки. Не получалось, однако, конструкции, которая была бы состоятельной и интеллектуально, и политически. Из такого вот противоречия и надо было нам искать теоретический и практический выход. Как он был найден — я уже рассказал.

В самом же начале я столкнулся со сверхпрочными стереотипами и с необходимостью устранять их.

К моменту моего „выхода на поле" у министерских встреч сложились свои традиции, свои, если можно так сказать, правила игры. Меня пытались обучить им. Как я понял тогда, традиция требовала оспаривать каждый вопрос, независимо от того, был ли в этом смысл или нет. Особенно важным считалось отстоять „правильную" повестку дня такой встречи.

Диктовалось это еще и тем, что наши позиции были весьма ущербными в вопросах прав человека, по Афганистану, некоторым другим конфликтным ситуациям. Более уверенно наша делегация чувствовала себя в дискуссиях, связанных с доказательством необходимости ядерного разоружения.

Наверное, я сыграл не по правилам, когда, помнится, уже на второй встрече с Шульцем предложил

ему начинать отныне наши переговоры с вопросов соблюдения прав человека.

Переговоры с Шульцем мы вели по четырем группам проблем: разоружение, региональные конфликты, права человека, двусторонние отношения. Впоследствии, с приходом Бейкера на пост госсекретаря, по его инициативе в повестку дня наших встреч была включена „пятая корзина“ — транснациональные проблемы: стихийные бедствия, борьба с наркотиками и эпидемиями, международный терроризм и другие. Вовлекая в работу соответствующие учреждения наших стран и зарубежных партнеров, мы наметили обширный план действий.

Но к тому врмени и с предшественником Джеймса мы кое-чего добились.

По-моему, такая „игра на опережение“ удивила Джорджа. Для американцев это был любимый и верный конек, для нас же — табу. И вдруг советский министр делает такой ход. Со временем он вошел в традицию, превратил наши переговоры, по словам Шульца, в улицу с двусторонним движением.

А тогда это сразу же избавило нас от многих бесплодных, ненужных споров. Изменился не только формальный подход. Мы ответили делом на многочисленные в то время просьбы американской стороны рассмотреть вопросы отдельных лиц и семей, а со временем и сами начали ставить перед американцами весьма неудобные для них вопросы.

Должен признать, что на нашей стороне стола такая перемена диспозиции поначалу встречала мало понимания. Привычка — вторая натура. Рассмотрение вопросов прав человека издавна блокировалось аргументом о том, что это наше внутреннее дело, что мы действовали и будем действовать в соответствии с нашими законами и правилами и незачем нам указывать, как поступать.

У меня был свой контраргумент: провозглашен-

ные высшим руководством приоритеты, необходимость следовать заявленным принципам. Мы строим правовое государство, говорил я, а в таком государстве права человека — не пустой звук. Надо менять законы, а для этого — изменять отношение к свободе и правам личности.

На начальном этапе перестройки торможение было сильным. Заявления о правах и свободах оставались на бумаге, ибо многие наши могущественные оппоненты „не могли поступиться принципами". Их логика работала в прежнем режиме. Заявления — заявлениями, а Андрей Сахаров и другие узники совести пусть отбывают наказание. Пусть множится число отказников и остаются разделенными семьи. Пусть работают „психушки" — и чтоб никто не заикался о доступе международных экспертов в эти „лечебницы"-тюрьмы. Лишение гражданства и выдворение из страны писателей и художников? Это отщепенцы и им с нами не по пути.

Колоссальных усилий стоило вернуть из ссылок и изгнания несколько выдающихся граждан — ученых, писателей, режиссеров, просто честных, совестливых людей, вся вина которых заключалась в нежелании принять канон насилия и лжи. А еще труднее было вернуть доброе имя стране, в которой так обращались с лучшими — отнюдь не единицами — людьми.

Даже коллег трудно было убедить в самом простом: коли мы подписали хельсинкский Заключительный акт, взяли на себя обязательства по международным пактам и конвенциям, то тем самым признали и право других участников этих договоренностей интересоваться всеми этими вопросами, настаивать, чтобы мы соблюдали взятые на себя обязательства.

К тому времени мне самому стало совершенно очевидно, что человеческое измерение международной безопасности — ключевой момент. Но многим

нашим партнерам еще предстояло поверить в искренность моих заявлений на этот счет.

На открытии Венской встречи я предложил провести международную конференцию по гуманитарным проблемам в Москве. Этому предшествовали бурные дебаты на заседании Политбюро. Несогласных оказалось больше, чем я ожидал. Между тем, по моему убеждению, конференция была необходима, чтобы показать стране и миру, как далеко мы намерены пойти, и еще — чтобы дать стимулы демократизации и перестройке законодательства по всем составляющим человеческого измерения.

Проблема единства слова и дела выдвинулась на передний план. Проблема доверия к нам. Ведь сколько раз прежде на уровне политического руководства делались те или иные заявления, провозглашалась определенная линия поведения, а на практике все оставалось без изменений.

Я думаю, что у этой проблемы очень глубокие корни. В силу целого ряда не всегда зависевших от нас причин соглашения с „буржузией", с „империалистами" у нас рассматривались в лучшем случае как вынужденная мера, а чаще — как средство выиграть время, осуществить тактический маневр.

Может, это покажется невероятным, но мне самому часто приходилось сталкиваться со случаями, когда органы исполнительной власти не знали или не признавали подписанных соглашений, принятых политических обязательств, требовавших от них, этих органов, совершенно определенных действий.

Ведь шла идеологическая борьба, а в ней любые средства хороши. Главное — отстоять свои ворота. Ведь в игре таких команд, как СССР и США, судей нет, во всяком случае таких, которые могли оштрафовать или удалить с поля. Конечно, есть мировое общественное мнение, но с ним у сильных как-то не принято было считаться. Образ страны в глазах

остального мира мало кого по-настоящему волновал. Всегда можно было найти услужливого клиента, какого-нибудь „видного деятеля“, который похвалил бы советские мирные инициативы и осудил американский империализм.

Для меня до сих пор загадка, в чем разница между идеологической борьбой и психологической войной. Первую вели мы и были в ней всегда правы. Вторую вел Запад, и мы ее решительно осуждали.

Справедливости ради надо сказать, что и в США, и на Западе действовали — и сейчас действуют — силы, для которых тоже нет честных правил игры.

Я не помню случая — особенно в первые годы, — когда наша встреча с Шульцем не была бы осложнена каким-либо неожиданным событием, каким-нибудь громким скандальным делом. У меня даже сложилось стойкое мнение, что каждый раз, когда мы могли резко продвинуться вперед, кто-то неожиданно для нас изыскивал способ омрачить ситуацию, бросал на стол переговоров какой-то неприятный вопрос.

Такое бывало и в прошлом, из-за чего многое сделать не удавалось. Мы же с Джорджем положили себе за правило: во что бы то ни стало снимать любые осложнения. Тратили на это многие часы, встречались либо поздно ночью, либо до начала переговоров, но не сдавались, искали взаимоприемлемое решение возникшей проблемы. И неизменно находили его.

Оглядываясь назад, вижу, что опыт крупных „боев“ вокруг мелких и частных ситуаций помог нам выработать необходимую уверенность в том, что мы можем договариваться и доверять друг другу.

Раз уж я начал эксплуатировать спортивную терминологию, то позволю себе обратиться к американскому футболу. В нем, как мне говорили, есть два варианта игры — либо броском вперед, если он, ко-

нечно, удачен, выиграть сразу десятки ярдов, либо „тащить“ мяч на руках, отвоевывая пространство ярд за ярдом.

Так вот, мы с Джорджем Шульцем все время „тащили мяч“ советско-американских отношений к общей цели. Это была тяжелая физическая, интеллектуальная, психологическая работа.

Первая попытка сыграть в пас была предпринята на встрече в верхах в Рейкьявике. Напомню, что ее идея возникла в атмосфере паузы, образовавшейся в советско-американских делах после встречи в Женеве, где стороны заявили, что ядерная война никогда не должна быть развязана и в ней не может быть победителей. Но перед самой встречей в столице Исландии опять кому-то понадобилось бросить под ноги лимонную корку. Чтобы не поскользнуться на „деле Данилоффа“, мне с Шульцем потребовалось почти двадцать часов переговоров. Не было бы Рейкьявика, не реши мы сперва этот „вопрос“.

Никогда не забуду осень 1986 года, Рейкьявик, переговоры в особняке „Хёфди“. Когда советская делегация во главе с М.С. Горбачевым вышла на итоговую пресс-конференцию, наши лица, как нам говорили дома, красноречивее всяких слов выражали наше состояние. Мы были в одном шаге от соглашения, способного преобразить мир, но этот шаг не был сделан!

На Западе об этом сняли фильм. Говорят, он верно передает драматизм переговоров. Не знаю... Наверное, литературе и искусству еще предстоит осваивать своими „плугами“ политическую целину минувших лет. Это тоже дело будущего. Что же касается жанров оперативной политической информации и анализа событий по горячим следам, то их мастера поспешили объявить Рейкьявик провалом.

Так ли это?

В исландской столице лидеры наших государств

М.С. Горбачев и Р.Рейган не смогли удержать мяч, который сами же бросили очень далеко вперед. С позиций сегодняшнего дня я думаю, что, может быть, и хорошо, что встреча в Рейкьявике закончилась так, как она закончилась. Ведь сама попытка двух лидеров уйти в быстрый и далекий „отрыв“ многих тогда напугала, активизировала силы, сопротивляющиеся или настороженно воспринимающие сближение между СССР и США.

Тем не менее встреча в Рейкьявике имела огромное значение и оказала сильное воздействие на наши представления о масштабах возможного в советско-американских отношениях и в мировой политике.

Но объективно эти возможности едва ли могли быть тогда использованы, ибо на тот момент отношениям между Востоком и Западом недоставало доверия, основанного не только на понимании намерений каждой стороны, предсказуемости ее поведения и действий, но и на механизмах проверки и контроля.

* * *

На протяжении всей послевоенной истории вопрос о контроле занимал центральное место в советско-американских отношениях. Как правило, он цинично использовался в пропагандистской войне и той и другой стороной. Наше неприятие мер контроля и проверки нельзя полностью отнести на счет желания действительно получить от этого какие-то военные, стратегические выгоды. Скорее, тут изначально больше сказывалось стремление спрятать свои слабости, свои недостатки. Одержимость секретностью имела и другой, экономический аспект — под покровом секретности можно искажать статистику производства, подправлять в нужную сторону хозяйственные показатели.

Были и более прозаические, будничные причины.

Легче, скажем, „закрыть“ целый город, чем навести порядок на местном вокзале или отремонтировать гостиницу. Этот синдром закрытости, таинственности надо было преодолевать. По мне, не только по внешнеполитическим соображениям, но и для того, чтобы наладить нормальную экономику и комфортный человеческий быт.

Не знаю, понимали ли это партнеры. Их усилия шли в другом направлении. Рональд Рейган даже углубился в русский фольклор. Он столь часто произносил русскую пословицу „Доверяй, но проверяй!“, что как бы присвоил себе не только ее самое, но и монополию на заключенную в нее мысль.

Вопросом контроля, как тараном, били в наши стены и, сотрясая их, убеждали мир в том, что великое дело разоружения бессильно перед „закрытостью Советов“. Но стоило нам самим поставить идею контроля во главу угла, как „монополисты“ попятились. Оказалось, например, что американцы не приемлют контроль в отношении военно-морских судов.

— Наши моряки не любят, когда их проверяют, — говорил мне Джордж Шульц.

— Будто наши ракетчики прямо-таки обожают это, — отвечал я ему.

Никто не любит, когда кто-нибудь сует нос в его дела, однако, любя мир немножко больше самого себя, можно пойти на такое самоограничение.

Все виды вооруженных сил, в том числе военно-морские силы, должны быть предметом переговоров, говорил я своим партнерам. Убежден в этом и сейчас.

Среди многих достоинств господина Рейгана мне особенно было по душе его чувство юмора. Он знал множество анекдотов и умел рассказывать их. И как только речь заходила о контроле — придавал ей анекдотический характер: „Доверяй, но проверяй!“

Что ж, может быть, в этом был смысл. Смеясь, человечество расстается со своими пороками. Важно, чтобы этого хотели все.

Одним из главных достижений минувших лет можно считать всеобщее признание и утверждение идеи контроля, в которой органично сочетаются меры доверия и возможность проверки как безусловной нормы политической верификации.

Иногда победой предстает не столько декларирование какой-то сверхэффектной идеи, сколько способность принять и осуществить ее. Так вот, с младенчества привыкшие к табу и запретам, мы одержали очень важную победу, сделав контроль действенным средством новой разрядки.

Мне всегда хотелось, чтобы он стал всеобъемлющим средством. Увы, пока не получается.

На различных разоруженческих форумах много говорят об открытости в военных делах, о необходимости точно знать, где находится и куда перемещается, скажем, мотострелковый или десантный батальон. Инспекторы, кажется, даже готовы заглядывать в котлы армейских кухонь, чтобы удостовериться, та ли каша варится в них. Ну, а какая может завариться каша, если в порту государства, считающего себя неядерным, появляется корабль с десятками ядерных боезарядов на борту?

И по сей день моя точка зрения не изменилась: от отдельных мер доверия и гласности в международных отношениях надо переходить к глобальной политике открытости, которая стала бы составной частью всеобъемлющей безопасности и международного мира.

В Вайоминге, где в сентябре 1989 года госсекретарь США Дж.Бейкер предложил провести переговорный раунд по проблеме „открытого неба“ не в помещении, а на воздухе, под открытым небом, погода благоприятствовала нам. Не было ни ветра, ни

дождя, ни слишком знойного солнца. Этим я хочу сказать лишь одно: идея „открытого неба“ хороша лишь в условиях хорошей международной погоды, и предпосылки для нее созданы.

В последние годы передовая мысль далеко ушла вперед в понимании открытости как главного фактора любого прогресса — интеллектуального, материального, социального. Не осталась обойденной в этом процессе и сфера безопасности, где долгое время шла взаимная игра в прятки.

Исторический порог был пройден, когда на конференции в Стокгольме все европейские государства приняли принцип инспекции на местах. Ныне этот принцип практически применяется в контроле за уничтожением ядерных ракет и в рамках осуществления мер доверия. Пока не приходилось слышать ни одной жалобы на то, что инспекции и проверка ущемили чью-то безопасность.

Успех и польза контроля столь несомненны, что заметно расширилась сфера его применения — не только в военных делах, но и при решении экологических, гуманитарных, экономических, других проблем. И тут я мог бы однозначно сказать: в деле контроля никакие излишества не излишни. Это не просто политическая констатация. Если мы намерены продолжить путь, которым шли до сегодняшнего дня — сокращая войска и вооружения, демонтируя огромные структуры военного противостояния, переходя на оборонительные доктрины и поддержание военных потенциалов на уровнях разумной достаточности для целей обороны, — то нам нужна еще более эффективная и многовариантная система контроля, обладающая большим запасом надежности.

***

Стокгольм открыл путь к быстрому продвижению на других направлениях, связанных с ограничением и сокращением вооружений. Он привел нас к заклю-

7—290

чению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. У этого соглашения долгая, сложная, весьма драматичная история. Она заслуживает неспешного, тонкого пера и обстоятельного, точного отображения. В ней заключено множество крутых поворотов, неожиданных ходов, неразвязываемых, казалось бы, узлов. Чего стоит, например, спор вокруг части „першингов", принадлежавших ФРГ, разрешение которого стало возможным благодаря конструктивному подходу канцлера Гельмута Коля и Г.-Д.Геншера.

Да, были споры, неуступчивость, противостояние позиций, интересов, характеров, но в конце концов они трансформировались в движение навстречу друг другу, в обоюдные разумные компромиссы и согласие.

Соглашение по ракетам средней и меньшей дальности и его реализация, безусловно, выгодны как для Советского Союза, так и для Соединенных Штатов Америки, всех других государств.

Я считал и считаю его крупнейшим вкладом в укрепление безопасности нашей страны, потому что благодаря ему удалось отодвинуть от советских границ американское ядерное присутствие. И не только отодвинуть, но и на будущее закрыть возможность размещать где-либо в мире ракеты двух классов.

Пусть советские и американские ракеты меньшей и средней дальности составляют лишь четыре процента от общего объема ядерных вооружений — соглашение об их ликвидации сказало миру о возможности практического избавления от наиболее губительных орудий войны.

Пусть это было только начало, но оно многого стоит, ибо, удостоверив логику многовековых поисков пути к миру без войн и насилия, перевело идею ядерного разоружения из сферы мечтаний в сферу предметной реализации.

Пожалуй, с большей или меньшей уверенности можно предположить: на земном шаре не найдется ни одного разумного человека, который не понимал бы, что ядерное оружие, как дамоклов меч, грозит человечеству гибелью.

Но тогда неизбежен вопрос: почему до сегодняшнего дня люди, в высоком интеллекте которых не приходится сомневаться, не пришли к единственно разумному решению о ликвидации этого средства всеобщего самоубийства?

У этого вопроса тоже большая история, и она тоже нуждается в осмыслении.

* * *

Первоначально появившись у одной страны, ядерное оружие дало ей средство, обеспечивающее и абсолютную безопасность, и реализуемое военное превосходство. И поскольку тогда ядерное оружие можно было применить, оно и было применено против Японии.

Здесь необходима особая точность: не только против Японии, но и против Советского Союза. Взрыв атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки, никак не обусловленный сложившейся к тому моменту военно-стратегической ситуацией, был адресованной нам демонстрацией американского превосходства в области высшей военной технологии, попыткой предопределить развитие событий в послевоенном мире по сценарию и режиссуре тогдашнего президента США.

Демонстрация удалась, но не вполне. Бросив в топку глубоко безнравственной идеи тысячи невинных жизней, атомный шантаж имел, как минимум, два глобальных последствия, на десятилетия вперед исказивших облик и жизнь человечества.

Первое: заронив в наши души семена тревоги, но никак не страха и паники, породил стремление к созданию средств атомной самозащиты, адекватного

ядерного арсенала. Иными словами, первые взрывы американских атомных бомб взорвали стратегическую стабильность и дали первотолчок к гонке ядерных вооружений.

Второе: они обозначили стартовый рубеж „холодной войны".

Три года назад, выступая в Нью-Йорке в Ассоциации внешней политики, я предложил совместными усилиями осмыслить причины и истоки самой продолжительной в нынешнем столетии войны. Самой разрушительной, если иметь в виду ее последствия для мира.

На каждой стороне в интерпретации фактов утвердились стойкие стереотипы, не поколебав которые, невозможно вместе идти дальше. Прошлое имеет свойство взрываться в настоящем — в самый неподходящий для него момент.

Для меня, однако, совершенно очевидно, что первая строка этой истории была написана атомными „чернилами". И уж никто, наверное, не возьмется оспаривать тот факт, что отнюдь не в Советском Союзе разработали первый их рецепт, что не наша страна начала гонку ядерных вооружений, не раз подводившую „холодную войну" к порогу войны „горячей".

Историю эту не объять в данной книге. У меня другие цели, и все они связаны с настоящим и будущим. Здесь же замечу, что в истории с ядерным оружием моделируется ситуация с любым орудием войны. В 1945 году создание атомной бомбы потребовало предельной концентрации научной мысли, самой передовой технологии и колоссальных материальных ресурсов. В тот момент лишь одна страна оказалась способной осилить столь сложный проект. Однако буквально в считанные годы с ней сравнялись несколько государств. Несколько — не потому, что другие не смогли обзвестись ядерными арсена-

лами, просто людям хватало ума, чтобы понять: расползание ядерного оружия ускорит гибель человечества.

Договоры 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах и 1968 года о нераспространении ядерного оружия стали выражением коллективного признания необходимости избавляться от такого вида оружия. Статья VI Договора о нераспространении прямо обязывала его участников добиваться этого.

Тем не менее чуть более двух десятилетий спустя этого оружия стало в десятки раз больше.

Обзаводясь ядерным оружием, тратя огромные средства, государства понимают, что оно несет в себе огромный риск и для них самих.

Следовательно, если, несмотря на резко отрицательное отношение абсолютного большинства людей к ядерному оружию, оно все-таки существует, значит, либо оно действительно выполняет какую-то нужную функцию, либо такая функция ему ошибочно приписывается.

Какими же могут быть эти функции?

Никто никогда всерьез не утверждал, что ядерное оружие может использоваться в сугубо оборонительном варианте. Если нападающий знает, что его встретит ядерный удар, и все же нападает, то значит — он готов нанести ядерный контрудар. Следовательно, дело кончится либо гибелью и того и другого, либо капитуляцией проявившего благоразумие.

Ну а война по „безъядерному сценарию"? Здесь конфликт мыслится без взаимного уничтожения.

Возможно, именно в силу этого ядерное оружие и представляется средством сдерживания войны?

Так оно и есть в аргументации сторонников сохранения ядерного оружия, которое, как они утверждают, представляет собой сдерживающий фактор для потенциального агрессора.

Не стоит упрощать наше отношение к ядерному сдерживанию, хотя мы сами, сознаюсь, нередко грешим этим.

Мы отдаем должное этой доктрине, признаем, что на протяжении довольно длительного исторического периода она играла небесполезную роль в сохранении мира. Дело, однако, в том, что новые времена требуют новой политики. Ибо ядерное сдерживание с неизбежностью воспроизводит всю совокупность конфронтационных межгосударственных отношений.

Думается, ядерное оружие выполняло функцию сдерживания главным образом на одном уровне — оно давало „охранную грамоту" на несдержанность ядерных держав в их отношении к странам, не обладающим таким оружием. Иначе говоря, оно объективно поощряло произвол со стороны членов „ядерного клуба". Тем самым поощряло произвол и беззаконие со стороны некоторых неядерных стран, стремящихся обезопасить себя от шантажа ядерной силой и поэтому помышляющих обзавестись ею.

Если бы ядерное оружие действительно выступало средством сдерживания войны, то, по логике вещей, оно должно было бы сдерживать и гонку обычных вооружений. На практике все происходит наоборот. Понимая, что ядерная война невозможна, что в ней не будет победителей, государства наращивали свои обычные вооруженные силы, исходя из того, что „обычная война" вполне допустима и при ядерном сдерживании.

Гонка вооружений, шедшая все эти сорок пять лет, — уже не теоретическое, а материальное подтверждение того, что ядерное оружие не выполняло и не выполняет функций сдерживания. Кстати, само это „сдерживание" несдержанно наращивалось, достигнув к сегодняшнему дню таких чудовищных размеров, когда чуть ли не на каждый современный танк и каждый пехотный взвод приходится по одному ядерному боезаряду.

Нет, явно что-то не в порядке с таким „сдерживанием"!

До недавнего времени у нас с Соединенными Штатами Америки не было ни одного договора, ни одного соглашения, которые снижали бы опасность возникновения войны обычными средствами. Не было ни одного соглашения и об ограничении или сокращении обычных вооружений. В то же время заключено более двух десятков договоров, соглашений, протоколов, так или иначе страхующих от возникновения ядерной войны. Мы даже Центры по уменьшению ядерной опасности открыли.

Выходит, ни в Москве, ни в Вашингтоне и мысли не допустили, что две страны могут вдруг затеять автоматную перестрелку. Но при этом считали вполне возможным нанесение ядерного удара?

Так в чем же опасность? И что нужно сдерживать?

Убежден, пора пересматривать концепции, вызревшие в атмосфере „холодной войны".

„Ядерное сдерживание" — замороженное наследие этой „ледниковой эпохи".

Надо бы подчеркнуть: ядерное оружие опасно не только своими разрушительными физическими свойствами. Оно неприемлемо, потому что углубляет пропасть между национальным и общечеловеческим. Невозможно говорить о равноправии народов, о единстве мира, когда чей-то национальный эгоизм может быть одержим идеей ядерной власти над миром, закамуфлированной под интересы национальной безопасности.

Ставка на ядерное оружие, думается, не отвечает ничьим национальным интересам. Обеспечению подлинной безопасности способствовала бы только полная ликвидация ядерных потенциалов.

Советский Союз, как известно, по-прежнему сохраняет верность идеалу безъядерного мира и высту-

пает за постепенное преодоление доктрины „ядерного сдерживания". Ясно, однако, что в одночасье покончить с ядерным оружием не удастся. Поэтому в настоящее время встает вопрос о достижении договоренности о минимальном сдерживании. Каким оно должно быть в числовом выражении? На это, пожалуй, трудно дать точный ответ. Некоторые специалисты предлагают сохранить пять процентов от нынешних ядерных запасов СССР и США, что, кажется, примерно будет соответствовать современному уровню ядерных сил Франции.

Конечно, консервацию идей ядерного сдерживания предопределяют не только гипертрофия национальных прав и интересов в ущерб обязанностям, но и недостаток доверия. С этой проблемой нельзя не считаться.

Где выход из заколдованного круга? Выше уже говорилось о гласности и открытости, формировании разветвленной инфраструктуры всепроникающего контроля. И уж если есть необходимость сдерживать друг друга, то пусть это будет сдерживание транспарентное и проверяемое.

Практически воплотив идею контроля и инспекций на местах, надо идти дальше.

И, конечно же, надо раз и навсегда поставить точку в истории с ядерными испытаниями.

Говорят, что это невозможно, пока существует атомная энергетика. Она нужна мирной экономике, но может работать и на военную. Я отвожу этот довод ссылкой на МАГАТЭ — это агентство способно фиксировать и контролировать любые взрывы. Причина в другом: ядерные испытания необходимы для проверки эффективности ядерных запасов и их боеготовности, а также для совершенствования ядерной технологии.

Казалось бы, общепризнанно: ядерная война невозможна. Так о каком же совершенствовании ядерных технологий может идти речь? А главное — во

имя чего? Не боясь ошибиться, скажу, что делается все это не столько для „сдерживания", сколько для глобального устрашения, для обеспечения ядерного превосходства. Но путь этот — неприемлем да и не нужен. Тем более сейчас, сегодня и, без сомнения, в обозримом будущем, в условиях формирования нового миропорядка. Предопределившие этот процесс события — встреча на Мальте и Парижский саммит, переговоры в Вайоминге, Иркутске, Хьюстоне, коллективное пресечение агрессии в Персидском заливе — создали такую ситуацию, которая позволяет подойти к проблеме ликвидации ядерного оружия с новых позиций. Реально мыслящие политики не могут не понимать, что теперь в их силах избавить мир от этого оружия.

***

Вернусь, однако, к Договору об РСМД. Вокруг него по сей день не утихают споры. По сей день мне предъявляют претензии за то, что по договору Советский Союз уничтожил значительно большее количество ракет, чем Соединенные Штаты. Можно было бы удивиться настойчивости, с какой ставят этот простой вопрос. Меня, правда, больше удивляет молчание тех, кто вместе со мной наравне вел дело к подписанию договора и даже получил за это награды.

Почему бы депутатам группы „Союз" не спросить, например, о причинах уничтожения ракетного комплекса „Ока" не столько меня, как они это делают с преувеличенным рвением, сколько уважаемого мною маршала С. Ф. Ахромеева, который на переговорах по этому классу ракет занимал место рядом с Генеральным секретарем? Уж маршал-то не хуже, а то и лучше меня знает, кто и почему дал на это согласие, как знает и то, что без согласия министра обороны и начальника Генерального штаба такие решения не принимаются.

Умолчание, как и ложь, — не моя политика. И не я один — все, в том числе маршалы, генералы, военные эксперты вместе с дипломатами сделали великое дело, когда ликвидировали у границ страны второй стратегический фронт. В защиту договора высказано много аргументов. Кто-то их принимает, кто-то нет. Но я так и не слышал, чтобы кто-нибудь сказал, что наше положение — военное, политическое — было бы лучше, если бы мы не заключили этого договора.

Повторяю, дался он нам нелегко, большой кровью. В длительном и напряженном процессе его подготовки был не один момент, когда стороны теряли путеводную нить. Однажды и вовсе чуть было не „потеряли" договор.

Уже почти на финише переговоры в Москве едва не оказались сорванными. Причины — чисто субъективного свойства. Раздосадованный Шульц даже не попрощался с нами. По старой логике мы могли бы сказать: „Не хочешь — не надо". Но дело-то ведь было в том, что надо было и нам и американцам. И мы и они желали договора. Остановив Шульца у самого трапа самолета, я сказал ему, что мы обязаны уладить дело. Объяснил, как это можно было бы сделать. Он согласился.

Через день-другой мы были в Вашингтоне. Понадобилось немного времени, чтобы спасти договор. На все ушло не более сорока часов.

Этот пример как нельзя лучше иллюстрирует новый характер сложившихся к тому времени отношений.

Аналогичный случай произошел в связи с подготовкой Женевских соглашений по Афганистану. Не буду входить в детали. Скажу лишь, что речь шла о договоренности, которая позволила бы нашим странам выступить вместе гарантами этих соглашений. Обсуждение соответствующих формулировок было

длительным и тяжелым. Несколько раз рабочие „пятерки", участвовавшие в дискуссиях, расходились по отдельным комнатам для своих „внутренних" совещаний. Наконец, когда были исчерпаны все возможности, решать надо было государственному секретарю. Он ушел со своей командой куда-то и отсутствовал минут двадцать, если не больше.

Я ждал его в гостиной у камина. От меня уже ничего не зависело. Наконец Шульц появился, выдержал паузу и сказал, что не может принять наш вариант. Сказать, что я был разочарован, значит, ничего не сказать. В такие моменты наступает какое-то душевное опустошение. Были в миллиметре от согласия — и не получилось. Джордж тоже был заметно расстроен. Мы обменялись какими-то пустыми фразами и распрощались. Возвращались домой с тяжелым сердцем.

И вдруг, совершенно неожиданно, на следующий день, уже в Москве, от госсекретаря пришел сигнал о том, что американская сторона готова принять наше предложение.

Соглашения по Афганистану были подписаны.

В наших отношениях с администрацией президента Рональда Рейгана мы прошли большой путь. При смене администрации в Вашингтоне в них возникла определенная пауза, и это, наверное, было естественно. Тогда мы этого не осознавали, были встревожены. Но суть дела состояла в том, что теперь уже было явно недостаточно продолжать „линейное" развитие, решая в основном проблемы двустороннего характера, будь то в области безопасности или в других сферах, где соприкасались интересы наших стран.

***

Один домашний критик-интеллектуал назвал Горбачева и меня „мальтийскими рыцарями". За что и

почему нас возвели в столь высокий сан — без ведома командора Мальтийского ордена? Очевидно, за встречу на Мальте, где под шум средиземноморского шторма тихо скончалась „холодная война“.

Неужели, думаю я, кому-то в нашей стране нужна была она, как состояние непрестанной готовности к отпору со стороны извечного „недруга“? Или так уж необходим кому-то сам образ его, взбадривающий манию имперского величия?

Да, наверное, не могут простить Горбачеву его фразу президенту Бушу: „Мы в Советском Союзе готовы не рассматривать Соединенные Штаты Америки как своего военного противника“. По той же странной логике не следовало бы прощать Джорджу Бушу и его ответные слова, произнесенные спустя какое-то время в Кэмп-Дэвиде: „Вы можете исходить из того, что Соединенные Штаты Америки никогда не будут угрожать безопасности Советской страны“.

Наверное, кому-то очень трудно дышать, когда вокруг не остается врагов.

Что же касается меня, то я хотел этого и стремился к этому. Как мне кажется, и Джеймс Бейкер шел мне навстречу.

В этой связи мне особенно хочется вспомнить нашу встречу в Иркутске и на озере Байкал 2 августа 1990 года. Это была наша очередная предотпускная встреча.

Здесь необходимо пояснение. Как я уже говорил, для каждой встречи у нас всегда была достаточно насыщенная повестка дня, вписывавшаяся в общую проблематику советско-американского диалога. Каждый раз мы занимались конкретными вопросами, шаг за шагом продвигаясь в решении проблем, связанных, скажем, с договорами о стратегических вооружениях, об обычных силах в Европе, с поиском компромиссных вариантов в разрешении региональных конфликтов. Кроме того, всегда обсуждались вопросы

прав человека, экономических и других связей, транснациональные проблемы, готовились отдельные соглашения.

Однако ко всему этому у каждой встречи было свое философское измерение. Оценка сделанного, предсказуемость действий в тех или иных областях, взаимопонимание на уровне политических институтов, возникающее доверие, знание намерений и взглядов каждой стороны на процессы, происходящие в их странах, мире в целом, позволяют, если можно так сказать, сориентироваться в пространстве мировой политики, определить, где мы находились и куда хотели бы двигаться.

В Вайоминге, на виду у Скалистых гор, мы констатировали, что отношения между двумя странами нормализованы, и заявили, что теперь хотели бы идти дальше — к конструктивному сотрудничеству. Прошло время, и мы сказали, что теперь надо переходить уже и к взаимодействию. Так вот, большой философский смысл иркутской встречи в том и состоял, что мы пришли к выводу: наши отношения достигли такого уровня, который позволяет нам действовать на международной арене как партнерам прежде всего в вопросах, имеющих отношение к конфликтам в „третьем мире".

Это можно было бы назвать совпадением, но я предпочитаю говорить о предвидении, во многом основанном на политической интуиции: во время иркутской встречи мы в теоретическом плане коснулись вопроса о том, что окончание „холодной войны", улучшение отношений между СССР и США может, особенно в первое время, породить некий вакуум в отдельных районах мира, который, не исключено, заполнит стимулированные региональными гегемонистическими тенденциями кризисы.

Мы отдавали себе отчет в том, что пока это всего лишь осторожные прогнозы, но что уже сейчас для

страховки необходимо вырабатывать модели ответственного поведения, совместных действий.

Конечно же, мы и думать не могли, что находимся в двух шагах от такого выбора.

Итак, после этой иркутской, одиннадцатой по счету, нашей встречи, мы собирались в отпуск. Утром 2 августа провели заключительную пресс-конференцию и вернулись в зал переговоров особняка „Ретро“, чтобы подвести некоторые итоги. Беседа, как повелось у меня с госсекретарем, проходила в узком составе. Поэтому нас удивило появление пресс-секретаря госдепартамента Маргарет Татуайлер — члены наших команд дисциплинированны и без особой необходимости не нарушают наше уединение.

Татуайлер передала своему шефу записку. Тот прочитал ее и сказал:

— Господа, на пульт связи государственного департамента поступило сообщение о том, что Ирак перешел границу Кувейта. Однако, по мнению посла Кувейта в Вашингтоне, ситуация пока не вызывает особой тревоги...

Мы продолжили нашу беседу. По-моему, не только я — и американцы не обеспокоились. Я знал, что между Ираком и Кувейтом идут переговоры, идут трудно, но предположить, что Саддам Хусейн решится на вторжение, — не мог. Никаких сигналов и признаков на этот счет не было. В прошлом иракские войска не раз пересекали границу соседней страны, задерживались ненадолго и возвращались на свою территорию. Ко всему этому агрессия Ирака представлялась маловероятной как совершенно алогичный, противоречащий любым соображениям здравого смысла шаг. Абсолютно иррациональный в сложившихся условиях.

Готов повторить это и сегодня, хотя подобные признания уже не раз давали повод моим критикам обвинить меня в некомпетентности и игнорировании

экспертных оценок. Выше я уже говорил о том, что никогда ничего не предпринимаю без совета со специалистами. Полагаю, что за годы моей работы в МИДе значительно расширился круг работников, участвовавших в оценке и выработке рекомендаций. К их мнению я всегда чутко прислушивался. Но при этом неизменно соотносил сказанное ими с собственным пониманием и видением общей стратегической задачи.

Есть люди, которые смотрят на происходящее как бы из одного „окопа“. Мне же самой должностью было предписано держать в поле зрения всю линию фронта. Но даже из тех окопов, которые занимали иные наши эксперты, такое безумие, как вторжение Ирака в Кувейт и его аннексия, никак не просматривалось.

Мои личные встречи с Саддамом Хусейном позволили составить о нем довольно четкое представление. Волевой, жесткий, властный, но, конечно же, — умный человек. Да, войной с Ираном пытался „подправить“ невыгодную ему политическую договоренность. Да, применил в Иракском Курдистане химическое оружие. Да, жестоко подавляет любые признаки неповиновения. Но все, что ему ставят в вину, происходило в условиях, абсолютно исключающих какой-либо организованный отпор, какие-либо санкции со стороны мирового сообщества, расколотого конфронтацией и враждой. Сейчас же, когда складывался новый основанный на сотрудничестве и взаимодействии миропорядок, совершать акт агрессии значило совершать самоубийство. Не может быть, думал я, чтобы Саддам Хусейн не понимал этого.

* * *

Я расстался с Джеймсом в Иркутском аэропорту. Он улетел в Улан-Батор, я — в Москву, где и узнал, что Ирак занял Эль-Кувейт. В тот же день мне пере-

дали предложение Бейкера о совместном заявлении, осуждающем иракскую агрессию.

Пожалуй, это было одно из самых трудных решений, которое мне приходилось когда-либо принимать. О причинах и обстоятельствах сейчас умолчу. Пока представлю лишь ход моей мысли, „поток сознания", предшествовавший встрече с Бейкером 3 августа 1990 года.

Она состоялась в московском аэропорту Внуково-2, куда Бейкер прилетел, прервав визит в Монголию. Несколько предыдущих часов я преодолевал сильное сопротивление — в самом себе, вокруг себя и не только в МИДе. Опять пришлось тащить мяч через все поле. Но это была уже не игра в американский футбол, в чем меня потом обвиняли, и даже не в советско-американский. На карту был поставлен вопрос о будущем мира.

События 2 августа и их возможное дальнейшее развитие явно лимитировали, ставили предел многому из того, чего мы достигли. Они угрожали подрывом практики нового мышления, тенденции разоружения, всего курса на строительство новых международных отношений.

Как быть? Я не мог тогда прогнозировать благополучный исход, но я обязан был думать о долженствовании. О том, каким мне видится оно. Каким, по-моему, не могло быть.

Коллеги напоминали мне о Договоре о дружбе и сотрудничестве с Ираком. Об особых с ним отношениях. Все это я брал в расчет. Но самую большую тревогу причиняла мысль о восьми тысячах советских граждан, находящихся в Ираке, и я обязан был сделать все, чтобы ни с одной головы не упал ни один волос. Но ведь я обязан был помочь и гражданам Кувейта, а также других стран. И вовсе не потому, что меня об этом могут попросить.

Нравственные императивы пришли в сложное вза-

имодействие с соображениями политики. И в который уж раз я подумал о том, что нравственное самоопределение общества, государства, человека выявляет себя прежде всего по отношению ко всякому насилию.

Государства карают любое покушение на чью-либо жизнь, достоинство, собственность.

С другой стороны, и сами государства не могут существовать вне защиты закона, вне соблюдения норм международного права, ибо альтернатива этому — каждый сам по себе и за себя, иначе говоря — произвол, господство сильных над слабыми.

Мировое сообщество не может допустить появления государств-хищников и пиратских режимов, ибо это приведет к неизбежной деградации мирового правопорядка, к дестабилизации международных отношений.

Вопрос стоял так: жить ли нам по единым представлениям о добре и зле или, цинично отбрасывая их, позволить кому-то сотрясать устои мира?

Самое время было задать этот вопрос перед лицом испытания, вызванного кризисом в Персидском заливе.

Агрессия против Кувейта — это агрессия против тенденции позитивных перемен, привнесенных в международную жизнь политикой нового мышления.

Я не мог даже допустить мысли о том, что возможен вариант, при котором не будут восстановлены суверенитет, территориальная целостность и законная власть в Кувейте.

Ведь это государство — член Организации Объединенных Наций, оно им было, есть и должно остаться.

Короче, мы обнародовали наше совместное заявление. Затем, ввиду крайне опасного развития событий понадобилась специальная встреча президентов СССР и США, проведенная в Хельсинки 9 сентября.

Все эти дни мы работали с предельным напряжением, содействуя формированию международного согласия и адекватной реакции мирового сообщества на события в районе Персидского залива.

С самого начала кризиса вели интенсивные консультации с другими постоянными членами Совета Безопасности — Великобританией, Китаем, США, Францией, со всеми странами, входящими в его состав. Беспрецедентный характер приобрело наше взаимодействие с Соединенными Штатами Америки. Функционировал телефонный Мост Москва—Вашингтон—Вайоминг, где тогда находился государственный секретарь Дж. Бейкер.

Регулярные контакты поддерживались с Европейскими сообществами, шел оперативный обмен мнениями с вице-канцлером ФРГ Г.-Д. Геншером, министром внешних сношений Франции Р. Дюма, министром иностранных дел Англии Д. Хэрдом.

Мы держали в курсе дел руководителей стран — членов Варшавского Договора, передавали информацию правительствам многих соседних и дружественных нам стран, в том числе Индии, Югославии, Турции, Ирана.

Не прекращался диалог со всеми арабскими странами, руководством Лиги арабских государств и Организации освобождения Палестины.

Ни на день не прерывались наши контакты и с руководством Ирака. Помимо политических проблем, мы обсуждали с ним и практические вопросы, связанные с эвакуацией советских граждан из Кувейта, а также выездом из Ирака наших специалистов.

Однажды мне пришлось прибегнуть к сильным выражениям, даже посулить „применение любых мер, какие будут сочтены необходимыми", чтобы защитить наших граждан. Даже за это меня критиковали дома. Но факт остается фактом: только после этого Багдад дал согласие на свободный выезд советских граждан из Ирака.

Теперь, вновь возвращаясь к перипетиям этой истории, я прихожу к выводу, что мне не в чем упрекнуть себя. Наша резкая реакция на действия Саддама Хусейна определилась прежде всего принципиальными политическими и моральными соображениями о непозволительности произвола и агрессии, о долге прийти на помощь жертве агрессии и не дать погибнуть малой миролюбивой стране, ее народу.

Но речь шла не только о Кувейте и об Ираке. Речь шла о регионах — и вновь говорю об этом без какого-либо преувеличения — о мире, жизни всех стран и народов.

С начала перестройки мы выдвинули ряд идей новой организации международных отношений, новых способов обеспечения мира и безопасности, защиты прав человека и наций.

Поддержанные мировым сообществом, эти идеи позволили осуществить радикальный поворот к лучшему в мире, решить ряд сложнейших проблем мировой политики, открыть путь к утверждению нового мирового порядка, основанного на праве, справедливости, отказе от насилия и чрезмерной вооруженности.

Если бы мировое сообщество не смогло пресечь агрессию против Кувейта, то оказалось бы, что мир ничего не получил от окончания „холодной войны", отказа от конфронтации, от позитивных сдвигов на международной арене.

На самом деле, чего бы стоил тогда принцип свободы выбора? Его получал бы только сильный, тот, кто может навязать свой „выбор" соседям, другим народам.

Чего стоили бы все усилия по ограничению гонки вооружений и снижению напряженности?

Кувейт — богатая страна. Она могла бы просто „купить" себе защиту, наняв, скажем, необходимые для этого вооруженные силы, закупив самое совре-

менное оружие. Кувейт предпочел остаться мирной страной, тратить деньги на собственное развитие и на помощь другим. Он положился на защиту мирового сообщества, на международное право.

Могли ли мы отказать ему в этой защите? Не могли, и не только по нравственным соображениям, но и потому, что такой отказ имел бы катастрофические последствия для мира, в котором мы живем.

О какой разумной достаточности для нужд обороны ведем мы речь, если не можем рассчитывать на помощь других в условиях, когда ваш сосед ведет себя как грабитель с большой дороги?

Каждое государство может оказаться в таком положении, стать объектом разбоя и насилия. Если не будет создан механизм противодействия агрессии, то каждый народ рискует стать жертвой, а у „сильных" появится соблазн поправлять свои дела за счет захвата богатств других.

Нет, я не считаю события в районе Персидского залива „конфликтом". Если ваш дом кем-то захвачен, то нельзя говорить, что у вас с кем-то конфликт. Вы — жертва преступления. Применительно к данной ситуации я не приемлю и термин „война". Силы коалиции осуществили военную акцию, санкционированную мировым судом — Советом Безопасности ООН. Они просто восстановили законность.

В этом, пожалуй, суть — впервые на строгой юридической, правовой основе была пресечена агрессия одного государства против другого, пресечена по мандату Совета Безопасности ООН. Много ли было случаев в прошлом, когда выполнялись резолюции этого органа? Трудно вспомнить. А теперь благодаря новому политическому мышлению это произошло. Произошло благодаря тому, что СССР и США начали сотрудничать, в том числе в ООН. Единство, продемонстрированное в Совете Безопасности, — беспримерное в современной политике. По большому

счету это — уникальный шанс для формирования эффективных механизмов защиты права и справедливости в международных отношениях.

Теперь о критике в мой адрес. Оппонентам в стране не понравилось мое выступление на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, голосование в Совете Безопасности за резолюцию 678, не понравилось то, что так мало времени отвели на уговоры агрессора перестать творить зло и уйти из Кувейта.

Мне приписывают также намерение вовлечь страну в военные действия в Персидском заливе. Все мои объяснения, аргументы, возражения не были услышаны. И не могли быть услышаны. Потому что эта критика по-прежнему ставит все происходящее в контекст „борьбы двух систем".

Один из критиков поставил вопрос: представлял ли я себе, за что голосую. То есть понимал ли, что против Ирака будет применена сила, или не знал, во что это может вылиться. Так вот, мне еще раз хочется ответить, что очень хорошо представлял, более того, имел точную информацию на этот счет. Из этого никто не делал секрета. Я бы даже подчеркнул, что и нас, и американцев, и других членов коалиции больше всего заботило, представляет ли иракское руководство, лично Саддам Хусейн, как будет выглядеть военная операция против Ирака. И мы использовали все каналы, все возможности, чтобы объяснить это Багдаду.

„Паузу доброй воли", кстати, включенную в текст резолюции по моему настоянию, мы сполна использовали для того, чтобы убедить Ирак уйти из Кувейта и предупредить его о возможных для него последствиях в случае невыполнения им резолюции 678 Совета Безопасности.

В последнюю мою встречу в Москве с Тариком Азизом я раскрыл перед ним имеющиеся у меня данные о новом оружии, которое может быть использо-

вано против Ирака. Сказал, что не знаю, как долго продлятся военные действия, если они будут начаты, но в исходе военных действий, если они не будут предотвращены, — не сомневаюсь.

В тот же день М.С. Горбачев очень жестко предупредил Азиза, что его страна может быть ввергнута в пучину страшных бед, если иракское руководство не примет решения об уходе из Кувейта. Ничего другого мы не добивались, предлагая единственно разумный путь — мирное решение вопроса.

Незадолго до моей отставки, во время визита в Турцию, я хотел использовать еще один шанс — встретиться в Анкаре с Ясиром Арафатом и через него передать иракцам предостережение и просьбу кончить дело миром. Увы, Арафат не прилетел.

Так кто же все-таки не сохранил мир и выбрал путь войны?

Иракское руководство было информировано нами, что никаких ограничений на применение силы против Ирака не будет, что резолюция 678 не устанавливает их. Не знаю, на что рассчитывал Саддам Хусейн, но мы сделали все, чтобы он знал, на что идет.

Пяти с половиной месяцев для этого было достаточно. В любой момент, даже после начала военных действий, Саддам мог сказать одно слово — „ухожу“, и действия против него были бы прекращены, но ведь его все-таки пришлось выбивать из Кувейта. И конечно же, я не думаю, что были оправданы попытки организовать прекращение огня на финишной стадии военных действий. До их же начала МИД СССР представил аналогичный план, но он не был — или, скорее всего, не мог быть реализован.

Хусейн сделал выбор.

Мне представляется, что предпринимавшиеся в ходе этого кризиса поездки специальных эмиссаров в Багдад для уговоров Саддама Хусейна объективно принесли вред, ибо они укрепляли в иракском руко-

водстве иллюзию относительно каких-то вариантов, при которых Ирак мог так или иначе получить выгоду от своей агрессии.

Иные говорили, что надо дать иракскому лидеру шанс „спасти лицо". Смею думать, что я тоже неплохо знаю господствующие на Востоке представления о „лице" и чести. Я понимал, что Хусейн не станет „спасать лицо" в поисках мира.

Действия Ирака — разрушение Кувейта, поджог нефтяных скважин, репрессии против чужого и собственного народов, геноцид курдов — показали, на что способен диктатор. Мировое сообщество не могло пойти на умиротворение агрессора — в конце концов есть ведь и уроки истории.

Кризис в районе Персидского залива с предельной остротой поставил вопрос о необходимости принятия неотложных мер по укреплению режима нераспространения оружия массового поражения, по ограничению передач и продаж современных видов вооружений, технологий их производства. Особенно это касается ракетных систем. Есть огромная потребность в разработке международного кодекса, регулирующего продажи и поставки оружия. Нельзя больше тянуть с заключением международной конвенции о запрещении и уничтожении запасов химического оружия.

Что же касается ядерного оружия, то, по моему мнению, надо ускорить подписание советско-американского соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений и решительно двинуться вперед в вопросе о сокращении числа и уменьшения мощности ядерных испытательных взрывов, а через какое-то время — договориться об их полном запрете.

И конечно же, необходимо как можно скорее создать в рамках ООН предусмотренные ее Уставом механизмы поддержания международного мира и безопасности.

Нет пока у мирового сообщества ничего более рационального и действенного, чем Организация Объединенных Наций. Даже с точки зрения будущего пока это единственно возможный реальный гарант международной стабильности. Надо, чтобы он действительно был им. Ни одна страна не примет идею наведения порядка силами одного государства. Новый миропорядок можно строить только сообща. Быть может, я всем надоел своими предложениями о придании Военно-штабному комитету Совета Безопасности его изначальных функций. Когда это произойдет — Совет Безопасности, заключая договора с государствами — членами ООН, сможет выступать полноправным гарантом мира в любом регионе, как это определено Уставом ООН. Именно Совет Безопасности, и никто другой.

Сегодня многие утверждают, будто после завершения кризиса в районе Персидского залива начинается „Pax americana", „американский век", что отныне исключительно США будут управлять порядком в мире.

Но, во-первых, если это нежелательно, а это действительно нежелательно, то тем более важно как можно быстрее создать соответствующие ооновские механизмы, повысить роль организации и сделать ее действенным центром коллективных усилий.

Во-вторых, опасения „американизации" мира, мягко говоря, нереалистичны. Ведь тот же кризис в районе Персидского залива показал, какие огромные средства и ресурсы необходимы, чтобы призвать к порядку в общем-то небольшую по населению и по промышленному потенциалу страну. Наверное, войну с Ираком США выиграли бы в любом случае, но разве поддержка других участников коалиции, прежде всего Соединенного Королевства, Франции, Италии, была только символической? И разве не потребовалось мобилизовать финансовые средства по существу всего западного мира и ряда арабских стран,

чтобы оплатить миллиардные расходы, связанные с этой операцией?

Я думаю, что сегодня ни одна страна в мире просто не в состоянии взять на себя защиту мирового правопорядка. Это можно сделать только на коллективной основе.

Да и политически прошло время, когда можно было действовать в одиночку, а тем более — противопоставлять себя большинству мирового сообщества.

Немало уже говорилось о том, что в сегодняшнем мире решающее значение имеют экономические возможности страны, уровень ее технологического и научного развития. Милитаризация, содержание чрезмерно больших вооруженных сил и запасов вооружений неизбежно будут отбрасывать ее назад, ставить в худшее положение по сравнению с теми конкурентами, которые не будут нести столь тяжелого бремени военных расходов.

И потом, мы действительно сегодня живем в иной военно-политической среде, требующей пересмотра складывавшихся десятилетиями представлений о характере и вероятности чисто военных угроз. Я думаю, уверен, что тот способ, которым был решен кризис в районе Персидского залива, окажет должное воздействие на поведение тех государств, которые в других условиях могли бы заявить претензии на региональное господство.

Нам всем еще предстоит непростая адаптация к реалиям той ситуации, которая возникла после окончания „холодной войны" и перехода к новому характеру отношений между Востоком и Западом.

Проблему, на мой взгляд, составляет не исчезающая пока тенденция подхода к новым явлениям со старым набором представлений.

Кризис в районе Персидского залива, его уроки, несомненно, будут находиться в центре процесса

формирования новых воззрений и выработки новых подходов в политике, в международных отношениях.

Мера глубины пересмотра позиций и ценностей будет во многом зависеть от того, удастся ли добиться прогресса — и как скоро — в решении ближневосточной проблемы.

Если мы видим опору будущего миропорядка в Организации Объединенных Наций, то всемерно обязаны добиваться выполнения резолюции 242 Совета Безопасности. В сегодняшней ситуации она равнозначна формуле „обмена территории на мир", о которой недавно напомнил президент США Джордж Буш.

При этом хотелось бы уточнить, что мирное урегулирование на основе баланса интересов и баланса ответственности — отнюдь не может быть навязано кем-либо со стороны, в том числе и Организацией Объединенных Наций. Это решение должно быть найдено исключительно теми, кто вовлечен в конфликт. Иным политическое урегулирование не бывает. Чтобы оно состоялось, необходимы переговоры, диалог.

ООН, те или иные заинтересованные страны могут помочь наладить такой диалог, убедить конфликтующие стороны начать разговор и, если понадобится, стимулировать их к этому.

Понимая, что высказываю рискованную мысль, все-таки скажу: может быть, придет время, когда ООН станет вводить какие-то санкции против правительств, которые отказываются от диалога, от разговора с противостоящей в конфликте стороной. Таким образом, диалог был бы признан в качестве универсального и обязательного принципа при решении спорных проблем. Есть ведь теперь в нашей практике „инспекции без права отказа". Может, стоило бы ввести принцип „переговоров без права отказа"?

Обстановка — и общемировая, и на самом Ближ-

нем Востоке — теперь совсем не та, что была раньше. Противостояние Советского Союза и США в этом регионе кончилось. Одно лишь это является таким фактором, который меняет все элементы ближневосточного уравнения. Оно уже не то, каким было когда-то.

В последнее время я не раз говорил, что не разделяю официальную точку зрения на египетско-израильское соглашение, достигнутое при посредничестве президента Дж.Картера в Кэмп-Дэвиде. Считаю, что оно отвечает всем условиям мирного политического решения, оказалось прочным и дало сторонам то, что они хотели получить.

К сожалению, в условиях конфронтации, определявшей тогда положение на Ближнем Востоке, Советский Союз предпочел занять критическую позу в отношении этого, безусловно, разумного варианта. Надо признать и то, что тогда у нас не было самостоятельной политики по ближневосточному урегулированию. Наши союзники в регионе злоупотребляли готовностью СССР учитывать и отстаивать их интересы и по существу очень часто использовали нас для блокирования тех или иных миротворческих инициатив, которые время от времени появлялись. Так было и с соглашением в Кэмп-Дэвиде. Сказывалась, видимо, и наша глубокая обида на Анвара Садата, да и Бегин казался слишком „правой" фигурой. И, наверное, думали также, что из этого ничего не получится и мы докажем свою правоту.

Если же смотреть на соглашения в Кэмп-Дэвиде объективно, то они реалистичны, грамотны, прошли суровые испытания и отлично действуют.

Наша позиция в делах ближневосточного урегулирования была также изначально ослаблена разрывом дипломатических отношений с Израилем в 1967 году.

При пересмотре нашей внешней политики мы уже

на самом начальном этапе пришли к заключению, что отношения необходимо восстановить, но осторожные люди сказали, что для этого нужно выбрать „правильный момент“. Те, кто хорошо знаком с Ближним Востоком, знают, что там каждый день может что-то произойти. Тем более надо иметь нормальные отношения со всеми странами региона. Однако получилось так, что, восстановив связи по существу со всеми, с Израилем мы дошли только до обмена генеральными консульствами. Я весьма сожалею, что мне не удалось довести дело до обмена послами.

Что же касается самого урегулирования, то здесь нет недостатка идей, формул, вариантов, компромиссных подходов. Главное — действовать прежде всего в контакте с самими участниками конфликта.

Я думаю, что, всесторонне проанализировав обстановку, в Израиле придут к выводу о необходимости использовать нынешнюю благоприятную ситуацию для „обмена территорий на мир“. От решения палестинской проблемы не уйти, и сама собой она никуда не исчезнет. Израильтяне должны вступить в диалог с палестинцами, в том числе с Организацией освобождения Палестины.

Существует масса проблем, которые следует обсудить арабам и израильтянам. Прежде всего, по-моему, — начать переговоры о том, чтобы на Ближнем Востоке не было ни ядерного, ни химического, ни бактериологического оружия. Надо прийти к какому-то согласию в отношении ракетного оружия в регионе, затронуть тему военной достаточности для нужд обороны.

Даже простой разговор за одним столом по этим проблемам будет способствовать росту доверия, создаст необходимый климат для последующих политических решений.

Еще раз хотел бы подчеркнуть: пора оставить в

прошлом всякие „непризнания“ друг друга и начать серьезный диалог по всем вопросам, требующим политического урегулирования.

* * *

Завершая тему советско–американских отношений, обзор достигнутого в годы перестройки, мне хочется повторить: перемены рождались в муках. Они требовали трудной переоценки привычных представлений. Но сдвиг произошел. Во многом ему способствовала кардинальная политическая констатация, сформулированная на высшем уровне, что расхождение интересов наших стран не должно увековечивать наше соперничество, что учитывая реальности нашего века, мы обязаны стимулировать дополнительные усилия в поисках зон согласия.

Пожалуй, труднее всего было приложить это правило к региональным конфликтам. Но и это удалось.

Как мне представляется, есть у нас теперь и другое важное общее понимание. У нас нет ни возможности, ни морального права пытаться навязать конфликтующим сторонам свои рецепты политического урегулирования и национального примирения. Но мы можем немало сделать, проводя взвешенную и сдержанную политику, показывая пример конструктивного взаимодействия, для деэскалации существующих и профилактики новых конфликтов, создания благоприятных условия для мирного, справедливого решения.

Здесь тоже удалось достигнуть немалого. Не преувеличивая значения советско–американского вклада, скажу все–таки, что он был весьма заметен и в международных усилиях по прекращению ирано–иракской войны, и в достижении широкого комплекса договоренностей, направленных на деколонизацию Намибии и общее урегулирование конфликта на Юге Африки.

Известное соглашение между центральноамериканскими государствами вряд ли стало бы возможным в условиях острой конфронтации между СССР и США.

Многое значит серьезное советско-американское взаимодействие в решении камбоджийской проблемы.

О значении взаимодействия наших двух стран в Персидском заливе я уже сказал. Мог бы лишь добавить, что я не взялся бы прогнозировать события, если бы они возникли в атмосфере „холодной войны". Миру повезло, что к началу агрессии советско-американские отношения оказались выведены на уровень партнерства.

* * *

Что дальше? Какое будущее ждет наши страны на их трудном пути к сотрудничеству и взаимодействию? Удастся ли им и дальше совместно совершать прорывы к желанным „тач-даунам"*? Я не пророк, не оракул, но точно знаю, просто убежден: без сотрудничества, дружбы, взаимопонимания, доверия друг к другу наших народов мир многое проиграет. Проиграем и мы сами.

Я очень не хочу этого. В конце концов нет ничего более печального, чем угасающее пламя, которое вам когда-то удалось разжечь в очаге.

---

*Термин из американского футбола. Означает приземление мяча за голевой линией противника, что приносит очко.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕВРОПЫ. ВРЕМЯ ТРЕВОГ И НАДЕЖД



„Окно в Европу“ открылось для меня задолго до „открытия Америки“. За несколько лет до назначения на пост министра иностранных дел. Это было „окно“ в страны Восточной Европы, или, как мы тогда говорили, страны социалистического содружества. Все, что я увидел в этом „окне“, так или иначе наложилось впоследствии на мои министерские заботы и во многом повлияло на формирование взглядов и отношение к событиям 1989—1990 годов.

Был также Хельсинки 1985 года. Десятилетие Заключительного акта отмечалось широко и торжественно, но тем не менее в воздухе была разлита тревога. Перед нами маячил вопрос: „Что дальше?“ Во всяком случае, меня не оставляло ощущение, что хельсинкский процесс затухает, что вдохнуть в него жизнь может лишь какая-то большая путеводная идея.

У себя в Советском Союзе мы много думали об этом.

Пусть никому не покажется это натяжкой, но уже тогда нами владело такое предчувствие, что рано или поздно в Европе наступят новые времена и Восток и Запад вернут себе свое первоначальное географическое значение, отнятое у них послевоенной политикой. В тогдашних условиях такое предвидение могло быть зачислено в разряд утопий. Когда осенью того же года в Париже М.С. Горбачев изложил идею общего европейского дома, одни аплодировали ей, как выражению безоглядной смелости, другие увидели в ней очередной пропагандистский номер, третьи — сочли несерьезной. И лишь немногие тогда знали, что эта зрелая, всесторонне взвешенная мысль берет начало в трезвом

сознании невозможности сохранять в Европе существующий порядок вещей. Сама наша перестройка содержала в себе проектные наметки новой европейской реальности. Но тогда, в 1985 году, мало кому она представлялась вероятной.

Берлинская стена казалась поставленной на века. Военно-политические союзы занимали рубежи противостояния прочно и основательно. Пропускные пункты на границе Востока и Запада приоткрывались „на мизинец". Раздел был такой реальностью европейского ландшафта, что без него жизнь представлялась немыслимой. Он завладел сознанием миллионов людей, и та же политика, которой надлежит смотреть далеко вперед, планировала самое себя на фундаменте этой незыблемой реальности. Питаемое догмой о разделенности мира на „сосуществующие системы", мышление наших партийных функционеров и дипломатов вдохновлялось невозможностью каких-либо кардинальных перемен.

Собственно говоря, функционер и дипломат выступали в одном лице, чаще — только в единственном, ибо идейно-политическое „родство" партийно-государственных иерархий в странах бывшего социалистического содружества предполагало беспрекословное подчинение дипломатии номенклатуре высокого ранга. На посольские должности в страны Восточной Европы назначались высокопоставленные партийные работники, и эти назначения производились исключительно Политбюро. Впрочем, и в другие страны послы назначались лишь после их утверждения этим органом.

Такая подчиненность предопределяла и характер действий. Бывшие партийные работники по всем вопросам обращались в высшую партийную инстанцию, минуя МИД. И в странах пребывания они зачастую действовали так же, непосредственно „выходя на первых лиц", игнорируя министерства иностранных дел стран содружества.

Мимоходом замечу, что изменить этот порядок удалось не сразу. Вернее, удалось только после создания парламентских структур. И лишь в 1989 году, после цикла восточноевропейских революций, мы смогли продвинуть на посольские посты людей иного типа и калибра.

Полагаю, мои бывшие коллеги подтвердят, что с первых дней пребывания в МИДе я с настойчивостью, моментами чрезмерной, проводил мысль о необходимости коренной реорганизации нашего посольско-дипломатического корпуса в странах Центральной и Восточной Европы, его основательной перестройки.

Из чего я тогда исходил? Во-первых, из установок и решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК и XXVII съезда партии, провозгласившего новые принципы взаимоотношений со странами содружества. Во-вторых, довольно хорошо зная жизнь некоторых из этих стран, бывая в них и не ограничиваясь во время визитов контактами лишь с „верхами“, видел, понимал, ощущал, сколь неприемлема для многих навязанная нами „модель“ существования. Не надо было обладать особой зоркостью, чтобы разглядеть симптомы явного неблагополучия. Ко всему этому была история, уроки и потрясения 1953, 1956, 1968, 1970-го, начала восьмидесятых годов, проецируемые на мой личный опыт и жизнь моей республики и страны. Наконец, и это, пожалуй, главное, осознание необходимости формирования посольств нового образца шло от генерального курса перестройки: зная, от чего мы отказываемся и к чему призываем идти, нетрудно было прогнозировать возникновение условий, в которых старая „партийная дипломатия“ оказалась бы полностью несостоятельной.

Дело, впрочем, не в ней, а в новых условиях и временах. В том, что они грядут сомневаться не приходилось.

Опять-таки не случайно уже в самом начале перестройки М.С. Горбачев особенно остро поставил вопрос о точности и полноте информации, поступавшей в центр из посольств, главным образом — из посольств в восточноевропейских странах. Элементов конъюнктуры в ней было немало. Однако в целом более или менее объективной информацией мы располагали. Она шла и из самих посольств, и по другим каналам.

Среди моих коллег, работавших в странах соцсодружества, были и есть толковые люди, верно оценивавшие положение дел, и я не кривил душой, когда, отвечая критикам, обвинявшим нас в том, что события в Восточной Европе застали нас врасплох, говорил, что послы были точны и добросовестны в своих донесениях.

Однако были, конечно, и другие. Это не вина их, а беда. Беда „авангарда", предопределившая его отставание, утрату авторитета, той истинной реальной власти, которая держится отнюдь не принуждением и диктатом. Беда дипломатии и политики этого, столь важного для страны направления и в конечном итоге — беда для государства.

Не секрет, например, что венгерская экономическая реформа была свернута во многом „стараниями" таких деятелей, и это обернулось бедой и для нас, с надеждой взиравших на небезуспешные попытки венгров создать эффективную модель работающей экономики. В них мы видели свой шанс, возможность реформировать собственное народное хозяйство на здоровых и разумных началах. Увы... Я ведь и сам пытался кое-что делать у себя дома и не понаслышке знаю, чего это стоило. Да и зачем так далеко ходить за примерами, когда совсем недавно, накануне перестройки, наша экономическая реформа развалилась, столкнувшись с бастионами догмы.

Революция сначала совершается в умах и только потом — в обществе. Беду перестройки вижу в том, что, совершившись в умах множества людей, она не затронула сознание тех, от кого многое зависело. Чаще всего перемен желали те, от кого зависело меньше.

Перечитывая стенограммы наших министерских совещаний, проводимых с участием посольских работников, убеждаюсь, сколь многие из них были встревожены положением дел. Неэффективность экономического сотрудничества. Неповоротливость наших министерств и ведомств, замедленная реакция на предложения партнеров. Нежелание вводить новые правила обмена людьми, опытом, идеями. Дружба на лозунговом уровне, но никак не на „уровне сердца". Мессианизм и миссионерство, неистребимая тяга поучать, требовать „делай, как я". Это было то, от чего мы сами предостерегали наших людей, просили отрешиться от мании превосходства и поучительства. И я буквально кожей ощущал недовольство, а то и гнев, охватывавшие иных высокопоставленных деятелей при слушании таких речей.

У меня сложились добрые, доверительные отношения с коллегами, министрами иностранных дел стран содружества. Сейчас, когда они почти все покинули свои посты, могу сказать, сколь сильно были они встревожены положением дел и сколь откровенно говорили со мной об этом. Как же нам переводить наши отношения на новые рельсы, спрашивали они, если ваша бюрократия не желает переключать стрелки? Граждане наших стран не могут нормально общаться друг с другом. Коллективы промышленных предприятий и научных учреждений, завязавшие партнерские связи, испытывают колоссальные затруднения при решении простейших вопросов. И по-прежнему — об этом говорилось с

нескрываемым недоумением — целый ряд влиятельных лиц в наших странах, критически настроенных по отношению к перестройке, находят себе союзников среди ваших эмиссаров, приезжающих из Москвы либо работающих в ваших посольствах.

Коллеги могли бы не говорить об этом. Даже не очень глубокий анализ позволял сделать вывод: большинство руководителей этих стран не желали перемен и будут противиться им. На словах, в речах и заявлениях поддерживая наш курс, на деле не спешили у себя с реформами. Возникала сложная коллизия: отказавшись от „экспорта идей“, от вмешательства во внутренние дела соседей и союзников, мы не могли активно, используя прежние методы, подталкивать их к реформам. И в то же время отчетливо видели: почти во всех странах Восточной Европы политическое руководство быстро теряет контроль над ситуацией, не находит адекватные ответы на требования сторонников демократических перемен. В иных же случаях, упорствуя в нежелании осуществлять реформы, консерваторы подвигались на применение приемов и мер, которые независимо от их воли и желания сплачивали неорганизованную оппозицию, способствовали ее оформлению в широкое общенародное демократическое движение.

Парадоксальным образом консервативный отпор ему по-прежнему ориентировался на Москву. Точнее, на наших домашних оппонентов. С наибольшей полнотой „содружество“ выявляло свой истинный характер, то, чем оно было всегда — содружеством, союзом партийно-государственных элит. На сей раз им угрожала бо́льшая опасность, чем когда-либо, и они легко находили общий язык, находили друг друга и консолидировались в союз недовольных советской перестройкой. Подлинное братство по борьбе с ней.

Помимо общеполитического видения складывающейся ситуации был еще, так сказать, личный срез. Непосредственные впечатления от личных контактов с руководителями „соцстран". Внешне все выглядело традиционно, как на добротных полотнах „старых мастеров": объятия, поцелуи, взаимные награждения орденами, задушевные приемы, участие в съездах — едва ли не ритуальных действах для избранных. Наша либеральная и радикальная „левая" печать не прощала нам этих объятий, ни наградных указов, ни фразеологии приветствий, по сути дела — проявлений приверженности былым порядкам. Действительно, это было демонстрацией ее, но только внешней, сугубо декоративной. Однако и декор разрушался, осыпалась позолота, на фасаде содружества возникали новые, немыслимые прежде детали. Привносила их оппозиция, если, вообще говоря, оппозицией можно назвать широкие народные массы. Наверное, и можно и нужно, ибо во время поездок М.С. Горбачева по странам содружества, оказываемый ему населением прием явно выливался в массовые народные манифестации. Люди приветствовали не только инициатора обновления государства, которое некогда принесло им освобождение от ужасов фашистского порабощения, а затем через своих квислингов жестко утвердило свой канон, — они приветствовали его как естественного союзника в противостоянии собственным руководителям, иными словами, как альтернативу существующему порядку вещей. Это легко читалось в настроении многотысячных толп, в возгласах и здравицах, прямо читалось на плакатах, лозунгах, транспарантах. И как контрдемонстрации подобному волеизъявлению власти в иных странах проводили съезды, где царили мотивы и настроения ритуального обожествления лидера, едва ли не религиозного экстаза в проявлении преданности и поддержки.

Таким был фасад. А в интерьерах политики разворачивались душераздирающие драмы. Я сам никого не отваживался поучать — лишь излагал наши принципы и позиции, пытался объяснить, какие причины и обстоятельства вызвали их к жизни. Чаще всего в ответ — не хула, не критика, не уклончивые выражения несогласия, а поток данных об успехах реального социализма. Подтекст обнажался совершенно откровенно: „У нас все хорошо, и перестройка нам не нужна".

Очень деликатно, осторожно в беседах со своими восточноевропейскими коллегами М.С. Горбачев высказывал свои рекомендации. Ссылаясь на опыт нашей страны, давал понять, что если они не предпримут шагов в сторону демократических преобразований, то неизбежно столкнутся с очень серьезными проблемами. Собеседники вежливо выслушивали его, кивали в ответ, отговаривались малозначительными примерами... Они были спокойны, ибо знали, что этот руководитель Советского Союза не двинет танки для утверждения демократии, как его предшественники — для ее подавления.

Бывали, однако, и шумные „сидения". Прямая сшибка мнений, острые споры, доходившие до личных столкновений. В Бухаресте, например, дискуссия достигла такого накала, что люди из охраны вынуждены были нарушить тайну переговорного помещения — открыли двери, чтобы посмотреть, что происходит.

Пока ничего не происходило — только спор между людьми, придерживающимися диаметрально противоположных взглядов. Произошло позже. Сначала — в Тимишоаре, затем — в Бухаресте...

В те дни я был в Брюсселе. Депутаты Европарламента спросили, как я оцениваю события в Румынии. У меня тогда не было полной ясности о происходящем, сработал также инстинкт „союзни-

чества", взяла верх осторожность дипломата. Но я все-таки сказал, что осуждаю насилие и скорблю по погибшим. Разве это социализм, спросил английский лейборист, когда стреляют в собственный народ, убивают собственных граждан? Нет, ответил я, это не социализм и никогда не было социализмом. И еще я поставил события в Тимишоаре в один ряд с трагедией в Тбилиси — у них был один исток, одна общая причина, одна сила, инспирировавшая их.

Тогда я не счел возможным дать волю соображениям дипломатической осторожности и высказал свое отношение и к тому, что происходило у нас в стране. К сожалению, дома этого не услышали.

И в те дни, и сегодня я думаю, что внешняя политика, как и политика внутренняя, не может защитить дело, которое в принципе незащитимо. Дело, которое идет против естественного хода истории. Против общенародных устремлений и порывов. Против желания человека жить достойно и свободно.

Никакая, даже самая изобретательная и изощренная политика, пусть и начертавшая на своих знаменах самые возвышенные слова, не способна защитить стену, разделившую народ и континент по признаку принадлежности к разным „лагерям" и „системам". Каким бы доброкачественным идеологическим раствором ни скреплялись камни этой стены, есть бетон другой марки, ломающий любые преграды, — народная воля. Самые интимные, самые тонкие человеческие чувства — любовь женщины и мужчины, любовь к детям, семье, родителям, стремление жить с сородичами, воссоединяться с близкими — сильнее стального бездушия идеологических догм. И если политика не учитывает эти факторы и не может ответить на них — она обречена.

Массовый исход немцев из ГДР на Запад мог

быть остановлен только тем, чем останавливали одиночных смельчаков, напролом шедших против стены, — выстрелами. Но если бы это произошло в атмосфере осени 1989 — зимы 1990 года, вместе с сотнями людей погибла бы и сама политика. Не исключаю — и об этом чуть позже, — что был бы убит мир.

Спустя несколько месяцев Джеймс Бейкер произнес примечательную фразу: „В проломах в Берлинской стене я увидел объединяющуюся Европу“. Я тоже увидел это, а еще — множество труднейших внешнеполитических проблем, самым непосредственным образом связанных с ситуацией внутри нашей страны. Мне было ясно, что и перемены в Восточной Европе, и перспективы строительства единого „безблокового“ континента в их увязке с процессами объединения Германии, предпосылкой к чему должно было стать завершение Венских переговоров о сокращении обычных вооружений, прямо отзовутся в домашних стенах, и возникшие при этом трещины по закону обратной связи могут пролечь глубокими рвами на нашем пути.

Так это и произошло. Внешняя обстановка обострила внутреннюю ситуацию, внутренняя — начала ставить препоны внешней политике.

* * *

Самое удручающее в критике, которая обрушилась на нас, — не воспаленность речей, не бушующая в них ненависть, не использование ярлыков и кличек из великодержавной лексики, не симптомы своеобразного империализма, закамуфлированного под лозунги классового подхода и борьбы двух систем, а отсутствие разумной альтернативы. Нежизнеспособность, исчерпанность старого мышления в первую очередь выявляет себя в неспособ-

ности выдвинуть какую-нибудь мало-мальски здоровую идею, осуществление которой смогло бы доказать несостоятельность принятых нами решений. Все по сути дела сводится к одному: надо было остановить, задержать процесс.

Как верно заметил один уважаемый мною обозреватель, история создает возможности, политика — пользуется ими. Или, добавил бы я, не пользуется, пытаясь „выстраивать" историю по принятым и „утвержденным" идеологическим схемам. И тогда возникает ситуация, порождающая соблазн смахнуть фигуры с доски своевольным движением руки. Именно это и предлагают нам критики, когда говорят: надо было идти „на риск осложнений с партнерами по дипломатическому и военно-дипломатическому процессу". О цене риска предпочитают умалчивать.

Сами оппоненты ничем не рискуют, когда утверждают:

— вы развалили геополитическую структуру в Европе;

— лишили страну союзников и разорвали внешний пояс ее безопасности;

— приблизили пределы влияния противостоящего военно-политического блока к рубежам державы и устранили противовес ему, существовавший в виде Организации Варшавского Договора;

— содействовали объединению Германии...

Любая контраргументация на этот счет не вызывает конструктивного отклика. Желание посадить перестройку на скамью подсудимых так велико, что обвинение абсолютно не озабочено приисканием соответствующих свидетельств и доказательств. Впрочем, оно и не может быть озабочено этим, ибо в прошлом судить о чем-нибудь означало созывать судилище над кем-нибудь. Откуда и быть доказательствам, если не торжество истины необходимо

системе, а утверждение своей правоты — любыми средствами? Казалось бы, в нынешних обстоятельствах любые средства не проходят, однако почва обрабатывалась так долго, что вбирает в себя все семена.

Не было альтернативы? Была, говорят нам, и я вспоминаю, какие парили настроения, — и не только у нас — весьма серьезные настроения, в которых явно сквозили призывы к использованию силы по сценариям 1956-го и 1968 годов. Казалось, история навечно внедрила в гены штамп репрессивного мышления, выработала определенные рефлексы и невосприимчивость к здравой оценке современности. Не говоря уже о невозможности действовать в новых условиях старыми методами, мы не могли пожертвовать собственными установками о праве народов на свободу выбора, невмешательстве, общем европейском доме.

По логике наших критиков получается, что обязаны были принести их в жертву. Иначе говоря — перестройку, ее политику и принципы.

Это ключевой пункт обвинений, их альфа и омега, скрытый, а сейчас уже и явный пафос: если бы не перестройка, то ничего подобного в соцлагере не произошло бы.

Итак, корень всех бед и зол — перестройка. И будто уже давно, с конца сороковых — начала пятидесятых годов, система не получала сигналов о том, что в „лагере" неблагополучно, что для большинства пребывающих в нем „лагерная" жизнь невыносима.

Не стану вновь приводить примеры Венгрии 1956 года и Чехословакии 1968-го. Вспомним сравнительно недавние, но доперестроечные времена. Польшу начала восьмидесятых годов. Поддержанное рабочим классом и интеллигенцией движение „Солидарности" создало реальную угрозу дестабилиза-

ции власти. Разве перестройка способствовала зарождению этого движения? Вопрос, конечно же, риторический, но его следует поставить, ибо ответ на него, намного более сложный, чем можно было бы предположить, прояснит и бесперспективность предлагаемой ныне „альтернативы".

Польское руководство оказалось тогда перед лицом двойной угрозы. Первую я уже обозначил, вторая же заключалась в „традиции" наводить порядок применением силы. Довольно широко распространились опасения — и, как мне точно известно, — небеспочвенные, что эту силу пошлет Советский Союз. И тогда в самой Польше, понимая, к чему это может привести, решили использовать „внутрипольский" вариант — ввести военное положение.

Вариант прошел и спас Польшу от „второй угрозы". Но мог бы и не пройти. А прошел потому, что на то было несколько серьезных причин.

Во-первых — Афганистан. До 1979 года предпринимаемые Советским Союзом силовые акции в соседних странах помогали стабилизировать ситуацию при относительно невысоких, как тогда казалось, политических, военных и экономических издержках. В Афганистане быстрого „решения" не получилось. Вторжение в эту страну вызвало сильную, с каждым днем нарастающую негативную реакцию в нашем обществе и за рубежом. Если в 1968 году в Советском Союзе лишь единицы открыто выразили протест против ввода войск в Прагу, то после 1979 года афганская авантюра прямо или косвенно осуждалась большинством.

В этих условиях тогдашнее политическое руководство было вынуждено считаться с серьезностью риска, связанного с какой-либо нашей акцией в Польше. У многих зрело понимание невозможности стучать бронированным кулаком. Приведу пример. В один из тех дней мне случилось быть в кабинете у

М. А. Суслова. Ему кто-то звонил, докладывая об обострении ситуации в Польше, настаивал, как я понял, на „задействовании силы“. Суслов несколько раз твердо повторил: „Ни в коем случае, не может быть и речи об использовании нами силы в Польше“.

Ситуация была „многослойной“, весьма и весьма неоднозначной. Действовал целый ряд факторов: Афганистан, положение внутри страны, возможная негативная реакция Запада. Но это еще не все. Думаю, что Москву остановили тогда серьезные и, полагаю, правильные опасения того, что поляки будут сражаться, что там придется вести полномасштабные военные действия. И еще во многом решающую роль, по-моему, сыграла личность генерала В. Ярузельского. Он тоже спас свою страну от вторжения извне, убедив советское руководство, что поляки сами справятся с ситуацией. Облачив военное положение в польский мундир, он отвел от Польши угрозу интервенции.

Давайте, однако, зададимся вопросом: покончило ли военное положение с внутренним брожением? Ни в коей мере. Наоборот, во многом стимулировало, что в конечном итоге привело в Польше к смене правительства и ориентации.

Так что нечего кивать на перестройку и уповать на военную силу.

Уроки военного положения в Польше не худо бы усвоить и нам.

После апреля 1985 года возможность военного вмешательства была начисто исключена. Принимая это решение, мы хорошо понимали, что развитие политических процессов в союзных странах будет зависеть от реализма и гибкости их политического руководства. Увы ...

В этих условиях очень актуальным становился вопрос о советском военном присутствии в Восточ-

ной Европе. Мы рассчитывали, что проблему удастся смягчить в рамках межблоковой договоренности о сокращении обычных вооружений, а также путем осуществления наших односторонних сокращений войск и вооружений в этом регионе.

События, однако, стали развиваться таким образом, что грозили вообще лишить смысла какую-то договоренность о сокращении вооружений в Европе. Потребовались активные усилия Советского Союза, Соединенных Штатов, других европейских государств для того, чтобы разработать Договор о сокращении обычных вооруженных сил.

Я намерен ниже подробнее рассмотреть эту тему. Пока же скажу, что наше военное присутствие в странах Восточной Европы было поставлено под вопрос задолго до начала событий 1989 — 1990 годов. И потребовали вывода войск отнюдь не правительства, пришедшие к власти в эти годы, а их предшественники. В очень осторожной форме и доверительной обстановке иные из них говорили нам, что дальнейшее пребывание советских войск в их странах создает для них серьезные проблемы. Что лучше самим предпринимать шаги в этом направлении, чем потом вынужденно ускорять их под давлением событий. О содержании этих бесед докладывалось нашему высшему руководству. Тема находила отражение в соответствующих политических заявлениях. Предполагалось, что столь серьезная постановка вопроса повлечет за собой разработку и осуществление общегосударственной программы безболезненного перемещения войск в родные пределы.

Ничего этого не было сделано, если не считать „делом" обвинения в адрес дипломатии по поводу „поспешного, похожего на отступление, ухода советских войск из Восточной Европы".

Меня часто спрашивают сегодня: просчитывало

ли в свое время руководство страны те сложности, которые связаны с выводом многотысячного контингента советских войск из европейских стран? Я отвечаю: „Да". У себя в МИДе мы просчитывали. После сделанного М.С. Горбачевым еще в начале перестройки заявления о том, что наши войска не стоят в Европе на вечном приколе, мы разработали свои рекомендации и прогнозы, в том числе о социально-экономических, психологических, материальных последствиях, и передали „наверх". Не знаю, была ли проделана такая работа в других ведомствах. Но факт остается фактом: заявление и практические действия разошлись. А в итоге пострадали люди. И поэтому я предъявляю серьезные претензии и правительству, и плановым органам, и министерствам — своему, в том числе. Себе, наконец. Пора бы мне к моим годам усвоить одну простую истину: любое заявление, пусть и сделанное на высшем уровне, воспринимается у нас только как декларация, которой следует поаплодировать и на том остановиться. Так уж нас воспитывали.

Казалось, происходящие в Европе головокружительные перемены выдвигают трудные вопросы не только перед дипломатами. Государство — не сумма ведомств, каждое из которых может „гнуть свою линию". Линия у нас одна — так, во всяком случае, мне думалось, но отношение к ней разное. Такой я вижу ситуацию теперь. И в вопросе о выводе войск, и в вопросе о сокращении вооружений верх брала групповая, клановая или „лагерная" философия. А преподносилось все это как защита интересов государства.

Все послевоенные реальности — конфронтация двух военно-политических союзов, высокая цена „холодной войны", попытки преодолеть раскол континента, зарождение и развитие хельсинкского процесса — предстали ныне в ином свете, в новых

измерениях. Открылись немыслимые прежде перспективы, но вместе с тем возникли новые проблемы, требующие новых подходов, нового видения европейского политического ландшафта, переосмысления многих привычных представлений об основах безопасности и сотрудничества на континенте.

„Мы не можем остановиться, когда весь мир пришел в движение", — говорил один из авторов идеи общеевропейского союза француз Жан Монне. Увы, многие из нас остановились, остались в том измерении, в котором обман и лукавство возводятся в высшую доблесть типа „не обманешь — не продашь". Не утаишь танки или правду — останешься с носом.

Утрата „друзей" и „союзников"? Да были ли они у нас в том обычном, нормальном смысле, который принято в эти понятия вкладывать? Может, наоборот, мы приобрели истинных друзей, убедив мир в том, что угроза ему не исходит от нашей страны? Нет ныне государства, которое не желало бы развивать с нами добропорядочные отношения, расширять и обогащать связи и контакты, обмениваться идеями, информацией, опытом.

Кто возьмется отрицать тот факт, что со всеми странами мы поддерживаем корректные, нормальные связи? Ни с одним государством у нас нет напряженных, а тем более враждебных отношений. Ни с одним государством мы не ухудшили отношений, а со многими — улучшили.

Мы сказали трудную и горькую правду о себе. И — ждали, когда руководители союзных стран будут готовы к тому же. Там, где они предпочли промолчать, слово взяли народы.

Так на политическую арену в странах Восточной Европы вышли новые силы. Их ведь не кто-то извне привел — народная воля. И от этого государства Восточной Европы не перестают быть для нас

ни соседними, ни дружественными. Во всяком случае, мы хотим, чтобы они были таковыми.

Мы ясно выразили свое отношение к событиям прошлого. Сама логика перестройки формировала эти оценки. Она же и предопределила разлад с силами торможения в этих странах.

Перемены там происходили в условиях полной свободы выбора народами своего пути, собственных методов строительства нового общества. Наше уважение к этому выбору — уважение полного, не ограниченного идеологией суверенитета стран Восточной Европы. Уважение их стремления к самостоятельности, не исключая возможных трансформаций социально-экономических и политических институтов.

Сложная реакция в нашей стране на происходящие в Восточной Европе процессы мне хорошо понятна. Я не упрощаю и не осуждаю ее. Слом привычной оси координат болезнен для сложившихся типов мышления. Особенно тяжело воспринимался „распад социализма“ в Восточной Европе. Рассуждают примерно так: еще недавно СССР был великим государством, которое пользовалось авторитетом, весь мир им восхищался. И был мировой социализм — гарантия нашей безопасности...

Подразумевается либо прямо утверждается, что все это мы разрушили — и величие, и гарантии...

В таких высказываниях переплелось многое. Тревога — не скажутся ли негативно происходящие события на безопасности в цепочке „союзных“ стран, прикрывающих нас с Запада, в размещенных в этих странах крупных советских воинских контингентах. И, пожалуй, ностальгия по тем временам, когда страны Восточной Европы рассматривались не как самоценные величины, а как „спутники“ нашего колосса. Действительно, разве не этими эмоциями проникнуты суждения о том, что рушится „буфер-

ная зона“ в Восточной Европе и что оттуда „без боя“ уходят наши войска?

Мне больно и горько слушать такие рассуждения, из которых следует, что Советская Армия не освободила некоторые страны Европы, а чуть ли не захватила их в качестве военных трофеев. Мне больно и горько слышать заявления, оскорбляющие достоинство суверенных государств.

Однажды я посчитал своим нравственным долгом извиниться за подобные оскорбительные и недопустимые высказывания иных моих соотечественников. Готов сделать это и здесь, сейчас.

Говоря откровенно, я мог бы понять этих людей, потому что и во мне, как и во многих других, глубоко укоренилась вера, что мы — великая страна и нас за это должны уважать. Но великая — чем? Территорией? Численностью населения? Количеством вооружений? Или народными бедами? Бесправием человека? Неустроенностью жизни? Чем гордиться нам, имеющим, как я уже говорил, чуть ли не самую высокую детскую смертность на планете? Нелегко отвечать на вопросы: кто мы и кем хотим быть? Страной, которую боятся, или страной, которую уважают? Страной силы или страной добра?

Мне самому нелегко отвечать на эти вопросы. Но когда депутаты из группы „Союз“ публикуют свои знаменитые четырнадцать вопросов под заголовком „Есть ли патриоты в МИДе?“, мне хочется посочувствовать им за весьма своеобразное представление о патриотизме.

В чем он, истинный патриотизм: удовлетворять гордыню государственности, посылая чужих детей на гибель в чужой стране, или мужестве признания ошибок и предотвращении новых, спасении молодых людей и восстановлении доброго имени страны?

Мы существуем в мире реальностей и в мире эмоций. Реальности диктуют одну линию поведения, чувства восстают против нее.

Поговорим теперь о том, кто, как и чем восхищался.

Разве мир восхитился, когда советские войска „навели порядок" в Венгрии? Или когда задавили „Пражскую весну"? Или когда мы вошли в Афганистан, выполняя „интернациональный долг", — что, мир тоже пришел в восхищение?

Пора бы понять, что ни социализм, ни дружба, ни добрососедство, ни уважение не могут зиждиться на штыках, танках, крови. Отношения с любой страной надо строить на учете взаимных интересов, на обоюдной выгоде, на принципе свободы выбора. Именно так мы стали вести дела, и благодаря этому в мире произошли гигантские перемены к лучшему. Да, возникли проблемы, но могло кончиться и трагедией, если бы перемены задержались.

Сегодня можно было бы говорить о поражении нашей дипломатии лишь при том условии, если бы мы стремились пресечь перемены в соседних странах, если бы в результате этого произошло ухудшение и обострение отношений с ними и возник бы риск военного столкновения.

Мне занятно слышать свое имя в ряду „виновников развала соцлагеря". „Обвинителям" следовало бы подумать о том, что не кто-нибудь, а они сами ускорили этот развал. Своим идеологическим консерватизмом, своим нежеланием понимать чувства других народов, своей манией лепить его жизнь по своим представлениям, видеть в суверенных государствах „буфер", как выразился один наш „истинный интернационалист". Среди многих объяснений последних событий в странах Восточной Европы есть и такое, на мой взгляд, отнюдь не беспочвенное: волну демократического обновления в них подтолкну-

ло опасение за срыв советской перестройки. Не она сама как таковая, а страх, что ее остановят и все вернется на круги своя, в том числе и прежние доктрины и порядки. Что в этих странах навечно останутся наши войска и вооружения, сохранится традиция поучать, наставлять, вмешиваться во внутренние дела, вести к краху и развалу экономики этих государств по скомпрометированному вконец пути лжесоциализма.

Этот путь не соответствовал нашим интересам. Интересам нашей безопасности. Наоборот, я глубоко убежден, что нашим интересам соответствует ситуация, когда Советский Союз соседствует со свободными, демократическими, процветающими государствами, равно открытыми и на Запад, и на Восток, а не та ситуация, когда вокруг нас искусственно создается „санитарный кордон" из весьма сомнительных и шатких режимов. Нашим интересам отвечает демократический характер общественно-политических преобразований в этих странах, а не сохранение прячущейся за свои и чужие штыки власти.

О выводе войск я сказал. Он мог бы быть не поспешным, а поэтапным, четко регламентированным. Уже в 1987 году на этот счет были и предложения, и заявления. Можно было позаботиться и о социальной инфраструктуре. Для этого было время. И если оно оказалось упущенным, то в последнюю очередь по вине дипломатии. Декларативный патриотизм, выпячивающий себя в вопросах-обвинениях, — бесплоден. Истинный, если он есть, — должен был действовать.

Увы, бездействие тоже почитается „патриотами" как добродетель. Чем хуже — тем лучше. И они медлят.

У промедления все та же причина: не верили в то, что фраза станет делом. Думали, что по-преж-

нему между заявлениями и их выполнением — дистанция огромного размера. А увидев, что просчитались, — потребовали крови. И, что тягостнее всего, воззвали к крови, пролитой советским народом во имя освобождения Европы от фашизма.

Готовя текст выступления на XXVIII съезде партии, я с большим трудом удержался от того, чтобы не включить в него одно признание. О чувствах, пережитых мною в Бресте у надгробия с именами павших защитников крепости, среди которых есть имя и моего старшего брата. Я стоял у мемориального камня и думал о том, что меня попрекают и его кровью — будто я предал ее, предал память о нем, „допустив объединение Германии".

Я не позволил себе говорить об этом, хотя и мог бы сказать, потому что эта проблема — и моя личная проблема. Однако предательством памяти миллионов стало бы такое наше поведение, которое попрало бы идеалы, ради которых сражались и гибли советские люди и которое в нынешних условиях создало бы новую угрозу безопасности страны и Европы.

В такой констатации политика намного ближе к истине человечности, нежели в обвинениях о „сдаче Победы". Собственно, в них нет ни грана человечности, но есть определенная политика, следовать которой я не мог.

* * *

Берлинская стена рухнула в ноябрьскую ночь 1989 года. Спустя год, в ноябре 1990 года в Париже была подписана Хартия для новой Европы.

Неверно утверждать, будто разрушение стены вызвало тревогу только в Советском Союзе. Это событие породило серьезную озабоченность и на Западе. Когда премьер-министр Франции Мишель

Рокар сказал о том, что падение „железного занавеса“ уничтожило определенный комфорт, в котором пребывали все жившие по обе стороны, то нетрудно было понять, что под „комфортом“ подразумевается стабильность. При всем однозначно позитивном своем характере перемены столь значительных масштабов и столь быстрых темпов, безусловно, чреваты дестабилизирующим эффектом, которого не может желать ни один здравомыслящий человек, будь то государственный деятель или „простой смертный“.

Возникшая опасность хаоса и распада на жизненно важном для континента и мира пространстве заставила действовать, искать верную формулу. Она могла быть только такой: динамичность в рамках стабильности. Эта формула требовала предельного внимания, воображения и согласованной политики.

Год, прошедший между падением Берлинской стены и Парижским саммитом, стал годом такой политики. Внимание проявлялось на всех уровнях внешнеполитических контактов. Действия предпринимались на широком фронте двух- и многосторонней дипломатии. Что же касается воображения, то оно стимулировалось естественным стремлением определить наиболее рациональные, жизнеспособные, а главное — гарантирующие безопасность стран и народов формы общеевропейского устройства.

Предпосылки к этому были созданы историей и нами, современниками процесса становления новой Европы.

Мысль о европейском единстве, об институализации общеевропейского процесса, о создании Европы, идущей по пути интеграции и формирования общеевропейских пространств — правового, экономического, гуманитарного, культурного, экологического, — нашла самую широкую поддержку. Это было замечательно, но этого было уже мало.

Хотел бы напомнить: у философии европейской общности многовековая история. Все ее модификации в науке и политике, обозначаемые понятием „европейская идея" (или „идея Европы"), причем в одних случаях — применительно к различным проектам объединения Европы, в других — к комплексу экономических, культурных международных условий ее жизни, — казались принадлежностью прошлого.

Я уже приводил слова Жан-Жака Руссо по поводу „Великого проекта" герцога Сюлли. Да, Европа той эпохи объективно не была готова к реализации проекта объединения. Полагаю также, что ни до, ни после ни один из планов единой Европы не имел под собой реальной почвы.

Есть ли она сейчас? — спрашивали мы себя. Или, говоря словами Руссо, достаточно ли хороша для них нынешняя Европа? Вопросы отнюдь не праздные в обстоятельствах быстрого слома послевоенных структур и начавшегося движения к преодолению раскола континента, когда самим ходом событий идея общеевропейского дома внесена в сферу практической политики. И в этом же контексте должен быть дан ответ на вопрос, достаточно ли хороши предлагаемые проекты для нынешнего состояния Европы? Решают ли они надежно проблемы стабилизации и безопасности?

Новое политическое мышление изрядно потрудилось, чтобы из межгосударственных отношений был устранен идеологический компонент и связанный с ним дух непримиримой конфронтации. Не прекраснодушием своих выразителей и проводников двигалось оно, а осознанием общности угроз континенту и общностью ответственности европейских стран за его судьбы перед лицом множества опасностей — гонки ядерных и обычных вооружений, экономического отставания, экологической катастрофы. Новое

политическое мышление не могло также исключить из своего поля зрения объективные предпосылки к экономической интеграции и возникавшие на этой основе политические структуры, кругами разошедшиеся по континенту и в ряде случаев тяготеющие к сближению.

Основой для такого сближения стал общеевропейский процесс — ключевое, стратегическое понятие в цепи воззрений на возможность строительства единой Европы равноправных наций, государственность и границы которых признаются как неколебимые константы. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе предопределило пути движения к этой цели. Наложившись на них, перестройка в Советском Союзе расширила эти пути и приблизила цель.

Принципиально новым рубежом на пути к качественно иному состоянию Европы стала Общеевропейская встреча в Вене, завершившая свою работу в январе 1989 года.

По-моему, Европа не знала в прошлом такого диалога — напряженного, подчас драматичного, но притом беспрецедентно целеустремленного и демократического.

Вот почему в договоренностях Венской встречи мы увидели нечто гораздо большее, нежели просто крупный шаг в развитии общеевропейского процесса, выводящий континент на более высокий уровень безопасности и сотрудничества.

В Вене мы убедились не только в том, сколь сложен этот путь, но и в том, что он возможен.

Венская встреча стала переломной не для одной Европы. Наш континент — не остров. Процесс, начатый в Хельсинки, сделал его центральным звеном в отношениях Восток—Запад. Через США и Канаду наш многоплановый диалог и разнообразное сотрудничество выходят в Новый Свет, а через

Уральский хребет — в Азию. И за ним на территории Советского Союза действуют хельсинкские измерения безопасности, гуманности и сотрудничества.

Формула общности, создать которую мы хотели бы на пространстве от Атлантики до Урала, содержит в себе то самое золотое сечение европеизма, которое находит в ней место и колоссам Востока, и гигантам Запада.

После Вены состоялся целый ряд многосторонних встреч, посвященных различным аспектам сотрудничества в Европе — от информационного до идеологического. Наконец-то завершались переговоры о сокращении войск и обычных вооружений, об укреплении мер доверия. Формирование единого экономического и правового пространства Европы, взаимополезного сотрудничества существующих в ней интеграционных систем предстало осуществимой реальностью. В этом отношении для меня наиболее показателен визит в Брюссель, встречи и беседы с руководителями Бельгии, Европейских экономических сообществ, Европарламента, НАТО. Суммарный личный итог визита — окрепшая уверенность в жизненности проекта единой Европы. Тогда же, в Брюсселе, я вновь убедился, сколь оправдан наш подход к интеграции Западной Европы как к крупному экономическому и политическому явлению, к налаживанию активного сотрудничества с Европейскими сообществами и Европарламентом.

Соглашение о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве между СССР и Европейскими сообществами — широкий шаг в направлении взаимной адаптации Восточной и Западной Европы, преодоления их разобщенности, создания общеевропейского экономического пространства.

Итак, по моему твердому убеждению, у европейской идеи как никогда в прошлом существовал

шанс на реализацию — пусть и не скорую, поэтапную, но уверенную.

В каких формах и структурах?

На сей счет издавна начало формироваться ядро практических идей и концептуальных подходов.

Фактически в одно русло устремились идеи президента Франции Ф. Миттерана о европейской конфедерации, президента США Дж. Буша — о целостной демократической Европе, министра иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншера — о новом мирном порядке в Европе, министра иностранных дел Бельгии М. Эйскенса — о конфедеративной общности Европы, тогдашнего премьер-министра Польши Т. Мазовецкого — о Совете европейского сотрудничества, министра иностранных дел Чехо-Словакии И. Динстбира — о Комиссии европейской безопасности и других.

Были и у нас предложения на этот счет, предусматривавшие создание постоянных институтов общеевропейского процесса, новых структур безопасности для континента. Под сильным воздействием происходящих в Европе событий формировалось общее признание необходимости их коллективного обсуждения. Высказанное в Риме М.С. Горбачевым предложение о созыве в 1990 году общеевропейской встречи на высшем уровне встретило единодушную поддержку.

С самого начала, однако, было очевидно, в сколь тесной взаимосвязи находятся шансы новой Европы и проблема Германии, возможные итоги Венских переговоров и соглашения об уменьшении военной концентрации в центре Европы, преодоление раскола на военно-политические союзы и формирование постоянных общеевропейских структур безопасности. Никогда еще история не завязывала столь тугой узел взаимосвязанных проблем и никогда не требовала столь быстрой его развязки.

Европа, похищенная некогда отнюдь не мифическим существом — воплощением вражды и раскола, — могла вернуться к самой себе, стать такой, какой она виделась всегда своим лучшим умам. Но для того, чтобы это наконец произошло, необходимо было уладить целый ряд дел. Честно говоря, подчас казавшихся непосильными.

МЕЖДУ ОТТАВОЙ И АРХЫЗОМ. ТРУДНЫЕ ДНИ В КОНЦЕ ПУТИ

7

—Когда вы пришли к выводу о неизбежности объединения Германии? — спросил меня Ганс-Дитрих Геншер.

Разговор был после моей отставки, у меня дома в Москве, и я, уже не связанный какими-либо служебными и политическими ограничениями, имея в виду состоявшуюся ратификацию всех достигнутых соглашений, мог ответить ему вполне откровенно и искренне:

— Еще в 1986 году.

Уже тогда, в беседе с одним крупным нашим германистом, я высказал предложение о скором возникновении этой проблемы. Сказал, что в ближайшем будущем главным, определяющим для Европы вопросом станет германский. В условиях почти полувекового раскола народа — вопрос национальный. Вопрос единства нации, не желающей быть разделенной стенами идеологии, оружия и железобетона.

Только самому поверхностному взгляду такое видение может предстать плодом эмоционально-нравственного восприятия действительности. Хотя недавние события дома и за рубежом вновь убедили нас в том, что национальное чувство — серьезный фактор и политика обязана считаться с ним. Существование в центре континента двух Германий в современных условиях превращалось в аномалию, серьезно угрожавшую его безопасности, и надо было думать, как средствами политики предотвратить опасную неуправляемость процесса.

Однако к моменту, когда был высказан этот прогноз, такая постановка вопроса на принципиальном уровне представлялась невозможной. Слишком глубоко укоренилась в нашем сознании убежденность в том, что существование двух Германий надежно га-

рантирует безопасность страны и всего континента. Что за это заплачена колоссальная цена, и недопустимо сбрасывать ее со счетов. Память о войне и Победе была сильнее новых представлений о пределах безопасности, и мы не могли не считаться с этим.

Даже тогда, когда быстрое развитие событий само подвело, подтолкнуло к необходимости решать эту проблему, никто из нас не мог, не вправе был проигнорировать врожденную настороженность наших людей в отношении к идее германского единства. В моем портфеле с переговорными документами всегда находился самый весомый, самый серьезный „материал“, отложить который в сторону было невозможно. Его подготовили история и народный опыт, память о двух мировых войнах, лишь в одном столетии развязанных Германией, о последней войне, только в нашей стране унесшей 27 миллионов жизней. Бесполезно было взывать к всепрощению и милосердию, доказывать, что каждый народ , тем более обладающий колоссальным творческим потенциалом и воплотивший его в мирном созидании, имеет право желать единства, право на самоопределение. Бесполезны были попытки показать, что несмотря на сорок пять лет, прожитых без войны благодаря, казалось бы, исключительно установленному в Европе после 1945 года порядку, война шла. И жертвы в ней мы несли немалые. Страх, недоверие, ненависть, постоянное ожидание взрыва, огромные затраты на военное противостояние, приводившие в итоге к материальным лишениям и стабильно низкому уровню жизни по эту сторону линии раздела. По сути дела, превратившее победителей в побежденных.

Все было напрасно. Если сердце болит так, как болит оно у нас, — у политического разума шансов мало. Он может получить их, если утишить эту боль неопровержимыми доказательствами того, что в



В рабочем кабинете Президента СССР



СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ...

Комсомольский вожак Эдуард Шеварднадзе на собрании молодежного актива, 1955 год



Получение награды — медали „За освоение целинных земель"



В хевсурском селе Грузии

В Абашском райкоме партии с А. Н. Косыгиным и секретарем райкома Г. Д. Мгеладзе



Встреча с жителями Тбилиси

На празднике „Тбилисоба“

Посещение пограничной заставы



С писателем Нодаром Думбадзе в гостях у пионеров

С маршалом Д. Язовым на сессии Верховного Совета СССР

На XXVIII съезде КПСС со Святославом Федоровым







Возложение цветов на площади в Тбилиси, где 9 апреля погибли люди

В Тбилиси с Г. Разумовским после апрельской трагедии



СЕМЬЯ...

С женой, детьми и внуками



С женой Нанули Ражденовной

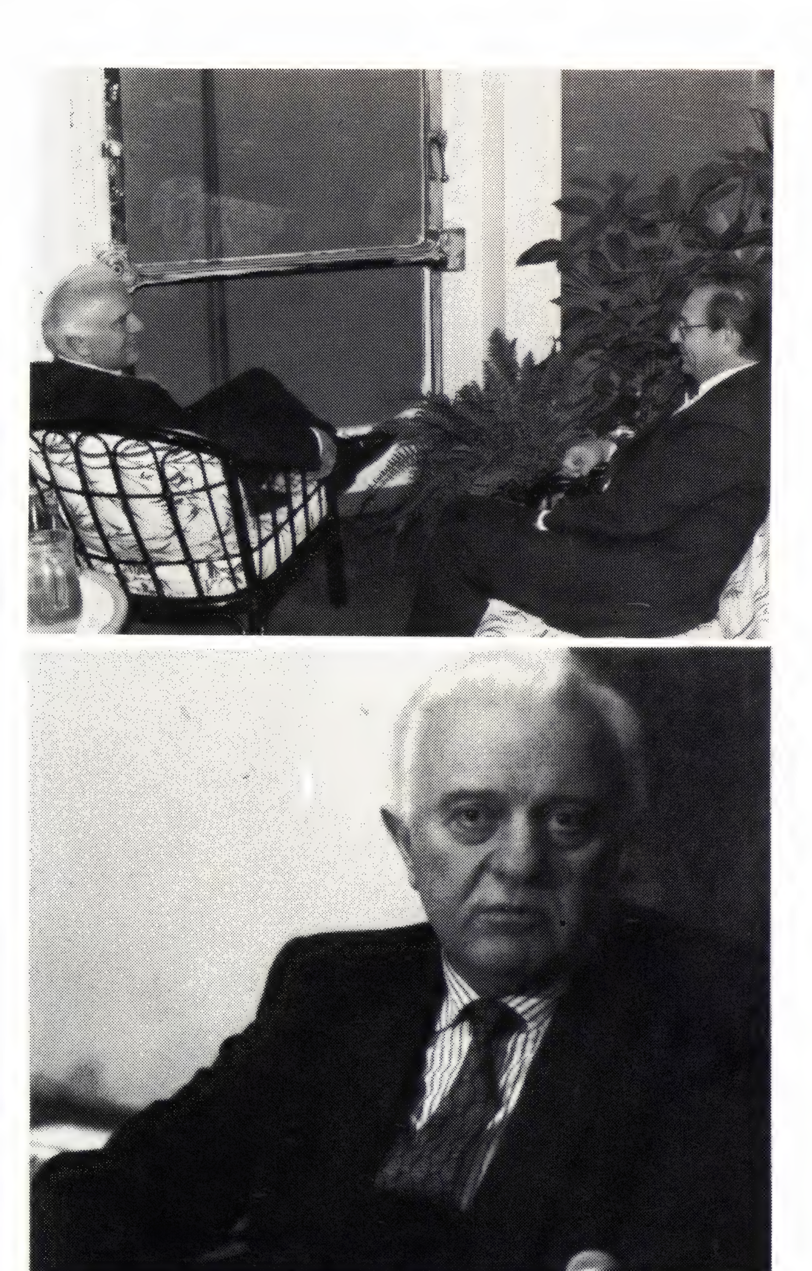
С внучкой Ниной



Заявление об отставке

На Мальте, на теплоходе „Максим Горький" с А. Бессмертных

На новом поприще — президент Ассоциации внешеней политики





В гостях у Дж. Шульца в Нью-Йорке

Прием Г.-Д. Геншера у себя дома

Ролан Дюма в гостях у Шеварднадзе



результате осуществления предлагаемых мер не будет поколеблена вера в торжество справедливости и память о жертвах не оскорбит подозрение в предательстве ее. Таков был нравственный императив и эмоциональный фон. А политический срез проблемы выдвигал на передний план проблему гарантий безопасности.

Поэтому с самого же начала мы увязали вопрос урегулирования внешних аспектов строительства немецкого единства с проблемой формирования новых структур европейской безопасности. Поэтому желали оформления объединения Германии в процесс, достаточно протяженный во времени, необходимый, ко всему прочему, и для формирования в советском общественном мнении понимания объективного характера предстоящего события. Поэтому столь долго не соглашались на членство объединенной Германии в НАТО. Поэтому искали взаимоприемлемое решение, дававшее гарантии против ремилитаризации Германии и возобновления политики „Дранг нах Остен“.

На все вопросы о причинах и подоплеке эволюции наших позиций у меня один ответ: загляните в нашу страну, в то состояние, в каком она оказалась в начале 1990 года. Загляните в душу народа и примите во внимание жестокость, с какой дергали натянутую в ней струну противники перестройки. Это струна могла оборваться...

* * *

В феврале 1990 года в заснеженной Оттаве собралась международная конференция по проблеме „открытого неба“. Она проходила в здании бывшего вокзала, переоборудованного под помещение для проведения общественно-политических форумов. „Поезд“ нашей конференции прибыл к перрону, груженный отнюдь не теми идеями, которые обещала

повестка дня. „Открытое небо“ оказалось заслоненным проблемой германского единства. Все ораторы в той или иной форме затрагивали ее, а в кулуарах говорили о том, что „поезд опоздал“: события в ГДР принимали такой характер, что надо было срочно предпринимать какие-то меры.

Мы начинали долгий, как тогда казалось, путь. Начинали скоростным формированием механизма „два плюс четыре“.

Ганс-Дитрих Геншер сказал тогда, что, преодолевая раскол, на его родине стремятся к европейской Германии, а не к германской Европе. А госсекретарь США Джеймс Бейкер высказал уверенность в том, что все европейские народы выиграют от создания суверенной, демократической, объединенной Германии.

Я тоже, естественно, хотел этого и верил, что гарантии будут даны самим характером, направленностью, атмосферой и, конечно же, итогами работы „оттавской шестерки“, которую трудно охарактеризовать холодным словом „механизм“.

Встречи в Бонне, Берлине, Париже, Москве, мои с господином Геншером переговоры в Женеве, Виндхуке, Бресте, Мюнстере при всем их деловом, рабочем характере вовлекавшие в наши беседы сотни людей, — сколько связано с ними волнений, переживаний, напряжения воли, интеллекта, души, драматического преодоления тревог и обретения надежды! „Скоростная дипломатия“, помимо темпа и ритма, наделялась колоссальным весом и грузом, и это именно тот случай, когда без боязни прослыть высокопарным могу сказать: грузом ответственности, возложенным на нас нашими народами, как, впрочем, и народами всех остальных европейских стран. Полагаю, это физически ощущал каждый из шести министров, встречавшихся за круглым столом с острыми углами.

Теперь о том, как стачивались, устранялись эти острые углы, собственно — о самой нашей работе. Естественно, в первую очередь я буду говорить о вкладе Советского Союза, о его позиции.

С самого же начала постараюсь четко зафиксировать два момента.

Первый: стартовая наша позиция существенно отличалась от финишной. Почему — объяснил выше. Кое-кто на Западе считал, что мы умышленно проявляем неуступчивость, дабы оттянуть принятие решения. Иные наши соотечественники, напротив, обвиняли нас в том, что мы, проявляя излишнюю сговорчивость, не могли торпедировать или хотя бы притормозить объединение двух германских государств, не отвечающее, по их мнению, „коренным интересам" Советского Союза.

Второй момент, теснейшим образом связанный с первым: с самого начала нам было ясно, что мы не станем противиться объединению Германии. И отнюдь не только потому, что это шло бы вразрез с нашими политическими принципами и заявлениями, равно как и элементарным нравственным чувством, не приемлющим самого факта разделенности народа и страны в угоду политическим интересам. Но, как я уже сказал, перед нами всегда стоял не менее серьезный выбор, связанный с трагическим опытом истории и нашей ответственности перед собственным народом.

Изначально мы задавались вопросом: какая Германия больше отвечает нашим интересам — расчлененная, копящая горькие и потенциально взрывоопасные обиды, опасный комплекс своей униженности, столь не соответствующей ее духовно-интеллектуальному, экономическому, культурно-творческому потенциалу, или объединенная, демократическая, по праву, добытому в реализации своей миростроительной миссии, обретающая место в ряду других суверенов собственной судьбы?

Какой ответ был дан на этот вопрос — теперь известно.

Что касается уступчивости, то стоит сказать, что у нас было не так уж много реальных вариантов. Строго говоря, два.

Первый. Достичь в рамках механизма „два плюс четыре“ и общеевропейского процесса такого соглашения по окончательному международно-правовому урегулированию внешних аспектов немецкого единства, которое отвечало бы интересам нашей безопасности, делу стабильности в Европе. И это оказалось возможным. И второй вариант: использовать наши полумиллионные войска в ГДР для того, чтобы блокировать объединение. С чем это было бы связано, можно себе представить.

Впрочем, как я впоследствии убедился, не все это себе представляют. Что предлагали наши оппоненты? Надо было как-то помешать, что-то придумать. Что? Выставить на границах дивизии перехвата и заслона, как говорят некоторые? Завести танковые моторы? Но ведь это же грань войны! Да, да, не удивляйтесь — третьей мировой войны. При той концентрации войск и вооружений, какая была в Центральной Европе, любое силовое противодействие было чревато таким риском. Поверьте, этот вывод — плод самого серьезного анализа весьма и весьма солидных исходных данных.

Мы выбрали другой путь, уверенные в том, что нас поддержат все, кто не хочет обречь на катастрофу и Европу, и наш народ. Тут ответ тем, кто считал и считает, что не надо было давать согласия на объединение.

* * *

Я погрешил бы против истины, сказав, что „шестерке“ с первых же шагов был уготован гладкий путь. Старт был быстрым, но непростым. Кажется, в

Оттаве Г.–Д. Геншер впервые пожаловался на мою „твердокаменность". Мы спорили, не щадя друг друга.

У нас было слишком много причин для тревог и опасений, чтобы с порога принять все предложения и формулировки наших партнеров.

Вспомним опять осень 1989 года. После того как рухнула Берлинская стена, в обоих немецких государствах начала набирать силу тенденция блицвоссоединения. И благо бы эйфория охватила только население — не обошла она отчасти и некоторые довольно влиятельные круги в ФРГ. Несмотря на суровые политические реальности, они от призывов к „самоопределению" ГДР довольно быстро перешли к советам, близким к предписаниям, — как и в какие сроки ей изменять свой государственный строй. При этом явно игнорировались законные интересы СССР, других европейских государств, просматривался расчет решить германский вопрос путем односторонних действий и явочных шагов.

Все это, разумеется, не могло не вызвать соответствующей реакции со стороны Советского Союза. Ответом на сигналы Москвы стала риторика о праве немецкого народа на самоопределение. Что ж, мы ведь и сами никогда не отказывали в нем немцам. Аллергии к высказываниям о праве на самоопределение у нас не было. Но в те дни в этой риторике явно прочитывалось стремление поставить под вопрос участие СССР в обсуждении и решении внешних аспектов германского единства или, по меньшей мере, заставить нас примириться со свершившимся фактом.

Выступив в политической комиссии Европейского парламента в Брюсселе, я, по поручению М.С. Горбачева, обстоятельно изложил наше отношение к происходящему. Пока это был лишь ряд вопросов, выдвинутых на передний план событиями в ГДР.

Эти вопросы были адресованы не только Европе — мы задавали их самим себе.

В общем-то уже в самом начале было ясно, что воссоединение Германии — дело не столь уж отдаленной перспективы. И мы, сознавая свою ответственность, естественно, не собирались стоять в стороне от него.

Цель, в сущности, тоже была ясна — гарантии безопасности для СССР и всей Европы.

Наши партнеры на Западе, быть может, не сразу, но, как мне представляется, довольно скоро поняли это.

О каких гарантиях шла речь? Первая: реальное сокращение вооружений в Европе, в том числе и на немецкой земле. Вторая: сочетание процесса строительства германского единства с формированием общеевропейских структур безопасности. Третья: реформация НАТО и новые отношения между союзами.

Вновь подчеркну: решение этой триединой задачи, по нашему мнению, отвечало интересам не только СССР, но и всех других государств Европы. И это также довольно скоро было понято на Западе.

В своем брюссельском выступлении, исходя из складывающейся ситуации и, разумеется, интересов безопасности СССР, я твердо заявил о том, что ставить вопрос о восстановлении немецкого единства в реальную плоскость, не учитывая законные интересы других государств, не имея ясности в отношении многих важных вопросов, попросту нельзя.

Что в этом угрожающего? И разве не вправе мы были задать европейцам и самим себе вопросы, от ответов на которые зависело наше будущее?

Мы имели в виду, во-первых, политические, юридические и материальные гарантии того, что немецкое единство не создаст в перспективе угроз национальной безопасности других государств. Во-вто-

рых — готовность объединенной Германии признать существующие границы в Европе. В–третьих — военно–политический статус нового национального немецкого образования. В–четвертых — синхронизацию процесса строительства единой Германии с хельсинкским процессом и ее способность содействовать преодолению раскола Европы.

Имелись в виду и другие вопросы: о демилитаризации Германии, ее нейтральном статусе, об отношении к пребыванию на немецкой земле союзных войск, к четырехстороннему соглашению по Берлину и т.д. Ответов на них тогда, по сути дела, не было, и это не могло не тревожить нас.

С другой стороны, у нас не вызывала сомнений правомерность их постановки, о чем мы и ставили в известность наших партнеров.

Впоследствии эти вопросы вошли в повестку дня наших переговоров и консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

А главное, что, на мой взгляд, следовало бы выделить в брюссельском выступлении, — с ним Москва активно включилась в процесс становления немецкого единства.

День 13 февраля 1990 года, в Оттаве, ставшей, образно говоря, повивальной бабкой механизма „два плюс четыре“, не забуду никогда. Пять бесед с Бейкером, три — с Геншером, причем труднейшие и для него и для меня, переговоры с Дюма, Хэрдом, Скубишевским, министрами других стран ОВД, и все это в течение одного дня, завершившегося рождением „шестерки“.

Помнится, там же, в Оттаве, выступая в парламенте Канады, я говорил: „Можно по–разному относиться к существующему положению в мире. Но нельзя не признать, что, может быть, впервые оно приобрело приемлемую степень политической стабильности и устойчивости. В такой ситуации необ-

ходимо взвешивать каждый шаг, действовать осторожно и осмотрительно...

А у некоторых политиков есть желание разыграть политическую партию с лимитом времени в пять минут. Разумно ли это делать, когда ставка — мир и безопасность всех без преувеличения народов?“

Я позволил себе процитировать самого себя по двум причинам. Во-первых, чтобы подчеркнуть политический контекст нашего тогдашнего подхода к германскому урегулированию. Во-вторых, высказанное в Оттаве соображение во многом универсально для меня.

Там же, в Оттаве, впервые прозвучало и соображение о том, что германский вопрос должен стать одним из основных в повестке дня встречи на высшем уровне европейских стран, США и Канады в конце 1990 года.

По возвращении в Москву, вскоре после Оттавы, в интервью газете „Известия“ я заметил, что скорее всего процесс строительства немецкого единства займет несколько лет.

Прекрасный повод, чтобы упрекнуть меня в недальновидности. Что ж, я готов принять этот упрек, однако с весьма существенной оговоркой, а именно: внешнеполитическую практику нужно рассматривать в развитии как процесс, в каждый определенный момент имеющий определенные задачи и нацеленный его участниками на нужные каждому из них результаты. Но главное — и здесь, я думаю, мне не в чем упрекать себя — это внутренняя динамика восстановления германского единства, которая то и дело вносила коррективы в переговорные графики, перекраивала их, заставляла идти быстрее.

5 мая 1990 года в Бонне состоялась первая запланированная встреча „шестерки“. Нам предстояло изложить позиции своих стран и сформулировать по-

вестку дня нашей работы. И то и другое было — и стало!— трудным делом, но в итоге мы пришли к согласованному решению.

Одна из важнейших задач — синхронизация решения германского вопроса с формированием новых структур общеевропейской безопасности — де-факто была всеми признана заслуживающей предложенного нами решения. На этот счет консенсус складывался задолго до этого дня, и я, разумеется, не мог не отметить в Бонне этот факт.

Все члены „шестерки" высказались в том смысле, что Европа нуждается в новых структурах безопасности, что процесс подготовки к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе дает возможность увязать объединение Европы с объединением Германии.

Председательствовавший на заседании Г.-Д. Геншер констатировал, что во всех выступлениях подтверждена воля немцев к единству и что вопросы границ будут решаться с участием Польши. Однако даже при этом ситуация в целом была во многом неопределенной, попросту говоря — сложной. Камнем преткновения стал вопрос об отношении к будущему военно-политическому статусу Германии. Накануне встречи газеты писали, что в этом вопросе образуется механизм не „два плюс четыре", а „один плюс пять". Соотношение один к пяти действительно стало фактом, и в одиночестве оказался, как очевидно, нетрудно догадаться, советский представитель.

Здесь я позволю себе привести несколько выдержек из моего боннского выступления.

„Конечно, — говорил я, — мы понимаем, что решение может быть лишь результатом общего согласования всех шести государств. Однако надо иметь в виду, что при решении внешних аспектов объединения Германии мы не можем абстрагировать-

ся и от внутренних обстоятельств в нашей стране. Тут мы имеем дело с вопросом особой важности для советских людей, всего нашего общества. Если нас попытаются поставить в стесненное положение в делах, затрагивающих нашу безопасность, то это приведет к ситуации — говорю об этом откровенно, — когда степень нашей политической гибкости будет круто ограничена, ибо возрастет кипение эмоций внутри страны, на передний план выйдут призраки прошлого, возродятся национальные комплексы, коренящиеся в трагических страницах нашей истории ... Я просил бы коллег понять, что здесь мы не играем и не блефуем".

Признаюсь, ныне я со сложным чувством перечитываю эти строки. Казалось бы, не прошло и трех месяцев, как мы круто изменили свой подход к этой проблеме. Так стоило ли копья ломать? — могут спросить меня. Не лучше ли было сразу же согласиться с членством Германии в НАТО?

Отвечаю: убежден, что нет, не лучше.

Напомню, в начале мая вопрос о трансформации военных блоков, хотя и активно обсуждался, но пребывал, так сказать, на уровне намерений. Не более. НАТО оставалась для нас тем, чем была всегда, — противостоящим военным блоком, с доктриной определенной направленности, с установкой на возможность нанесения первыми ядерного удара. И, естественно, что в этих условиях членство объединенной Германии в НАТО весьма существенно затронуло бы интересы нашей безопасности, означая резкое нарушение соотношения сил в Европе и создавая для нас опасную военно-стратегическую ситуацию. А посему мы не могли не подтвердить в Бонне свое негативное отношение к вхождению единой Германии в Североатлантический союз.

Скажу больше: наша твердая позиция по этому вопросу в известной мере побудила западные стра-

ны динамизировать процесс трансформации НАТО. И в этом смысле с высоты сегодняшнего дня можно сказать, что поставленная тогда и достигнутая впоследствии цель определила тактику наших действий в рамках механизма „два плюс четыре".

Там же, в Бонне, я обратил внимание коллег на отсутствие необходимого темпа на переговорах по обычным вооружениям в Вене. Можно ли было решать военно-политические вопросы германского урегулирования, не имея договоренности о сокращении войск и вооружений в Европе? Наш ответ был отрицательным: переговоры в Вене объективно смыкали процесс строительства немецкого единства и общеевропейские интересы. И я был рад, когда эта позиция нашла позитивный отклик у наших западных партнеров.

Не вдаваясь в скрупулезный анализ своего боннского выступления, скажу, что в нем, естественно, поднимались и другие вопросы, в частности о границах Германии; о необходимости участия Польши в рассмотрении вопроса о границах, а также проблем безопасности, затрагивающих интересы польского народа; об императивности обязательства объединенной Германии не иметь атомного, химического и другого оружия массового уничтожения; о прекращении четырехсторонних прав и ответственности в отношении Германии и Берлина как составном элементе и итоге окончательного урегулирования.

По этим, как, впрочем, и по всем другим, вопросам медленно, но верно складывалось взаимопонимание, хотя поиск компромиссных решений был далеко не всегда беспроблемным и безоблачным.

И все-таки надо бы отметить, что в ту первую нашу боннскую встречу мои партнеры по „шестерке" проявили максимум толерантности, такта, готовности к компромиссу, что воспрепятствовало окончательному изменению „оттавской формулы" в мало-

приятное уравнение „один к пяти“ и предопределило необходимый результат. И впоследствии они постоянно давали понять, что ясно представляют себе особую психологическую и политическую чувствительность Советского Союза к происходящему. Я помню, как, отметив этот специфический фактор, Бейкер сказал: „Мы должны найти такое решение, при котором не будет ни выигравших, ни проигравших. В выигрыше должны остаться все“.

Я думаю, решающее значение имело и то, что мы откровенно и четко сказали, в чем состоят наши проблемы и на какой основе может быть найдено приемлемое для нас решение.

В Берлине (июнь 1990 года), после вашингтонской встречи М.С. Горбачева и Дж. Буша, где обсуждение германского вопроса естественно выдвинулось в центр внимания, была совершенно иная ситуация. После совещания Политического Консультативного Комитета Организации Варшавского Договора в Москве, Декларация которого положила начало идущей трансформации деятельности нашего союза во всех сферах, включая военную, появились реальные надежды на то, что и НАТО начнет движение в том же направлении. Вскоре мы получили на сей счет позитивный отклик из Тэрнбери, под Лондоном, где проходила сессия Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. Словом, наметились реальные возможности к преодолению военно-политического раскола Старого Света. Мы с нетерпением ждали решений лондонской сессии НАТО, имея все основания надеяться, что они углубят позитивный процесс. В этой ситуации вопрос о членстве объединенной Германии в Североатлантическом союзе приобретал уже совершенно иную окраску. Поэтому в моем берлинском выступлении он по существу не затрагивался.

В Берлине советская делегация внесла на рассмо-

трение партнеров по „шестерке“ проект документа „Основные принципы окончательного международно-правового урегулирования с Германией“.

Думаю, вряд ли стоит пересказывать его содержание. Тезисно изложу лишь основные положения и вопросы, которых он касался.

Первое. Вопрос о границах будущей Германии. (Замечу в скобках, что в отношении его практически уже тогда был достигнут консенсус.)

Второе. Договоренность о том, что будущая Германия будет строить свою политику так, чтобы с ее территории исходил только мир, не предпринимались военные действия против кого бы то ни было, исключая случаи осуществления законного права на самооборону. Со своей стороны, четыре державы руководствовались бы в отношении объединенной Германии тем же.

Третье. Пакет шагов и мер, направленных на понижение военного противостояния на немецкой земле, ставшей за годы „холодной войны“ аномальным средоточием самых современных вооружений. Его важнейший составной элемент — обязательство объединенной Германии не производить, не иметь, не получать и не размещать, подобно абсолютному большинству государств мира, на своей территории ядерное, химическое и биологическое оружие.

Четвертое. Подтверждение Германией на переходный период в пять лет действенности всех международных договоров и соглашений, которые были заключены до этого ГДР и ФРГ. Это означало бы, что существовавшее на момент объединения фактическое положение, связанное с ответственностью ГДР в отношении Варшавского Договора, а ФРГ — в отношении НАТО, будет сохраняться, а компетенции, сферы действия ОВД и НАТО по-прежнему не будут распространяться на территории, не входившие в зону их действия.

Наконец вновь был выдвинут принцип синхронизации.

Многое из этого было поддержано партнерами по „шестерке“. В то же время в процессе дальнейшего обсуждения вопроса для достижения взаимоприемлемого результата мы в известной мере скорректировали свой подход к некоторым вопросам. Подчеркну: именно взаимоприемлемого результата, который ни в коей мере не ущемлял бы интересов и Советского Союза.

Политика — искусство возможного. Это может кому-то нравиться или не нравиться, но, как аксиома, в доказательствах не нуждается.

В той реальной политике, которую мы проводили, не обойтись было без постоянного скрупулезного учета изменяющегося политического контекста в европейском пространстве и в мировом развитии. Но решающее значение имела политическая ситуация внутри страны. Наша воля должна была совпасть с волей нашего народа.

К этому мы шли все девять месяцев одного года и подошли — теперь я могу сказать об этом — лишь в июле 1990 года, в дни работы XXVIII съезда КПСС. Это был перевал, водораздел, подъем на который дался ценой колоссальных усилий. На больших высотах дуют сильные ветры. Были они и здесь — такие порывы, что, казалось, не устоять. Яростное сопротивление, но и столь же сильная поддержка. Борение страстей, борьба мнений, отражавших сложнейшую гамму отношений к германскому вопросу. В ней возобладала, победила мысль: нельзя да и невозможно строить собственную безопасность на расколе другого народа.

Мы получили мандат доверия и поддержки.

Не стану скрывать: в накаленной до предела атмосфере съезда дышалось тяжело. Решалась и моя личная судьба. Около восьмисот делегатов проголо-

совали против моего избрания в руководящий орган партии. В списки для голосования я был включен помимо моего согласия и воли. Итоги однозначно свидетельствовали о росте оппозиции нашей политике. В этих условиях мне особенно небезразлично было ответное движение с „той стороны". Иначе нам было бы невозможно настоять на своем.

Когда поступили сообщения о решении лондонской сессии НАТО, я увидел: ответное движение есть.

Принятая в Лондоне декларация свидетельствовала о том, что и НАТО вступает на путь трансформации, уменьшает акцент на чисто военную сторону, собирается изменить свою стратегию.

Самое главное — была выражена готовность заявить, что два союза не являются больше врагами и будут воздерживаться от угрозы или использования силы. Не менее важным было заявление о необходимости быстро завершить переговоры в Вене по обычным вооружениям и начать новые переговоры о сокращении войск в Европе.

НАТО высказалась также за ограничение наступательного потенциала вооруженных сил в Европе, за начало переговоров о сокращении тактических ядерных вооружений.

Было сказано и о пересмотре стратегии „обороны на передовых рубежах" и доктрины „гибкого реагирования", заявлено, что меняется и доктрина, предусматривающая возможность применения ядерного оружия.

В середине июля 1990 года в Москве и Архызе, на Северном Кавказе, состоялись встречи Президента СССР М.С. Горбачева с федеральным канцлером ФРГ Г. Колем. Происшедшие к тому моменту перемены позволили руководителям двух стран по-иному взглянуть и подойти к решению трудных вопросов германского объединения. В Архызе сопоставля-

лись взгляды, шел поиск возможностей развязки вопросов, являющихся предметом рассмотрения в рамках механизма „два плюс четыре“. Иными словами, двусторонняя дипломатия содействовала успеху многосторонней.

Стороны пришли к взаимопониманию, которое открыло возможность уже в рамках „шестерки“ ускорить выработку соглашения для окончательного международно-правового урегулирования внешних аспектов германского единства.

Кроме того, мы обговорили целый ряд вопросов, связанных с заключением важных двусторонних соглашений.

Их основу должен был составить так называемый „Большой договор“, идея которого возникла еще в 1987 году, но в тех условиях не могла быть осуществлена.

* * *

16 июля 1990 года прямо из Минеральных Вод я вылетел в Париж, где на следующий день должна была состояться очередная встреча „шестерки“.

Не успел я войти в самолет, как мои помощники и журналисты устроили мне „допрос с пристрастием“: почему столь стремительно были решены все вопросы?

— Разве так уж стремительно? — говорил я. — Многое предопределили последние события, резко изменившие ситуацию и создавшие атмосферу, в которой оказались возможны такие подвижки в нашей позиции. Заявление высших руководителей стран НАТО в Лондоне о ее трансформации укрепило нашу уверенность. Происходит то, чего мы желали. Поэтому мы и предпринимаем соответствующие практические шаги.

Дальше, говорил я, мог бы возникнуть тупик. Остановить объединение Германии мы не можем,

разве что только силой. Но это — катастрофа. Уклонившись же от участия в этом процессе — многое потеряли бы. Не заложили бы основы новых отношений с Германией, негативно повлияли бы на общеевропейскую ситуацию.

Тем не менее вопросы сыпались градом. Их продолжали задавать и потом, в Париже и других городах. Недавно в Москве группа немецких историков и политологов вновь поставила их. Я испытываю сильную внутреннюю потребность изложить это растянувшееся во времени интервью. По-моему, его вопросы и ответы на них многое объясняют.

Вопрос: В Советском Союзе критики упрекают вас в том, что, согласившись на объединение Германии, вы „проиграли" Победу 1945 года. Как вы считаете, какие существуют равноценные Победе 1945 года гарантии того, что Германия не начнет новую войну?

Ответ: „Проиграть" Победу 1945 года невозможно — ни мне, ни кому-либо еще в Советском Союзе и за его пределами. Она была, есть и будет в нашей памяти, в истории страны, Европы, человечества, и если хотите — в нашей нынешней жизни.

Слово „проиграть" заключено в кавычки, но даже в форме такого иносказания никто из моих, даже самых яростных, критиков на подобные упреки не отваживался — слишком велик нравственный и политический риск предположений о какой-то „игре" со столь непомерно высокой ставкой.

В этом смысле равноценных „гарантий" Победе — видите, теперь я употребляю кавычки — нет. Это разные, несопоставимые величины — Победа 1945 года и объединение Германии.

Предпочитаю просто говорить о гарантиях того, что Германия не начнет новую войну. Все последние месяцы, начиная с конца прошлого года, целью наших усилий было сформулировать и получить такие

гарантии. Думаю, мы их получили. Каковы они? Если коротко, то эти гарантии — в правильном решении внешних аспектов германского урегулирования, в его сопряжении с общеевропейским процессом, созданием структур европейской безопасности, трансформации военно-политических союзов, в формировании действенных договорно-правовых механизмов, в воле самих немцев, наконец.

Европа сейчас не та, какой она была перед второй мировой войной, когда не удалось создать систему коллективной безопасности. Да и уроки истории чего-то стоят.

Вопрос: В конце 1989 года вы сказали, что 27 миллионов погибших советских людей — это цена существующей европейской стабильности, цена существующего разделения Германии. Это был сильный аргумент. Но разве эти люди погибли не за свободу своей Родины, а за империю Сталина, не за свободу соседних государств, а за их подавление?

Ответ: Вы сами ответили на свой вопрос. Он во многом риторичен. Да, спасая страну, Европу и мир от фашизма, они погибли за свободу своей Родины и соседних государств. Но уж коли вы произнесли имя Сталина, то позвольте вам напомнить, что тогдашнее советское руководство первоначально было против разделения Германии. Антигитлеровскую коалицию составляли несколько государств, и вопрос решался сообразно согласованной воле союзников и традиционной практике тех времен.

Вообще я против ретроспективного суда над историей, против попыток делить ее на „правильную" и „ошибочную". Что было — то было: только в этом столетии дважды правители Германии развязывали мировую войну. В стремлении пресечь саму возможность подобного рецидива тогда, в 1945-ом, нашли такой способ. В нынешних условиях, в свете господствующих сегодня представлений он изжил

себя, но было бы абсурдным прикладывать их к прошлому и вопрошать: почему сделали так, а не иначе?

И еще: не мы первыми взорвали атомную бомбу. Не мы призвали к „холодной войне" против недавних союзников. Не мы начали эту войну, надолго рассекшую Европу и Германию „железным занавесом".

Не уверен, правильно ли вы цитируете меня, но „сильный аргумент" и поныне не теряет своей силы: мы изменили бы памяти павших и предали интересы живых, если бы проигнорировали опасность возрождения германского милитаризма. Ни один политик, тем более — советский политик, да еще такой, в жизни которого война и по сей день отдается болью личных утрат, — не вправе действовать по минимуму прекраснодушия.

Лично я предпочитаю анализировать максимум возможных, в том числе негативных, вариантов.

На тот момент у меня были основания так говорить и думать.

Вопрос: Вы также заявляли тогда, что нельзя ожидать, будто статус ГДР радикально изменится, а статус ФРГ останется тем же.

Как будет отличаться статус будущей Германии от статуса ФРГ? Устраивает ли вас сокращение бундесвера до 370 тысяч человек?

Ответ: Вот видите, вы говорите „тогда". Тогда была другая ситуация, в которой подобное предвидение было вполне оправданным.

Реальность такова, что возникло новое государство — Германия. Оно будет существовать в условиях трансформирующихся военно-политических союзов, снижения уровня противостояния, создания общеевропейских структур безопасности. С учетом этих обстоятельств сравнивать статус Германии и ФРГ не имеет смысла.

Объединенная Германия будет иметь меньше войск, чем ФРГ. Уровень в 370 тысяч человек — это потолок на силы бундесвера. В рамках европейского разоружения он будет понижаться. Это вполне устраивает меня, как, впрочем, и остальных партнеров.

Вопрос: Еще недавно вы назвали объединение Германии в соответствии со статьей 23 Основного закона ФРГ очень опасным путем, сказали, что членство объединенной Германии в НАТО не отвечает национальным интересам СССР, а также отметили, что присоединение ГДР является прямой опасностью для стран — соседей обоих немецких государств. Почему же теперь вам достаточно заявления НАТО о том, что она больше не будет рассматривать СССР как своего противника? Заинтересован ли СССР в присутствии американских войск в Западной Германии?

Ответ: Позвольте вновь заметить, что сопоставления типа „тогда“ и „теперь“ вне конкретного историко-политического контекста представляются мне уязвимыми, чтобы не сказать — методически неверными.

Объединение на основе статьи 23 Основного закона происходит после того, как достигнуто окончательное урегулирование вопроса о границах Германии. Это снимает существовавшие у нас опасения на этот счет. Без решений, которые были приняты на Совете НАТО в Лондоне, членство Германии в НАТО было бы для нас неприемлемым. Ныне же нас удовлетворяет тот процесс, который развивается в Североатлантическом союзе.

Заявление НАТО о том, что она не будет рассматривать нас как противников — серьезная мера доверия, обретающая значение гарантии.

Сегодня мы имеем более существенные гарантии, позволяющие спокойно смотреть на объединение Германии.

Что же касается присутствия американских войск в Германии, то мы не видим в этом угрозы для себя. Это — проблема германо-американских отношений.

Вопрос: Удивило ли вас развитие событий в ГДР или вы считаете, что как раз Советский Союз способствовал такому развитию событий? СССР не послал свои войска на подавление народа, поднявшегося против диктатуры режима. СССР также не препятствовал открытию в ноябре 1989 года Берлинской стены. Была ли Москва заранее информирована об этих событиях? Как вы думаете: ГДР обязана своим освобождением перестройке?

Ответ: Я уже высказывался на этот счет. Перемены для меня не были неожиданными. В конце апреля 1990 года посол Юлий Квицинский, ныне заместитель министра, известил: „Развал ГДР — вопрос дней". Депешу многие сочли капитулянтской.

Можно было предвидеть все перемены, кроме их темпа. Здесь, может быть, и был просчет. Не было, однако, просчета в нежелании останавливать их силой.

Вопрос о каком-то нашем вмешательстве в ГДР или где-то еще не стоял и не мог стоять. С этим покончено.

В прямой форме такому развитию событий Советский Союз не способствовал. Косвенно, опосредованно, влиянием своей перестройки — да. Но в целом правильнее было бы сказать, что народ ГДР сам сделал свой выбор. Это его право, и тут он никому ничем не обязан.

* * *

17 июля 1990 года в Париже я информировал коллег о достигнутых в ходе встречи М.С. Горбачева с канцлером Г. Колем договоренностях. Они создавали прямые предпосылки к урегулированию внешних аспектов немецкого единства.

Стороны условились, что объединение Германии влечет за собой отмену прав и ответственности четырех держав, что означает восстановление полного суверенитета страны. Тем самым Германия получает возможность независимо решать вопросы о принадлежности к тому или иному военно-политическому союзу. Стороны также определили сроки и статус пребывания советских войск на территории нынешней ГДР, на которую не будут распространяться структуры НАТО. Объединенная Германия отказывается от производства, размещения и хранения ядерного, химического, бактериологического оружия и будет соблюдать Договор о нераспространении. Еще в ходе Венских переговоров правительство ФРГ возьмет на себя обязательство сократить количественный состав бундесвера до 370 тысяч солдат и офицеров.

В тот же день с участием министра иностранных дел Польши М. Скубишевского был решен вопрос о границах. Мы также условились начать работу над заключительным документом, с тем чтобы принять его во время встречи в Москве в сентябре 1990 года.

На финишной прямой возникла заминка, таившая в себе угрозу срыва подписания договора об окончательном урегулировании внешних аспектов объединения Германии. Я бы не стал упоминать о ней, если бы соответствующая информация не просочилась на страницы германской прессы.

В ночь с 11 на 12 сентября 1990 года, в канун итогового заседания, мне сообщили, что кто-то из партнеров потребовал внести в текст заключительного документа положение о распространении на территорию бывшей ГДР зоны возможных маневров НАТО. Я попросил передать коллегам, что если это положение будет принято ими — завтрашнее заседание не состоится. Иначе говоря, никакого договора не будет и ответственность будет возложена на них.

К утру мне сообщили, что предложение снято. 12 сентября мы встретились в назначенный час и подписали итоговый документ. Спустя два месяца в Бонне был подписан пакет соглашений с Германией.

У нас есть все основания утверждать, что в результате переговоров по формуле „два плюс четыре“ не только не уменьшилась безопасность Советского Союза, но напротив — окрепла.

Еще вывод: если право народов на свободу выбора и право на его осуществление — не в ущерб другим народам, то мы никому не можем отказать в нем.

Движение к немецкому единству заложило основы новых отношений между Советским Союзом и объединенной Германией, нашедшие закрепление в Договоре о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве и в других соглашениях, которые охватывают не только сферы политики, экономики, культуры, науки, но и вопросы взаимной безопасности.

Я был счастлив прочитать в газете 5 марта 1991 года заявление Верховного Совета СССР, что он „оценивает этот комплекс документов как имеющий историческую значимость, подводящий черту под второй мировой войной, учитывающий сложившиеся новые реальности в Европе и в мире и открывающий новую эпоху прочного мира и крупномасштабного сотрудничества между советским и немецким народами“.

Это был тот итог, к которому я стремился.

Европейская история знала немало „урегулирований“. Одни основывались на балансе династических интересов, другие — на балансе силы. На этот раз удалось выработать чисто правовое урегулирование, основанное на новых представлениях о принципах взаимоотношений государств, на принципах соблюдения прав наций, свобод и прав человека, на принципе неделимости безопасности с опорой на кол-

лективные, кооперативные механизмы и средства поддержания мира и стабильности.

***

Мой отчет о трудных днях 1990 года мог бы закончиться на мажорной ноте. Все, что было намечено в его начале — невероятно трудный, „многослойный" замысел, — удалось осуществить. Согласованы уровни и параметры сокращений обычных вооружений. Созвана и проведена в Париже встреча на высшем уровне СБСЕ. Подписана Хартия для новой Европы. Уже не существует, казалось бы, опасность того, что вакуум, образовавшийся в результате слома послевоенных структур, будет заполнен хаотическим, броуновским движением. Процесс развивается в двух измерениях — общеконтинентальном и на двусторонней основе. Советский Союз заключил первый в истории договор с Францией — о сотрудничестве и согласии, договор с Италией, подписаны советско-испанская и советско-финская декларации, готовится соответствующая советско-английская договоренность.

Отдельно я бы выделил такой элемент, как отношения Советского Союза со странами Восточной Европы. К их чести они достойно преодолевают трудный период, не скатываясь к враждебным, напряженным отношениям. Благополучно миновав опасный перевал, мы не должны останавливаться, обязаны налаживать связи на новых началах и принципах.

В условиях, когда демонтированы былые структуры наших взаимоотношений, когда Организация Варшавского Договора практически прекратила свое существование, а экономические отношения требуют основательной перестройки, идет напряженный поиск путей к новым отношениям с нашими ближайшими соседями. Главным образом — на двусторон-

ней основе. Эта работа начиналась при мне. Уже подписано новое советско-румынское соглашение. Готовятся к подписанию соглашения с Польшей, Венгрией, Болгарией, Чехо-Словакией. Надо завершить этот цикл, а затем подумать, как действовать дальше — в рамках общеевропейского процесса или на региональной основе.

Словом, наметки новой конструкции вырисовываются достаточно четко.

Тем не менее мажора не получается, и причин на то множество.

Первая и главная из них — положение в нашей стране и некоторых других европейских странах. Исход сейчас трудно предсказать, но нельзя исключать, что мы можем столкнуться с серьезными разрушительными, дестабилизирующими явлениями.

В более широких, уже глобальных рамках опасной предстает проблема обострения отношений Европы с Югом. Разрыв в уровнях экономического и социального развития будет неизбежно порождать конфликтные ситуации на фоне возрастающих миграционных потоков с Юга на Север, с Востока на Запад. И здесь выход видится в налаживании экономического сотрудничества в более широких географических масштабах.

Проблемы эти очевидны, их нетрудно перечислить. Значительно сложнее предложить какие-то эффективные и реалистические программы, найти необходимые капиталы и другие ресурсы.

Нам угрожает и откат в области прав человека, ибо проблемы здесь все более переходят в плоскость обеспечения социальных и экономических прав, а не политических свобод.

Все это может серьезным образом отразиться на судьбе хельсинкского процесса как раз в тот момент, когда только он и может стать фактором

координации действий европейских государств, средством их сплочения.

Еще серьезнее опасность развивающегося в Советском Союзе процесса, наметившейся тенденции притормозить перестройку.

* * *

Уже после подписания в Париже Договора о сокращении обычных вооружений обнаружились обстоятельства, поставившие под вопрос возможность его ратификации. Эта проблема сейчас является предметом переговоров. Надеюсь, что к моменту выхода книги в свет она будет решена. А сейчас могу только сказать, что срыв этого важнейшего соглашения, которое впервые в истории устанавливает предельные уровни вооружений в Европе в целом и в ее отдельных зонах, а также определяет отдельные квоты для каждой из 22 стран, подписавших договор, имел бы катастрофические последствия — политические, экономические, военные. В условиях углубляющегося в стране кризиса, когда нам так необходимы благоприятная международная обстановка и поддержка извне, торпедирование договора было бы предательством наших интересов. Такой исход по существу свел бы на нет все, что было сделано для начала строительства общеевропейского дома и формирования общеевропейских пространств.

Конечно же, достойный выход из, я бы сказал, намеренно созданного тупикового положения будет найден и договор будет жить, потому что он отвечает интересам всех подписавших его стран.

Утверждают, однако, что нашим интересам он не отвечает, что советская дипломатия предала интересы своего государства, и поэтому была предпринята отчаянная попытка спасти бронированное достояние страны. Тонны стали дороже доверия к ней и ее доброго имени, не так ли?

Верхом безответственности считаю демагогические нападки некоторых военных и невоенных экспертов на условия и параметры сокращения обычных вооруженных сил в Европе, которые были зафиксированы на встрече на высшем уровне в Париже. За этой совершенно необоснованной критикой вижу откровенное желание оставить все, как было в годы противостояния и идеологической конфронтации.

Договор совершенно необходим для поддержания стабильности в Европе. Насколько я знаю, в истории не было случая, чтобы 22 страны договорились о международном регулировании своих вооружений, приняв прочную систему мер проверки и контроля. По своей сути этот договор является одной из несущих конструкций новой единой Европы, возникающей после окончания „холодной войны". Он — материальная основа продекларированных новых взаимоотношений между государствами. В нем воплощена сама идея преодоления военного противостояния на континенте.

Вот почему мы, Европа, мир не можем позволить себе потерять этот договор из-за тех „расхождений", которые возникли после его подписания.

В самом же общем плане мне хотелось бы сказать тем, кто пытается оспорить этот договор, как и меры по разоружению, следующее: хорошо, я согласен с вами. Не надо было идти на сокращение вооружений и войск. Напротив, надо было наращивать их, продолжать гонку вооружений. Но ответьте мне на один элементарный вопрос: в состоянии ли страна в ее вчерашнем и нынешнем положении снести такой непосильный груз, не оказавшись раздавленной этой тяжестью? При нынешнем нашем бюджете и финансах, в условиях инфляции, грозящей привести к тому, что генералам и офицерам нечем — или незачем — будет платить жалование?

Только честный ответ на этот вопрос позволит судить о мере патриотизма — истинного, не ведомственного.

Только такой патриотизм побуждает всерьез задуматься над тем, какая армия нам нужна.

Недавние события в Персидском заливе, где военная технотроника XXI века выявила полную несостоятельность вооруженческого „вала“, должны были бы сказать нам, в чем ныне состоит и чем обеспечивается подлинная безопасность. Не количеством оружия и численностью войск, а качеством и запасами интеллекта и еще — способностью быстро материализовать его в передовой технологии и изделиях и умением обращаться с ними.

Нам нужна профессиональная армия, а для профессиональной армии необходимо демократическое общество, где гражданин в военной форме ощущает, осознает себя личностью, живущей во всех отношениях достойной жизнью — социальной, материальной, духовной.

Необходима иная система образования, формирующая особый склад интеллекта, не стесненного авторитарностью унифицированных установлений.

Нетрудно понять, почему столь яростно люди противятся переходу к рыночным отношениям. Ведь этот процесс, связанный с необходимостью демонтировать централизованную командную систему, влечет за собой снижение военных расходов и конверсию оборонной промышленности, глубокую, всесторонне продуманную, а не то ее тщедушное подобие, которое скомпрометировало саму идею.

Путь к перестройке экономики неизбежно ведет к сокращению численности вооруженных сил, введению профессиональной армии, решению ею исключительно внешних задач.

Переход на профессиональный принцип комплек-

тования армии предполагает не просто более высокие затраты на содержание личного состава. Он предполагает „естественный отбор“ в нем, естественную утрату иными начальниками положения, чинов, постов. Более высокий, чем сейчас, уровень компетентности и профессионализма.

Поэтому в умах господствует сиюминутный арифметический подход к сокращению вооружений („Как? Мы сокращаем больше, чем они?!“). Критика заключенных соглашений и договоров намеренно замалчивает тот факт, что наши сокращения сопровождаются сокращением и с другой стороны, что если по ряду видов мы сокращаем больше, то лишь потому, что накопили значительно больше, чем требовалось для паритета.

„Арифметическое мышление“ статично и в этом своем застое не способно смотреть вокруг и вперед. Чаще всего оно озабочено последствиями состоявшихся соглашений и никак не озабочено тем, что может произойти в стране и со страной, если соглашений не будет. Каким проигрышем это обернется для милитаризованной экономики страны.

Считаю, что нам следует отказаться от фантомов „количественного превосходства“ и задаться целью планировать и производить изделия по максимуму качества. Ведь когда-то, добиваясь стопроцентной и большей загрузки мощностей нашей промышленности и гордясь ею, мы упустили из виду, что это препятствует разработке и освоению новых моделей машин, механизмов, потребительских товаров.

Нашей армии тоже необходим приоритет качественных показателей во всем, в первую очередь — в уровне жизни военнослужащих. В конце концов эта установка выдвинута решениями высших партийных форумов, и я голосовал за них, ибо они прямо вписываются в мои представления о будущем страны.

Меня могут спросить: какое отношение имеет все это к проблеме объединения Германии? Отвечу: самое непосредственное. Для восставших против перемен приверженцев старой системы соглашения о разоружении и германское урегулирование — явления одного порядка.

ЕВРАЗИЯ. "ЗАКРЫТЬ ПРОШЛОЕ, ОТКРЫТЬ БУДУЩЕЕ"

8

Часы полета — лучшее время для мысли.

Перед очередным визитом, взглянув на карту, мои помощники хватались за голову: „Опять лететь десять часов!" „Опять" означало, что исключения становились правилом: мы осваивали пространства, некогда заброшенные нашей внешней политикой.

Завершив долгий и сложный путь, мысленно проходишь его с начала. Повторяешь самые трудные участки маршрута, задумываешься: а правильно ли ты прошел его или надо было идти иначе.

Нечто подобное со мной происходит сейчас — мысленно я пролетаю по трассам Азии. Происходит это в совершенно конкретное время и по конкретному поводу: визиты в Японию, Китай, посещение Владивостока. Подозреваю, что этот маршрут мысли задан недавним визитом Президента СССР в Японию...

* * *

Время в пути до предела заполнено чтением и обдумыванием документов, подготовкой материалов, шлифовкой переговорных позиций, редактурой текстов официальных заявлений и выступлений. На сей раз привычную нагрузку увеличивает еще одно предстоящее событие — международная встреча во Владивостоке „Диалог, мир, сотрудничество".

Мне предстоит выступить там с докладом о политике Советского Союза в азиатско-тихоокеанском регионе. Положение в стране рождает не просто раздумья о будущем. В том же направлении работает мысль, которая давно не дает мне покоя — об уникальных возможностях Советского Союза в формировании евразийского пространства безопасности

и стабильности, в сближении Запада и Востока, Европы и Азии.

Я размышляю о феномене Японии, быстром прогрессе Китая и других стран региона, пытаюсь дать какие-то наметки ответа на вопрос, чем обернется в будущем зарождение новых центров экономической и политической силы — соперничеством или сотрудничеством. И в то же время, помимо моей воли и желания думать о чем-либо другом, голова занята мыслями о предстоящей в середине сентября 1990 года московской встрече „шестерки“ и всем, что связано с объединением Германии, общеевропейской встречей в верхах, их значением для мира.

При всем этом столь очевидно всеохватном разбросе мысли стержень у нее все-таки один, одно направление — наше общее будущее. Мир на рубеже XXI века. Теперь, когда до него, как говорится, рукой подать, все наши раздумья, все вопросы, которые мы задаем себе и друг другу, приобретают совершенно практический характер.

Прогнозы — дело неблагодарное, рискованное, более того — опасное. Сколько „провидцев“ посрамил тот же XX век, чей ход столь драматично разошелся с прекраснодушным течением их предвидений! Современная футурология не без оснований претендует на статус точной науки, но и ее точнейшие, казалось бы, компьютерные расчеты и математические модели опрокидываются напором непредсказуемой жизни. Ясновидение средневековых нострадамусов вызывает смешанное чувство мистического ужаса и изумления, однако современная „магия“, то белая, то, к несчастью, черная, вносит существенные коррективы в предсказанный человечеству путь.

Прорицателем быть не собираюсь, от прогнозов — воздерживаюсь. Мои дорожные раздумья всего лишь отражают вопросы, которые сегодня задаю

себе не один я. Почти все они произрастают на почве сегодняшних наших забот и дел и проникнуты одной надеждой на хороший завтрашний день. При своей „вселенскости“ принятый масштаб имеет то главное, пусть малое, но и великое на все времена деление, ту главную „единицу измерения“, которой должно поверяться все это, — человек. И здесь я прикладываю этот масштаб ко всем нижеследующим вопросам.

Каким войдет мир в третье тысячелетие? Что мы, нынешнее поколение, оставим в наследство нашим детям и внукам? Горы суперразрушительного оружия, способного взорвать все и вся, вражду и конфронтацию, экологический коллапс и саморазрушающийся экономический порядок?

Или мир добрососедства и глобального сотрудничества, мир, в котором не будет места военной и иным угрозам, в котором все народы смогут свободно работать и жить, а главное — радоваться жизни?

Ответы нужны сегодня. Нужно уже не просто формулировать их — формировать материальные предпосылки достижения верных целей. Без особого риска ошибиться можно сказать, что судьба XXI века во многом решается сегодня. Будущность грядущих поколений зависит и от нас, от того, как мы понимаем состояние мира, в котором живем, верно ли видим тенденции, определяющие его развитие, и обоснованно ли выбираем ориентиры для своего поведения.

Общим местом в политическом анализе последнего времени стала констатация того, что мир переиначивается невиданными темпами.

Но разве он не менялся десять, тридцать лет назад? Может быть, вся разница в скорости перемен?

Не думаю.

Ну, если так, то с чем же принципиально новым имеем мы дело сегодня?

Представляется, что мир оказался сейчас на том отрезке цивилизационного процесса, когда, говоря словами одного великого мыслителя, „завершается рост тела человечества“. Мир, возможно, подошел к последней черте своих естественных пределов. Мы осознаем конечность многих жизненно важных ресурсов и необходимость регулирования на глобальном уровне многих видов человеческой деятельности.

В государственно-политическом отношении в мире почти все отстоялось и приобрело устойчивые формы. Попытки передела встречают коллективный отпор. Совсем немного осталось государств, не поддерживающих между собой формальных дипломатических отношений. И совсем уж нет стран, физически изолированных от жизни мирового сообщества и его проблем.

Нет больше „дикого Запада“ или „сибирской глухомани“, „третий мир“ утрачивает этот свой „порядковый номер“. Есть зато общие проблемы, общие угрозы и общее стремление найти точки опоры, прийти к балансу интересов.

Если у мира общее тело, то и любая болевая точка отдается в нем общей болью и общей заботой.

Боль мира, угрозы ему неделимы прежде всего с точки зрения безопасности. И сама логика, драматургия мира, единого в своем многообразии, приводит нас к поиску новой, общей философии мирового развития, к строительству новых международных отношений, способных обеспечить нынешний и грядущий миропорядок.

Но как быть с теми болевыми точками, отношение к которым разделяет народы и страны?

***

Я пишу эти строки по завершении визита в Японию Президента Советского Союза. Начиная с 1985 года я и мои коллеги последовательно и на-

стойчиво вели дело к тому, чтобы это событие стало возможным. Поэтому я имею право судить о нем, оценивая его со знанием дела и непредвзято.

Накануне этого визита меня многие спрашивали, чего я жду от него. Я отвечал, что не будет кардинальных перемен — условия для них еще не созрели. И, по-моему, крупно ошибались те и в Советском Союзе, и в Японии, и за их пределами, кто устраивал шумный ажиотаж вокруг визита, предсказывая сенсационные результаты.

В наши дни политика „летит“ быстро, но не быстрее тех возможностей, которые предоставлены ей реальным положением вещей. Темп перемен лимитируется ими. Политика драматична и в основе своей, и в конкретных своих проявлениях, но это не резон, чтобы превращать ее в прислужницу сенсации.

Произошло то, что долго не происходило, но обязательно должно было произойти: глава Советского Союза посетил соседнюю страну, отношения с которой чрезвычайно важны и для СССР и для Японии. Посетил впервые, что уже само по себе означает шаг вперед. Состоялся диалог на высшем уровне, подписан целый ряд соглашений. Однако я категорически не согласен с теми, кто утверждает, будто с этого визита начинается новый этап советско-японских отношений.

О новом этапе мы заговорили с 1985 года, на постоянной основе начав обсуждать с японцами все, что разделяло нас. Уже в ходе первого моего визита в Токио в январе 1986 года мы договорились с Синтаро Абэ, что будем обсуждать все проблемы, которые существуют, — территориальную проблему, двусторонние отношения ... Одно лишь то, что Курильские острова были наконец открыты для японцев, желающих посещать могилы своих предков и близких, стало огромным нравственно-политическим

достижением. Масштаб человечности был сразу же приложен к отношениям, во многом омраченным в прошлом именно бесчеловечностью.

Это был самый точный ориентир.

После того я еще дважды посетил Японию, множество раз встречался с японскими коллегами и крупными государственными деятелями, и каждая встреча была шагом вперед.

В ходе второго визита в Токио по моему предложению был создан рабочий механизм для проведения переговоров по заключению мирного договора, в котором решалась бы и территориальная проблема. Механизм был приведен в действие.

Третий визит (1990 г.) ознаменовался тем, что впервые японские руководители согласились обсуждать проблему безопасности и стабильности в азиатско-тихоокеанском регионе. Благодаря усилиям моего коллеги Таро Накаямы этот диалог приобрел многосторонний характер: в том же году в Нью-Йорке для обмена мнениями по этой проблеме встретились министры ряда ключевых стран региона.

Все три визита в Японию проходили под знаком „территориальной проблемы" и, несмотря на то, что, кажется, я не сделал ни одной „уступки", нам удалось сломать лед, до того крепко сковывавший советско-японские отношения.

Традиционная вежливость японцев не мешает им ставить вопросы остро и жестко. В 1986 году шум демонстраций, бушевавших на дальних улицах Токио, разбивался о бронированные ворота советского посольства. Дальше было полегче, но и в первый раз у меня не было каких-либо претензий по поводу акций протеста. Проще всего было стучать кулаком по столу — говорят, что это свидетельствует о силе и вызывает уважение. Я такого „уважения" не хотел и не хочу.

Хотя и мне приходилось держаться непреклонно.

За нами, разделенными столом для переговоров, — наши народы и страны, и занятые нами позиции продиктованы их интересами. Ни я, ни мой визави не имеем права хотя бы на йоту сдвинуться с них. Как быть? Как отыскать баланс интересов в этой атмосфере их неравновесия? Может, не так уж неправы наши критики, утверждающие, что риторика общечеловеческих ценностей не всегда адекватна практической защите национального интереса?

Но ведь для меня они отнюдь не риторика, а практическое руководство. Исповедование этого принципа и побуждает взглянуть на проблему сквозь призму человечности. Если нас призывают понять чувства японца, то ведь в равной мере не должны отказать в том же — понять русского. И мы никогда не поймем друг друга, если будем стоять на месте.

Один мой японский собеседник заметил, что долгое стояние на „мертвых“ позициях кончится, если взглянуть на проблему „не с севера, не с юга, а сверху“. Ухватить ее истинное значение и масштаб в мозаике региона и мира и решить, наконец, как быть. Но при этом необходим долгосрочный подход, добавил он.

Я согласился с ним. Ничего другого я не предлагал моим японским коллегам. Нам нельзя стоять на месте. Москва и Токио — не конкуренты, мы прекрасно можем дополнять друг друга в мировом ландшафте. Надо решать те проблемы, которые поддаются решению. Это создаст в будущем предпосылки для решения проблем, к которым мы сегодня, каждый по-своему, подходим с позиций реализма.

В последний приезд в Токио в центре бесед вновь была территориальная проблема. Но я по-прежнему говорил: даже если не будут найдены компромиссные варианты — нам необходимо развивать отношения. Именно они — та база, на которой возможно взаимоприемлемое решение. Идти навстречу друг

другу, чтобы, сближаясь, находить баланс интересов. Для этого, быть может, стоило бы объявить десятилетие сближения Советского Союза и Японии — до 2000 года.

Времена изменились, ситуация в мире и регионе другая. В 1986 году, беседуя с Синтаро Абэ, я постоянно ощущал линию раздела, прочерченную американо-японским договором. Перемены в отношениях СССР—США значительно улучшили климат в советско-японском диалоге. Нам теперь намного легче разговаривать друг с другом, легче находить общий язык, а это — лучший залог на будущее.

И впрямь, в ходе третьего визита в Токио мне и Таро Накаяме впервые удалось ввести в переговоры вопросы, обсуждать которые прежде японская сторона категорически отказывалась.

Кроме того, мы обговорили целый ряд документов о гуманитарном и научно-техническом сотрудничестве Японии с Советским Союзом, которые затем были подписаны во время первого визита Президента СССР в Японию.

Значит, движение есть. Оно обусловлено не чем иным, как изменением общей ситуации, ставшим возможным в результате именно политики нового мышления.

Я убежден, что, развиваясь и содействуя развитию советско-японских отношений, оно приведет их к балансу интересов.

Таков мой аргумент.

Мой аргумент — Костя Скоропышный, маленький мальчик из Южно-Сахалинска, спасенный японскими врачами от ожоговой смерти, можно сказать — спасенный Японией, пришедшей на помощь Косте и его родителям в миг, когда помощи ждать было неоткуда. Если на свете действительно есть общечеловеческие ценности, то я не знаю более убедительного их проявления, чем это. Мальчик будет расти и вместе с ним — мужать то, что однажды поможет

ему и его соотечественникам преодолеть разделяющую их с японцами межу.

Для этого должна равно потрудиться и та, и другая сторона. Не в меру сейчас заполитизированная территориальная проблема разогрела вокруг себя бурные национальные страсти. И без того маленький для маневра простор еще более сужается. Мы обязаны расширить его долготерпением, стремлением идти навстречу друг другу.

Несомненно, визит М.С. Горбачева в Японию послужит этому. Таков мой единственный корректив в оценке визита.

Мы не начинаем с „чистого листа“ — он уже заполнен многообещающими письменами. Надо продолжать.

В 1990 году, выступая перед японской общественностью, я предложил расширить рамки диалога по территориальной проблеме, вывести его за узкий круг профессиональных политиков и чиновников дипломатических ведомств. Сформировать совместную комиссию историков, юристов, военных двух стран, пригласить к участию в ней крупнейших зарубежных ученых и специалистов, начать научную дискуссию, которая, стимулируя политический процесс, подготовит и общественное мнение.

Тогда этот замысел осуществить не удалось. В нашей Внешнеполитической ассоциации я хотел бы поставить его на практическую основу и в спокойной атмосфере рассмотреть проблему. Хорошо бы, думаю я, начать это до визита Тосики Кайфу в Москву.

***

Шанхай, 4 февраля 1989 года. Через одиннадцать дней последний советский солдат покинет Афганистан. Через несколько минут Дэн Сяопин примет министра иностранных дел Советского Союза. Пред-

стоящая беседа — преддверие к советско-китайской встрече на высшем уровне. Иначе говоря, начало нормализации советско-китайских отношений.

Я знаю, во что обошлась и нам, и Китаю возникшая десятилетия назад конфронтация. Миллиарды рублей и юаней вылетели в трубу военного противостояния. Пролилась кровь на границе. Резкое ухудшение отношений между великими державами породило у сильных мира сего соблазн разыгрывать „китайскую карту" в своих интересах. Советско-китайские отношения как мощный фактор позитивного влияния на положение дел в мире приобрели критически негативный характер. В большой игре мировой политики, ведшейся по правилам „холодной войны", Запад набирал очки там, где прежде ему ничего не доставалось. Соотношение в расстановке сил Запада и Востока нарушилось. В политическом смысле Запада „стало больше", чем Востока.

Ко всему этому у меня есть сугубо личные мотивы желать нормализации наших отношений. Для моего поколения Китайская Народная Республика — это наша молодость. Многие из нас непосредственно участвовали в становлении КНР, в ее грандиозных стройках, помогали оснащать предприятия советским оборудованием, работали в госхозах, делились опытом. Многие учились с китайцами и на всю жизнь сохранили память о друзьях. И, пожалуй, для всех личным потрясением обернулись возникшие затем охлаждение и отчуждение в отношениях между СССР и КНР.

Их нормализация — мое личное дело, мой персональный, политический и нравственный долг.

Итак, преддверие встречи. Но широко распахнуть перед ней двери мешают несколько препятствий. Кое-какие устранены, а те, что остались — убрать очень трудно. Не все зависит от нас, убеждаю я моего коллегу Цянь Цичэня. Узлы противоречий стянуты несовпадающими интересами разных стран.

Принято считать, что их завязали мы, мы же и должны разрубить. Но это не вполне так. Они возникли как результат противостояния и конфликтов, в которых каждая из сторон стремилась утвердить свою „модель“, свой канон. „Холодные“ и „горячие“ войны в этой части региона — следствие такой „логики“.

Ключевая проблема — Камбоджа, военное присутствие Вьетнама в этой стране. С самого начала наших с Цянь Цичэнем переговоров о путях нормализации советско-китайских отношений мы неизменно наталкивались на нее. Она казалась непреодолимой. Не военное противостояние на наших границах, не урегулирование вопросов границы, тоже достаточно сложных и запутанных, — именно камбоджийский вопрос держал дверь на солидной защелке.

Как мы ее открывали — долгий рассказ. Скажу лишь, что это была самостоятельная задача более широкого значения, и в ее решении Советский Союз деятельно сотрудничал — и продолжает сотрудничать — не только с Китаем. У нее, как фактора мировой величины, соответствующий масштаб, заданный глобальным соперничеством систем и политикой нового мышления, преодолевающей этот гигантский раскол.

В канун встречи с Дэн Сяопином защелка, казалось, поддалась.

В небольшом, скромно обставленном помещении особняка в пригороде Шанхая Дэн Сяопин предложил формулу нормализации советско-китайских отношений.

— В истории были периоды, когда наши отношения шли зигзагами. Было время, когда мы лучше знали и понимали друг друга. Потом возник перерыв в двадцать лет. Теперь все надо начинать сначала. Надо покончить с прошлым... Это чрезвычайно трудная задача, решение которой затрагивает чрезвычайно сложные вопросы.

Нетрудно было догадаться, какие вопросы имеет в виду Дэн Сяопин.

— Для того, чтобы лучше решать эту задачу, — продолжал он, — надо знать прошлое. Но это не означает, что надо ворошить его... Знание прошлого должно иметь предел ...

— Да, — подхватил я конец фразы, продлив ее моей любимой максимой из Жореса. — Брать из прошлого не пепел, а огонь ...

Дэн Сяопин кивнул в ответ. Из того, что он говорил дальше, возникала цельная картина мира в его историческом и нынешнем измерениях, прямо соотнесенная с интересами Китая, его возможностями, местом и ролью в мире. По мысли моего уважаемого собеседника, он сделал почти все, что намечал, чтобы создать своей стране наилучшие условия для развития. Почти все, кроме одного, если иметь в виду отношения с Советским Союзом.

— Обмен визитами министров иностранных дел наших стран означает, что процесс нормализации начался. Главное же событие в этом процессе — встреча на высшем уровне. Надо нормализовать наши отношения. А для этого я должен встретиться с Горбачевым. Как я понимаю, наша встреча должна закрыть прошлое и открыть будущее...

По этой формуле все и произошло спустя три с половиной месяца. Как намечали и желали того и мы. Но произошло лишь потому и только после того, как нам с Цянь Цичэнем удалось устранить самые крупные разногласия.

В какой-то момент беседы я выразил уверенность в том, что Вьетнам выведет свои войска из Камбоджи. Товарищ Дэн с сомнением взглянул на меня, но от комментариев воздержался.

Естественно, мне было приятно в скором времени убедиться, что я не ошибся.

Дэн Сяопин говорил о трудностях, но в самом

общем плане. Он не входил в детали. Поставив стратегическую задачу, предоставлял возможность поломать голову над нерешаемыми составляющими уравнения. Два часа беседы философско-политического содержания пролетели быстро. Медленное трудное движение началось за пределами особняка в Шанхае. Дата встречи на высшем уровне оказалась необозначенной — только примерный срок: в середине мая 1989 года. Чтобы назвать точную дату, надо было чем-то поступиться. Ни мы, ни китайцы ничем не поступились, но взаимоприемлемого итога достигли. Как? Оставляю ответ для будущих учебников дипломатии.

Что было дальше? Встреча на высшем уровне состоялась и действительно открыла будущее перед новыми отношениями между нашими странами и народами. События на площади Тяньаньмэнь в Пекине поместили хрупкий росток начавшегося диалога в весьма неблагоприятную для него среду. По-моему, мы достойно вышли из этого испытания, хотя, говоря по совести, меня глубоко ранила та трагедия, прямо наложившись на все мои тревоги по поводу домашних наших дел.

За короткий срок мы смогли преодолеть подозрительность и недоверие, вступили в переговоры о демонтаже структуры военного противостояния. Во время кризиса в Персидском заливе стояли, по сути дела, по одну сторону баррикады. Активный многомерный политический диалог, встречи с Цянь Цичэнем в Пекине, Харбине, Урумчи (весьма показательная география) развивали отношения в нужном народам двух великих стран, государствам региона и мира направлении...

* * *

Владивосток тогда был закрытый город. Закрытый годами конфронтации и раскола, военного соперни-

чества и недоверия. Закрытый для сотрудничества, обменов и нормальной, спокойной и безбедной жизни горожан. Изумительно красивый город, обезображенный следами властного подчинения живой ткани человеческого бытия „интересам державы“, запросов и нужд народа — утверждению мощи государства. Удивительно добрый город, истосковавшийся по открытому общению с миром.

Я считал для себя крайне важным выступить именно здесь. Именно здесь высказать мысли о возможных путях многоликого региона к открытому простору объединяющих политических идей.

Истории континентов известны такие идеи, сказал я в своем выступлении. Даже на уровне философско-политических концепций они служили сближению стран и народов и защищали их общность от саморазрушения, сегодня же, в пору самых больших испытаний, они легли в фундамент общего дома народов.

Я имел в виду идею Европы. И с полным на то основанием утверждал о существовании азиатской идеи. Идеи Азии.

Знатоки Востока, ученые-ориенталисты оспорят это мое утверждение. Я же скажу, что она живет в великих учениях древности, общее наследие которых принято нами в дар как единая концепция гуманизма.

Идея Азии живет также в прозрениях нашего времени, в обретениях политиков, адресованных огромной азиатской и всечеловеческой общности — в философии ненасилия, в принципах „панча шила“, в декларации Бандунга. Огромное значение имели советско-индийские встречи на высшем уровне, увенчавшиеся Делийской декларацией о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира.

Пора идее Азии начать работать в полную силу, как работает ныне идея Европы.

Я не случайно ставлю рядом эти два великих континента. Впрочем, не я их ставлю рядом — сама история и современность, политика и география, экономика и культура. Европа и Азия, Запад и Восток издавна идут навстречу друг другу. Идут, преодолевая стены, самоизоляцию отдельных стран, кошмары колониальных захватов и порабощения, региональные конфликты и неравенство материальных достояний. „Великий Шелковый путь“ проходил через дороги войн и насилия, тонкая шелковая нить истории насквозь прошивала пространства времени и расстояний. Тем более это возможно сегодня, когда, заменив медленные караваны с шелком, молниеносные световоды и электроника стягивают разобщенные миры в единое целое.

На берегах Тихого океана берет начало путь, который, пройдя просторами Дальнего Востока и Сибири, Европейской части Советского Союза, Восточной и Западной Европы, выходит к берегам Атлантики.

Если верна мысль наших политологов и публицистов о том, что великое евразийское пространство, которое зовется Советским Союзом, — это мир миров, то столь же верно должно быть предположение, что он не разделяет, а соединяет далеко отстоящие друг от друга миры. Как говорил замечательный русский философ Георгий Федотов, Россия должна политически жить в сложном мире и европейских, и азиатских народов.

Я позволил бы себе добавить, что Россия и другие составляющие „мира миров“ советской Евразии желают политически служить утверждению между ними мира и добрососедства.

Уникальное положение Советского Союза может сослужить неоценимую службу в налаживании са-

мых разнообразных интеграционных связей между Азией и Европой.

Если когда-то удалось протянуть трансатлантические коммуникации, то сегодня благодаря современным технологиям можно реализовать проект трансевразийских связей.

Потенциал Советского Союза в налаживании интеграции между Азией и Европой огромен.

Разобщенность континентов была во многом предопределена и „холодной войной". Ее рубежи рассекали не только Европу. Теперь мы с полным на то основанием можем говорить о формировании единого евразийского пространства безопасности и стабильности.

Полагаю, мы имеем на это право, адекватное благоприятным предпосылкам к развитию интеграционных процессов, стимулированию формирования обнимающих континенты единых пространств — политических, экономических, научных, гуманитарных, культурных.

Советский Союз — органическая часть этого единого евро-американо-азиатского пояса. Несколько десятилетий страна была во многом изолирована от остального мира. Оказались прерванными традиционные торговые пути, духовные, культурные, просто человеческие связи. Теперь, наконец, они восстанавливаются.

Идет дело к тому, что в недалеком будущем за пределами наших национальных границ в Азии вообще не будет советского военного присутствия. Кстати, как и в других частях мира.

Позитивные перемены в АТР налицо. Страны, еще недавно настороженно воспринимавшие друг друга, устанавливают нормальные, добрососедские отношения: Китай — с Индией, Лаосом, Монголией, государства Индокитая — с Таиландом и другими членами АСЕАН. Большим событием стало восста-

новление отношений между Китаем и Индонезией, Китаем и Саудовской Аравией, установление отношений США с Монголией.

Страны региона активно содействуют урегулированию региональных конфликтов, главным образом камбоджийского. Они предпринимают взаимные шаги по снижению уровня напряженности в Южной Азии, где проживает более миллиарда человек. Сокращены вооруженные силы КНР. Вьетнамские войска выведены из Камбоджи. США объявили о планах несколько уменьшить свое военное присутствие в АТР.

Выработан пакет договоренностей, составляющих основу всеобъемлющего камбоджийского урегулирования. Не может не вызывать удовлетворения и то, что теперь и в этом вопросе пять постоянных членов Совета Безопасности ООН выступают с единых позиций.

В регионе нет недостатка в продуктивных политических идеях. Здесь я хотел бы выделить масштабные предложения Индии по созданию свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира, выдвинутую КНР концепцию нового международного политического порядка, инициативу Монголии о формировании механизма диалога между странами Северо-Восточной Азии, заключение Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, предложения АСЕАН и Индокитая о создании подобных зон в Юго-Восточной Азии. Сюда же можно отнести антиядерное законодательство Новой Зеландии, австралийские инициативы в области мер доверия в северо-восточной части Тихого океана, концепцию Таиланда о налаживании в Юго-Восточной Азии отношений на принципах „позитивного сосуществования“, предложения Индонезии по обеспечению безопасности в бассейне Южно-Китайского моря.

В Советском Союзе поддерживают инициативы

КНДР, направленные на мирное урегулирование на Корейском полуострове. Декларация Севера и Юга о ненападении, меры по предотвращению случайного конфликта, поэтапное сокращение войск в обеих частях Кореи, превращение полуострова в безъядерную зону — все это действительно может создать совершенно иную атмосферу в этой взрывоопасной части региона. На этот счет есть предложения и Южной Кореи. Важно вести дело к тому, чтобы совпадающие моменты в предложениях двух стран „сошлись“ и материализовались на практике.

Пресловутые стены раскола воздвигались не только в Европе. Кроме Берлинской стены существует рассекающая Корею стена. Хочется верить, что уже в скором будущем участь Берлинской стены постигнет и железобетонную преграду, стоящую на пути воссоединения корейского народа.

... Спустя несколько дней в Пхеньяне я постарался убедить руководителей КНДР в том, что предстоящее установление дипломатических отношений между Советским Союзом и Южной Кореей послужит преодолению раскола и воссоединению страны. К сожалению, это не удалось, и отнюдь не по нашей вине.

Слишком еще высока в регионе степень недоверия и даже враждебности, подпитываемых территориальными спорами, идеологическими, этническими и религиозными факторами.

Сохраняется опасно высокий уровень военного противостояния, особенно на Корейском полуострове. Продолжается развертывание ракетно-ядерного оружия, усиливается военно-морская активность.

Пройдя академию Европы, школу Хельсинкского процесса, мы вправе надеяться на распространение этого уникального опыта и в других частях мира. Да, этот опыт не универсален. Европейский „аршин“ не приложить к Азии. Но есть пример, образец,

удостоверяющий возможность утверждения полифонического лада там, где еще вчера царила нестройная разноголосица.

Учитывая все многоцветье картины региона, ее и композиционное и сюжетное отличие от других районов мира, можно поискать специфические „азиатские формы“ решения проблем безопасности и сотрудничества.

Мне трудно согласиться с теми, кто, подчеркивая исключительность ситуации в АТР, в сущности тормозит процесс укрепления в этом регионе позитивных тенденций мировой политики.

По моему мнению, и к азиатским реальностям можно применить принцип надежного обеспечения безопасности при серьезном снижении — до уровня достаточности — вооружений, эффективно используя политические средства.

Нужно ли и здесь повторять путь, пройденный другими, — накапливать вооружения, создавать военные союзы и коалиции, строить новые военные базы только для того, чтобы впоследствии убедиться: можно было бы обойтись без этого и направить средства на решение острых социально-экономических проблем?

Размышляя над тем, как подступить к формированию переговорных институтов в регионе, я все более убеждаюсь в необходимости широкого диалога по региональным проблемам.

Почти везде, за исключением АТР, существуют и действуют универсальные форумы для обсуждения наиболее актуальных проблем. В Европе — это Совещание по безопасности и сотрудничеству и целый ряд других структур, в Америке — Организация американских государств, в Африке — Организация африканского единства. Конечно, далеко не все в их деятельности идет гладко, однако существование этих организаций под вопрос не ставится.

Интерес к созыву общеазиатского форума в том или ином составе и формате растет. Утверждается, например, идея проведения в этих целях встречи министров иностранных дел.

Важную роль в формировании инфраструктуры, стимулирующей движение к созыву азиатско-тихоокеанского форума, играют научные и общественные круги. Вильямсбергские конференции, куала-лумпурские „круглые столы", новозеландские симпозиумы, владивостокские встречи свидетельствуют: съезд представителей стран АТР, в том числе официальных, для совместного обсуждения проблем региона не только возможен, но все более актуален.

Назрела, несомненно, нужда и в более широких и регулярных обменах по парламентской линии.

С учетом известных сложностей идти к азиатско-тихоокеанскому совещанию можно было бы поэтапно, используя различные политические и дипломатические средства и методы.

Мне представляется непродуктивным ставить какие-то предварительные условия для созыва такого совещания. Вряд ли следует ждать момента, когда исчезнут все споры и разногласия.

Более эффективный подход заключается в том, чтобы параллельно с наращиванием усилий по разрешению конфликтов, снижению противостояния и устранению трений, одновременно с активизацией двусторонних контактов переходить к налаживанию многостороннего переговорного механизма.

С чего начинать? Как можно было бы запустить его в действие?

Следовало бы подумать о проведении, например, совещания группы государств, обладающих большими военными потенциалами. Это могла бы быть рабочая встреча министров иностранных дел, открытая для наблюдателей от любых других стран. Советский Союз, думаю, будет готов провести необхо-

димые консультации, чтобы подготовить такую встречу, условиться о ее участниках и повестке дня.

Учитывая общую заинтересованность в свободном и безопасном мореплавании, необходимо продумать идею создания международного регионального центра по обеспечению безопасности морских коммуникаций.

Ни одна страна, сколь бы могущественными флотами она ни располагала, не в состоянии в одиночку гарантировать стабильность, защитить свободу и безопасность морских сообщений. Более того, такая ее активность многими была бы встречена с настороженностью.

Лучшим решением проблемы обеспечения безопасности коммуникаций на море и в воздухе, включая меры борьбы с терроризмом и пиратством, я считаю разработку системы международных гарантий.

Я предложил министрам иностранных дел тех азиатских государств, которые пожелают принять наше приглашение, встретиться во Владивостоке осенью 1993 года.

Это могла бы быть открытая встреча как по составу ее участников, так и по кругу вынесенных на нее проблем.

Мне представлялось возможным выработать совместный документ, декларирующий согласованные принципы политики участников встречи и закрепляющий отказ от конфронтации и переход к отношениям партнерства.

Советский Союз, подчеркнул я во Владивостоке, готов начать диалог по военной проблематике и по мерам укрепления доверия со всеми государствами Азии и Тихого океана.

И мы отнюдь не призываем ломать сложившиеся военно-политические структуры. Каждая страна с учетом своих национальных интересов сама опреде-

ляет, как ей строить свои отношения, в том числе в вопросах безопасности, с другими государствами.

Наряду с военно-политическими тревогами в регионе растет озабоченность по поводу развития экономических процессов.

В последнее время высказываются прогнозы о возможности „экономической холодной войны“ как между Азией, Европой и Америкой, так и внутри АТР. Нельзя допустить, чтобы возник новый фронт конфронтации Север—Юг. Ведь сейчас впервые в истории складываются предпосылки целостного развития мировой экономики и международных экономических отношений на принципах равенства, взаимной выгоды и взаимопомощи. Налицо заметная активизация экономического сотрудничества по линии Восток—Запад, углубляющиеся повсюду интеграционные процессы, растущая заинтересованность государств в укреплении и повышении эффективности деятельности многосторонних торгово-экономических и валютно-финансовых механизмов.

Такие тенденции в полной мере присущи и региону, который уже сегодня во многом определяет „экономическую погоду“ планеты. Здесь набирают силу процессы экономической интеграции. Важно объединенными усилиями придать этим процессам гармоничный и демократический характер, чтобы они не заводили в тупики замкнутых торгово-экономических группировок, постоянно воспроизводящих экономические трения, конфликты, а то и открытые „торговые войны“.

Я отдаю себе отчет в том, сколь много предстоит еще сделать, чтобы экономическое присутствие Советского Союза в АТР достигло уровня, соответствующего его возможностям. Тут с нашей стороны нужна активная „экономическая дипломатия“, новые формы включения в хозяйственную жизнь азиатско-тихоокеанского региона.

Для этого нам необходимы меры внутреннего порядка, которые дали бы толчок развитию экономики и рынка в азиатской части Советского Союза и на Дальнем Востоке, создали бы благоприятную политическую и правовую среду для инвестиций.

Союзные республики активно развивают прямые связи со странами региона. Здесь лидирует РСФСР. Верховный Совет республики принял постановление о создании зон свободного предпринимательства на Дальнем Востоке. Активно налаживают связи Узбекистан с рядом стран Юго-Восточной Азии, Казахстан — с провинциями КНР.

Советские представители деятельно участвуют в реализации ряда рабочих программ Конференции тихоокеанского экономического сотрудничества, готовы включиться в аналогичные программы, осуществляемые в рамках межправительственного форума азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

Реальности таковы, что переход нашей экономики к рыночному хозяйству, бóльшая ее открытость, внедрение взаимовыгодных форм внешнеэкономических связей создают основу для включения советской экономики в формирующуюся экономическую архитектуру АТР. Не замечать этого — значит не только существенно суживать потенциал экономической интеграции, но и недооценивать значение огромных перспектив дальневосточной части СССР и по существу неограниченных возможностей выгодного, с прицелом на XXI век, вложения капиталов.

Советский Союз не мыслит свое дальнейшее развитие без возможно более полного участия в мировой экономике. Соответственно, он будет добиваться партнерства, органичного сопряжения экономики своего Дальнего Востока и Сибири со складывающимся в АТР экономическим комплексом.

...К вершине ведут много дорог, говорят на Вос-

токе. Безусловно, каждый волен выбирать себе дорогу по вкусу и возможностям. Но если объединить силы и ресурсы, определить наиболее оптимальный путь и помогать друг другу, то к вершине доберешься и быстрее, и с меньшими затратами. Легче двигаться к вершине вместе, руководствуясь такими взаимосвязанными категориями, как уважение, доверие, сотрудничество.

Только уважая партнеров, их выбор социально-политического устройства жизни, законные интересы, можно создать атмосферу доверия, столь необходимого для осуществления мер в политической, военной, экономической областях, которые устранят подозрительность, привнесут в межгосударственное общение предсказуемость, надежность, взаимопонимание.

По-моему, многие из этих предложений актуальны по сей день.

* * *

После отставки мне выпала редкая возможность узнать, что думают и говорят обо мне люди, с которыми довелось встречаться и беседовать за столом переговоров. Мои зарубежные коллеги и партнеры.

Опущу добрые высказывания, не опуская, однако, моей благодарности за сочувствие, поддержку и добрую память. Сейчас, как мне представляется, полезнее, продуктивнее рассмотреть критические замечания.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к моей отставке, один посол, представитель великой азиатской страны, сказал, что, конечно же, он сожалеет об уходе Шеварднадзе.

— Однако, — добавил он, — справедливости ради надо отметить, что бывший советский ми-

нистр — „американист“ и „европеист“ и азиатским делам уделял меньше внимания.

Я оспорю это утверждение. Дело не в том, что мы не уделяли внимания азиатским или африканским делам, а в том, что это сегодня невозможно — настолько взаимосвязаны все „дела“. И еще невозможно сбросить со счетов такие аргументы, как опыт и практика.

Опыт Афганистана. Мирное урегулирование в Намибии и провозглашение ее независимости. Расширение связей с Индонезией и другими странами АСЕАН. Активное участие в усилиях по прекращению ирано-иракской войны и по пресечению агрессии в Персидском заливе...

В очень трудное время состоялся визит в Иран. После встречи с аятоллой Хомейни началось восстановление советско-иранского диалога, фактически полностью прерванного в прошлые годы.

Значительные позитивные сдвиги произошли в наших отношениях с Турцией. Теперь добрососедство — уже не цель, а реальность.

В странах Индокитая, АСЕАН, в Австралии мы настойчиво искали и торили пути к урегулированию конфликтов, доставшихся миру в наследство от эпохи „великого противостояния систем“ и „холодной войны“, захватившей и азиатско-тихоокеанский регион.

Тут на мир работала сама трансформация отношений между СССР и США. Заключение Договора по ракетам средней и меньшей дальности имело значение и для Азии, ибо, ликвидировав их в Европе, мы убрали ракеты этого класса и из азиатской части СССР.

Я излагаю не свой „азиатский“ послужной список. Если вообще можно говорить о чьем-либо послужном списке, то принадлежит он политике нового мышления. Начав перестройку с отказа от политики

глобального противоборства, примата классовой борьбы в межгосударственных отношениях, мы не ограничили свой политический горизонт Америкой, Европой и Ближним Востоком. Мы исходили из той политической, исторической и географической реальности, что Советский Союз — единственная на Земле страна, имеющая границы с Европой, Америкой и Азией. Эта реальность налагает на нас особые обязанности, требует особой, повышенной ответственности в азиатско-тихоокеанских делах. Объективная необходимость в налаживании регионального сотрудничества в АТР, острые проблемы обеспечения стабильности и безопасности в регионе, непрекращающаяся гонка вооружений, опасность распространения ядерно-ракетных технологий вызвали к жизни известные советские инициативы, изложенные М.С. Горбачевым во Владивостоке и Красноярске.

У нас был верный курс, когда мы вступили на этот путь, — курс политики нового мышления. Географическая протяженность этого пути была огромна, груз задач и обязанностей — тяжел, но мы знали, куда и как идти.

Был у меня и свой личный багаж — историческая память о веках, прожитых моим народом на рубеже Европы и Азии. Как я уже говорил, в прошлом это принесло ему немалые беды и сейчас не сулит покоя, но сложное взаимодействие цивилизаций, культур, верований, языков отложило в душе и характере драгоценный сплав особой спайки с миром.

В перечне моих приоритетов „третий мир“ не был для меня третьим. Кругосветный маршрут нового мышления был проложен так, чтобы наша новая внешняя политика сомкнула его проблемы и с нашей перестройкой, и с глобальными делами. Собственно говоря, мы сосредоточили внимание на том, что задача выживания человечества не может быть решена вне проблем „третьего мира“.

Ведь это он в первую очередь вынужден платить самую высокую цену за бедственное состояние природы, гонку вооружений, рост задолженности. Он наиболее взрывоопасен и с точки зрения региональных конфликтов.

Наша способность справиться с глобальными вызовами зависит от того, как будет развиваться мировая экономика, изыщем ли мы средства для защиты окружающей среды, развития, преодоления бедности, борьбы с эпидемиями и последствиями экономических катастроф.

Визиты в страны Африки, Центральной и Южной Америки вновь и вновь убеждали меня в том, что проблема разумной достаточности для нужд обороны становится актуальной и для них. Что без разоружения, сокращения военных расходов, конверсии военных производств и высвобождения таким образом средств и ресурсов на нужды развития будет крайне трудно справиться со все обостряющимися глобальными проблемами.

В годы перестройки мы возобновили диалог со странами, чья роль, удельный вес и влияние на международные дела будут все более возрастать на рубеже столетий.

В лице коллег — министров и руководителей этих стран — я нашел прекрасных партнеров, а в иных случаях — и друзей. Многое из того, о чем мы договаривались, осталось, к сожалению, невыполненным. Но я всегда возвращал свои долги. Постараюсь сделать это на моем новом поприще, во Внешнеполитической ассоциации.

Любая, пусть даже и самая точная и красивая формула может быть применена для оздоровления мира только общими усилиями. Может, она и по плечу одному или нескольким государствам, но, приведя ее в действие, они тут же и обнаружат, что достигнутое рискует быть сведенным на нет из-за глобального неблагополучия.

Нам необходимы не острова, а материки и континенты сотрудничества. Быть может, только в таких условиях мы и сможем решать проблемы островов. Только так откроем себе и другим путь в будущее.

Знаю, как это трудно. Прошлое не дает „закрыть себя". На каждом шагу убеждаюсь в этом. И все-таки ничего другого не остается, как преодолевать его.

9

ДНИ ЧЕРНОБЫЛЯ И „ПОКАЯНИЕ“ Я СДЕЛАЛ ВЫБОР

То утро началось трезвоном телефонов, которые обычно в это время дня безмолвствуют. Мне пришлось отложить традиционное, по понедельникам, совещание и отвечать на взволнованные расспросы, сводившиеся, в общем, к одному: что произошло в стране? Впрочем, отвечать было нечего: в те утренние часы я еще не знал, что на одной из наших атомных электростанций произошла авария. Попытки почерпнуть какие-либо сведения из доступных мне источников дали немногое. „Да, — говорили мне те, к кому я обращался, — что-то произошло на Украине, но пока получить полную ясность не удалось".

Скудная информация поступала нерегулярно и не давала полной картины случившегося.

Позвонил Горбачев и попросил приехать. К тому времени уже примерно полтора десятка послов срочно запросили немедленных встреч со мной или моими заместителями, мотивируя их безотлагательность экстренным поручением своих правительств получить у нас разъяснения по поводу радиоактивных элементов, появившихся в атмосфере, почве и воде на их национальных территориях. Все они связывали это с Советским Союзом, поскольку в работе атомно-энергетических установок их стран неполадки не были обнаружены.

Дело принимало скандальный оборот.

Я уже выходил из кабинета, когда помощник сообщил мне о еще одном телефонном звонке. На сей раз речь шла о фильме „Покаяние". Кинорежиссер Тенгиз Абуладзе завершил работу над ним в 1984 году, но не смог выпустить его на экран. Фильм постигла участь многих хороших лент: он

был запрещен к показу и попал на полку. Теперь Абуладзе спрашивал у меня совета: может ли он обратиться к Горбачеву за помощью и апеллировать к съезду кинематографистов, который должен был открыться 12 мая.

Эта история достаточно хорошо известна, сам Абуладзе не раз говорил о моей роли в появлении фильма на свет, касался ее и я, в том числе в этой книге. Поэтому сейчас я ограничусь лишь несколькими деталями.

Финансировать производство фильма пришлось из скудных республиканских средств. Уже на стадии сценарной разработки мы долго и подробно обсуждали будущую ленту. Зная возможности режиссера, я был уверен в высоких художественных достоинствах картины, за которую он взялся. Но в не меньшей степени меня интересовало ее общественно-политическое звучание. Фильму предстояло разорвать заговор молчания и запрета на тему тирании и беззакония, тему репрессий и гонений, которым в нашей стране подверглись миллионы людей. Моя интуиция подсказывала мне, что наступает время, когда надо пойти намного дальше и глубже, чем это сделал Хрущев без малого тридцать лет назад. Солженицынский „Один день Ивана Денисовича“ остался эпизодом. К тому же я вообще не считал, как не считаю и сегодня, возможным накидывать на творчество художника мертвую идеологическую узду. Во всех отношениях вопрос о таком фильме был для меня принципиальным. К моменту, когда Абуладзе поделился со мной своим замыслом, у меня не было уверенности в том, что фильм вообще удастся выпустить в широкий прокат. Я даже сказал об этом режиссеру, добавив, что тем не менее фильм должен быть снят. Это был риск, но тщательно рассчитанный

по всем мыслимым составляющим дела — от финансирования фильма до студии, где его можно было бы снять, не опасаясь его „закрытия" по приказу из Москвы.

Незадолго до моего перевода в Москву режиссер показал мне и моим товарищам черновой вариант фильма. Мы поняли, какая сила в него заложена. Тем более усилились мои сомнения в возможности его выхода на экран.

И вот, когда фильм был готов и велись незначительные доработки, я уехал из Тбилиси. И тотчас же в соответствующие ведомства поступили требования уничтожить единственную копию фильма, а автора — наказать. Встревоженный судьбой своего детища, Абуладзе позаботился о его видеокопии. Людям, которые помогли ему сделать это, было предъявлено обвинение в размножении антисоветского произведения. Их сняли с работы. Фильм был „арестован".

В первые месяцы пребывания на Смоленской площади я то и дело ощущал болезненные уколы совести: поощрил человека на неординарный поступок, поддержал его замысел, помог снять фильм — и оставил без помощи в самый трудный для него момент. Однажды не выдержал и сказал об этом Горбачеву: „Я многим задолжал дома, но сейчас не могу вернуть все долги. Однако есть один долг, который я обязан вернуть во что бы то ни стало, и вы можете помочь мне в этом".

Горбачев посмотрел „Покаяние" и сказал, что ему надо открыть дорогу на экран. Справедливости ради надо заметить, что в судьбе фильма приняли участие многие и очень разные люди. Не говоря уже о коллегах Абуладзе — кинематографистах, фильмом занимались Александр Яковлев и, как мне говорили, — Егор Лигачев. „Покаяние" получило

сильную поддержку. Однако было и столь же сильное противодействие. В Политбюро преобладало мнение: занявшись прошлым, можно увязнуть в нем и не выбраться из сегодняшней топи. Удовлетворение многочисленных требований о партийной реабилитации целого ряда видных деятелей прошлого вызовет цепную реакцию пересмотра истории. В таком контексте рассматривалась и судьба „Покаяния". Само название фильма, заложенный в него смысл внушали тревогу довольно большому числу людей. Ведь ко всему покаяние предполагает признание личной ответственности. Публичное осуждение прошлого страшило неизбежным выводом о необходимости решительного разрыва с господствовавшими в нем „порядками".

Я попросил передать Абуладзе, что Горбачев знает о фильме и что перед ним обязательно будет зажжен „зеленый свет", только надо немного подождать.

Правда о Чернобыле ждать не могла, но обнародовать ее оказалось чрезвычайно трудно. По тем же причинам, по которым тормозилось продвижение „Покаяния" на экран.

Состоявшийся двумя месяцами раньше XXVII съезд партии был назван „уроками правды". Мы действительно сказали правду о положении дел в стране и торжественно присягнули на верность гласности.

Буквально за трое суток до чернобыльской катастрофы, выступая на собрании, посвященном 116-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, я процитировал высказывание Горбачева: „Мы категорически выступаем против тех, кто ратует за дозирование социальной информации: правды не может быть слишком много ..."

И вот теперь, спустя четыре дня, сам оказался

вынужден выступать против тех, кто пытался упрятать правду в запатентованные системой сейфы секретности.

С точки зрения здравого смысла это было сущим абсурдом: как можно скрывать то, что скрыть невозможно? Как можно сетовать на желание вынести сор из избы — радиоактивный сор, если он уже вынесен вопреки чьим-то желаниям и намерениям?

С точки зрения морали это было вопиющей безнравственностью: как можно скрывать от миллионов людей правду об угрозе их жизни и здоровью, когда преступное замалчивание грозящей опасности оборачивается неведением целых народов, лишающим их шансов и возможности принять защитные меры?

С точки же зрения политики это было прямым подрывом заявленных на высшем уровне принципов нового мышления, с таким трудом формируемого доверия нашей и мировой общественности к новому курсу советского руководства.

Воспитанный в духе мистического почитания грифа „совершенно секретно“, я тем не менее делал все от меня зависящее, чтобы правда о Чернобыле стала известна стране и миру уже в первые дни после аварии. Удалось немногое, но и то, что удалось, — было встречено в штыки некоторыми членами Политбюро. Используя лексику политического патриархата, мог бы сказать, что мне и моим коллегам крепко досталось за те сведения, которые мы сообщили нашим зарубежным партнерам. И черт, как говорится, со мной, если бы вопреки провозглашенным установкам на честную открытость дело по-прежнему не вели по хорошо отработанным сценариям былых лет. Отсутствие полной и правдивой информации компенсировалось

массированным „идеологическим обеспечением" недоказуемого, проявлением рефлексов отпора „провокационной пропагандистской шумихе, поднятой на Западе в связи с аварией на нашей АЭС".

15 мая по Центральному телевидению выступил М.С. Горбачев и расставил все точки на „i".

Сегодня, спустя пять лет после Чернобыля, когда счет его жертвам перевалил за десятки тысяч, когда цезием и стронцием оказались поражены не тридцатикилометровые „круги ада", а целые области и республики, мне намного отчетливее, чем в апреле 1986 года, видится значение тогдашней битвы за правду. Проиграв ее в те дни, мы проиграли сегодня доверие к себе, ибо, в который уж раз, пренебрегли самой высокой ставкой, какая только есть на свете, — человеческой жизнью.

День Чернобыля, как я назвал для себя 26 апреля 1986 года, стал новым рубежом отсчета в мировой истории, новым критерием внешней политики. Мы еще не успели произнести это словосочетание, еще не уяснили подлинные масштабы обозначаемой им катастрофы, а оно вмиг возвестило о том, что отныне и навсегда ни одно порожденное мятежом техносферы экологическое бедствие не ограничивается пределами той национальной территории, где оно произошло. Что в современном мире границы и ареал тех или иных природных катастроф — весьма и весьма условны, тогда как абсолютно безусловна необходимость внеграничного интернационального противостояния угрозе, не менее страшной, чем опасность термоядерной войны, — экологическому распаду планеты. И если уж произнесено слово „война", то скажу, что мировая экологическая война уже развязана — сначала в пределах безудержного и неконтролируемого наступления техносферы на био-

сферу, затем, в наши дни, сознательным использованием военных средств против природных источников обеспечения жизни на Земле. Тучи дыма от горящих нефтяных скважин над Эль-Кувейтом могли закрыть горизонт всему человечеству. Эта война против одного народа запланированно вылилась в агрессию против общечеловеческого достояния — природы.

Экологический императив выживания обнажил множество невидимых и неосознаваемых прежде величин. В первую очередь — фактор целостности мира. Как тут не вспомнить слова Рональда Рейгана, произнесенные им после Чернобыля: „Редко когда взаимозависимость современных промышленно развитых государств проявлялась более наглядно, чем в эти дни". Тогдашний президент США заговорил на одном языке с Генеральным секретарем ЦК КПСС, чей тезис о складывании единого взаимозависимого мира стал ключевым положением концепции нового политического мышления. День Чернобыля мгновенно вознес общечеловеческую ценность — жизнь — над „классовым сознанием". И вновь, освобожденная от масок идеологического шаманства, ясно предстала главная цель любой, в том числе и природоохранной, политики — защита человека. Оборона той „единицы измерения", которой мы обязаны поверять меру истинной безопасности стран и народов. Однако при всем этом здесь должен действовать более „протяженный" масштаб: человек — человечество. Ибо только защищая каждого человека вкупе с природной средой его обитания, можно дать человечеству шанс к спасению. И наоборот: действуя всем миром, под лозунгом „Народы всех стран, объединяйтесь!" — можно спасти человека.

Все это нетрудно было бы объявить игрой не

слишком уж изощренного ума, если бы не стояло перед глазами умирающее Черное море. Пустыня в районе бывшей акватории Аральского моря. Если бы я не знал, что эта экологическая катастрофа поставила на грань вырождения и гибели жизнь целого народа. Если бы не была мне известна реальная угроза деградации обширного региона Поволжья. Если бы самому не приходилось биться над дилеммой: ферросплавный завод в городе Зестафони, отравлявший ядовитыми выбросами Западную Грузию, но не подлежащий остановке в силу „особо важного для государственных интересов значения его продукции“, или — здоровье, жизнь, будущее детей, появлявшихся на свет с ужасающими пороками развития.

День Чернобыля окончательно сорвал пелену с глаз и навсегда бесповоротно убедил в нерасторжимости морали и политики. В необходимости постоянной поверки политики критериями нравственности. И чтобы сразу же устранить подозрения и обвинения в желании предстать этаким святым, проповедующим „вечные истины“, скажу, что кредо нравственной политики — это кредо прагматика. Практический ориентир человека, которого сама жизнь убедила в том, что безнравственная политика — бесперспективна. История с Чернобылем, история борьбы за гласность в освещении факта, причин и последствий аварии — самый верный аргумент в пользу этого положения. И вопрос об истине, о правдивой информации, не распределяемой и не дозируемой по классовым, кастовым, клановым, национальным признакам, — ключевой для определения нравственности или безнравственности политики.

Этот вопрос стал ключевым и для моей личной судьбы. Для моей работы министра иностранных

дел и для ее завершения. Проблема правды — неправды сыграла решающую роль в истории с отставкой. Я не раз говорил и писал о том, что начал размышлять о ней примерно за год до 20 декабря 1990-го... Но уже на ранних этапах деятельности на постах члена Политбюро и министра иностранных дел, неоднократно сталкиваясь с рецидивами двойной морали, отступлениями от заявленных принципов, попытками действовать по-старому, я не мог не задуматься о моей роли и ее пределах. Уже тогда, в 1986 году, спрашивал себя, как долго смогу выступать в качестве экспортера политики нового мышления при очевидной ориентации иных людей и кругов внутри страны на нормативы мышления старого.

Прошу заметить: я никого не обвиняю в приверженности им — и отнюдь не из желания прослыть „праведником", отпускающим чужие грехи. Все мы, и я, разумеется, в том числе, „вышли из одной шинели". Вернее было бы сказать, что вознамерились, во всяком случае — на словах, выйти из нее. Только одни действительно не на словах, а на деле желали сбросить эту шинель тоталитаристского пошива, другие — не могли, а для третьих она и вовсе была по фигуре, облегала ее так, будто специально была скроена по ней. Хорошо помню, как настойчиво требовали эти „третьи" вписать в программу партии слова о классовой борьбе и как Горбачев говорил им: „Мы вспоминаем о классовой борьбе тогда, когда хотим заставить людей голодать". Наивно было думать, что поколения, сформированные десятилетиями казарменного социализма, смогут так уж легко и быстро переналадить свое сознание, но мне хотелось верить, что это возможно, потому что жизненно необходимо, и я твердил себе и своим близ-

ким о том, что придет пора, когда мы научимся говорить правду и говорить вовремя.

Чернобыль стал первым испытанием гласности, и она не выдержала его. Все впереди, думал я, мы только начинаем. Но впереди нас ждали события в Алма-Ате, Сумгаите, Степанакерте, Баку, Тбилиси, Вильнюсе, Риге и опять-таки срабатывали старые механизмы, упрощавшие, искажавшие либо вовсе устранявшие правду о происшедшем. Мне самому непосредственно довелось столкнуться с явным стремлением утаить от представителей руководства страны важные детали апрельской экзекуции в Тбилиси, и поэтому я могу поверить утверждению Горбачева о том, что о событиях в Вильнюсе он узнал лишь после того, как они совершились. Но тогда неизбежно возникает предположение о существовании некоей „теневой" силы, действующей в обход и наперекор власти законной, силы, вводящей дезинформацию в общие с танками боевые порядки. Либо — во что мне труднее поверить — о желании „прикрыть" эту силу, вывести ее из зоны гласности.

* * *

Монополия на власть есть монополия на информацию, на средства и способы ее производства и распространения. Отказ от монополии на власть влечет за собой утверждение плюрализма, в том числе информационного плюрализма мнений, оценок, идей. Беда, однако, в том, что годы засилья политического монополизма не способствовали формированию высокой политической культуры, способной перевести центробежную по характеру и конфронтационную по сути разноголосицу в русло нормального, цивилизованного, конструктивного общественного диалога.

И в этом смысле мы все еще остаемся пленниками собственного прошлого, по-прежнему уповая на такие средства выхода из плена, как вооруженный побег или изнурительный подкоп под стены. Я понимаю тех, кто не видит других средств — десятилетия насилия исключали какие-либо иные возможности преодолеть неволю. Однако уместно напомнить, что прошлое подобно зданию, разрушая которое, можно погибнуть под его развалинами. Есть другие способы отринуть тяжкое наследие — его осмысление, трезвый анализ, отделяющий зерна от плевел, диалог, прекращение огня, заключение перемирия и наконец — мир. Но, к сожалению, здесь мы вновь сталкиваемся с дефицитом политической культуры, который ловко используется тоскующими по былым порядкам претендентами на роль „вождей“ и кандидатами в новые диктаторы. „Мы становимся свидетелями того, как от воздуха свободы просыпаются и вылезают из своего подполья древние чудовища“*. Приведенные выше слова сказаны Адамом Михником, польским правозащитником и историком, одним из теоретиков „Солидарности“. Когда-то иные из моих товарищей по партии пугали им детей. В 1989 году в Варшаве он интервьюировал меня для своей „Газеты Выборча“. Мы сфотографировались на память, и снимок попал на обложку журнала. Рассказывают, поляки протирали глаза: не обман ли это зрения — диссидент бок о бок, чуть ли не в обнимку, с членом Политбюро ЦК КПСС ?!

Никакого обмана не было. Обман, самообман — отгораживаться от человека стеной „идейной“ несовместимости на том лишь основании, что он мыслит иначе, чем вы. На поверку чаще всего оказы-

*Михник А. Национализм: чудовище пробуждается. — Век XX и мир, № 10. 1990. С.14.

вается, что мыслит он не хуже вас, а то и в унисон с вами. Во всяком случае, кое-какие идеи Михника о природе национализма и шовинизма созвучны моим представлениям. Например, Адам приводит слова мыслителя о том, что победа национал-шовинизма над гуманизмом открывает тиранам путь к власти, — я соглашаюсь с ним. Мне близка и та его мысль, что, выступая в оппозиции национализму или шовинизму, иной режим, именующий себя коммунистическим, широко использует националистические настроения как последнюю попытку устаревшей идеологии найти в обществе опору для диктатуры. Парадокс, не правда ли? Не бóльший, однако, чем небезуспешные попытки иных приходящих к власти „национал-патриотов" взять на вооружение самые грязные средства из арсенала умирающих псевдокоммунистических режимов: преследование инакомыслия, подавление национальных меньшинств, перекладывание на мифических недругов ответственности за собственные просчеты, формирование фантома „врагов нации" и т.п.

После отставки мне вновь довелось встретиться с Михником, на сей раз в Москве. Мы обсуждали ситуацию в Советском Союзе и странах Восточной Европы с точки зрения возможного воздействия происходящих событий, увы, не всегда позитивных, на европейскую стабильность, процессы формирования новой Европы и столь необходимых ей структур безопасности. И вновь мы сошлись на том, что тенденция пробуждения национал-шовинизма несет в себе опасность становлению новых демократических обществ, грозя подорвать завоевания мирных европейских революций. По сути дела, говорил Михник, вопрос стоит о том, каким путем пойдет революция в той или иной стране. И вновь

рассуждения приводили к выводу: естественное стремление покончить с прошлым облекается в такие формы, которые грозят народам сужением исторических перспектив. Возлагая вину за их беды и несчастья на „чужаков" или коллаборационистов, шовинизм и национализм слагают с себя ответственность за настоящее и будущее.

Все это уже было. Как и всегда во времена смуты, на политическую арену могут выйти шариковы, кваркваре тутабери*, проходимцы, люмпены, и реяние „святых знамен" отвлечет пытливые взоры от их истинного лица. А тем временем интеллигенция, интеллектуальная элита, столь многое делавшая для пробуждения национального самосознания, может оказаться оттесненной на обочину общественно-политической жизни.

Почему? Здесь есть над чем поразмыслить. Хотя бы над тем, что исторически в странах, где имперская психология воплощалась в формах официальной государственной доктрины, где постулаты державности требовали беспрекословного подчинения интеллекта и духа какой-либо универсальной идее, интеллигенция вступала в оппозицию власти. Утверждают, что это для нее — естественное состояние, ибо воля интеллекта и духа всегда восстает против своих ограничителей. Для стран развитой демократии это норма: упорядоченная культурой и ответственностью, свобода всегда ищет и находит там русло для выражения несогласия.

По мне, умные правители должны не то чтобы прислушиваться к нему — поощрять его. Но если нет таких правителей, а демократическая идея не оформилась в традицию, то интеллектуал вступает

*Шариков — персонаж из повести Михаила Булгакова „Собачье сердце". Кваркваре Тутабери — герой одноименной пьесы грузинского драматурга Поликарпэ Какабадзе. И тот и другой олицетворяют тип политического авантюриста.

не просто в оппозицию — в конфронтацию с властью. Чаще всего она приобретала характер перманентной войны, в которой стороны обменивались тяжелыми ударами, пытаясь сокрушить друг друга. В итоге вступающая в революционную борьбу интеллигенция брала на себя не свойственную ей функцию разрушения, чем подрывала самое себя. Переставала быть тем, чем должна была быть. Умея быть запалом, просветители и возмутители масс исподволь лишались способности к практической созидательной работе. И когда на арену борьбы изливалась пробужденная их волей стихия — им оставалось лишь ужасаться демоническому порождению своих усилий. Или, как это было в нашей истории, становиться добычей репрессий и террора.

***

Некоторое время назад в Риме журналисты газет „Стампа" и „Репубблика" задали мне вопрос о социальной базе перестройки: на кого мы опирались, начиная ее? Я ответил, что поддержка была широкой, как принято у нас говорить, — всенародной.

Быть может, правда об экономических последствиях застоя, тормозившего развитие страны и увеличивавшего ее отставание от ведущих государств мира, была известна немногим, однако недовольство существующим положением дел было широким и повсеместным. Оно ощущалось в партии, как в руководящих ее структурах, так и в первичных организациях, в промышленности и сельском хозяйстве, в среде творческой и научной интеллигенции. Партийно-государственная геронтократия задержала рост как минимум двух поколений наиболее активной части населения. Люди

ума и таланта поздно вступали в дело, а когда вступали — обнаруживали узость и ограниченность возможностей для выявления своих способностей. Век „кремлевских мафусаилов“ казался бесконечным, их немощность, отзывавшаяся неподвижностью огромной страны, — вечной.

Контраст Горбачева с его предшественниками был таким разительным, что многие заговорили об олицетворенном шансе на спасение. И, конечно же, первыми этот шанс приняли и поддержали те, чей интеллект не мог мириться с углублявшейся стагнацией страны.

Говоря об интеллекте, я бы не ограничивал его какими-то социальными рамками, какими-то четко фиксированными социальными группами: рабочие, крестьяне, работники науки и культуры — границы здесь так же подвижны и переменчивы, как зыбки рубежи между умонастроением и внутренними установками людей. Я бы вообще не абсолютизировал классификацию по социальным признакам — изменяющая способы производства научно-техническая революция внесла существенные коррективы или во многом отменила прежние представления на этот счет. Новые технологии предъявили новые, повышенные требования к личности. Они потребовали от нее большей свободы и ответственности. Одни желают и готовы принять это требование, другие — не готовы или не способны следовать ему.

Можно было бы признать такой „водораздел“ единственно возможным и правильным, если бы дело не обстояло намного сложнее. Например, в том же аграрном секторе у нас есть коллективные хозяйства, добившиеся высокой эффективности общественного труда и соответственно предоставляющие своим работникам широкий набор современ-

ных социально-экономических благ. А есть хозяйства, например, в горных районах Грузии, с трудом сводящие концы с концами. И если первые со страхом думают о передаче земли в собственность, ибо этот акт может разладить хорошо налаженное дело, то вторые с радостью берут в аренду сенокосы и пастбища, ибо такая форма землепользования, как наиболее разумная, сулит большую выгоду.

Другой пример, пожалуй, для меня самый убедительный, черпаю в сфере межнациональных отношений, национально-государственной политики. Конституционная норма о национально-государственном суверенитете, юридически гарантировавшая республикам статус суверенных государств, на практике была нивелирована фактическим унитаризмом, жесткими канонами подчинения Центру, за которыми всегда стоял фактор силы. Перестройка устранила его, во всяком случае — на уровне провозглашенного принципа свободы выбора, пробудив тем самым надежды на восстановление реальной государственности. Поэтому во многих республиках перестройка предстала национальному большинству как долгожданный шанс обрести подлинный суверенитет. Однако интересы инонациональной части населения тех же республик кардинальным образом разошлись с устремлениями сторонников национального государства.

Бесспорно то, что перестройка была воспринята и широко поддержана как универсальная идея обновления и демократизации. Однако факт, что связанные с ней ожидания слишком сильно дифференцировались в тех или иных областях и „отсеках“ жизни и слишком часто возникавшие в них целеустановки не совпадали друг с другом. Так исподволь усиливалось „броуновское движение“,

подталкивавшее реформы к переустройству политической системы с ее ключевым и основным компонентом — властью. И когда это произошло — накопившаяся критическая масса приблизилась к точке взрыва.

Чернобыльскую аварию объясняли роковым „совмещением" множества непредвиденных факторов. Каждый из них в отдельности не вел к катастрофе, но, наложившись на другие, вызвал взрыв. По аналогии я мог бы сказать, что грозящая стране „авария" также обусловлена наложением множества противоположных тенденций. Обязаны были предсказать, предвидеть — скажут мне, и, пожалуй, я соглашусь с этим. Инженерный план перестройки основывался на выдвижении безусловно верных и прогрессивных установок, способных найти поддержку во всех слоях населения страны. Но это был всего лишь общий замысел, не учитывающий истинную тяжесть доставшегося нам наследства, всю многомерную сложность существовавших проблем. Что говорить о разной направленности интересов в тех или иных „порядках" общества, если и само руководящее ядро оказалось столь неоднородным по своему составу, столь разнилось взглядами и представлениями входивших в него людей? И опять-таки мне трудно винить кого-либо в этом. Сошлись несколько человек, решивших, что так продолжаться больше не может, а в том, как может и должно продолжаться — разошлись. И так же разошлись ориентиры, представления, пути больших, говоря языком социологов, групп.

***

У меня было желание изложить в этом разделе свои взгляды на проблему соотношения политики и экологии. Защиты от экологического коллапса. Сказать о том, что удалось и не удалось сделать.

Кое-что, конечно, удалось. Например, повернуть внешнюю политику лицом к глобальной проблеме защиты биосферы. Сформулировать принципы экологической дипломатии, политэкологии и найти людей, способных осуществлять их. Привлечь внимание мирового сообщества к последствиям чернобыльской аварии, а сейчас — предпринять усилия к созданию Всемирного экологического фонда для быстрого реагирования на те или иные катастрофы в природе.

Это, что называется, моя тема, но против воли раздумья о защите природы солидарными и согласованными усилиями мирового сообщества уходят с намеченного пути, и теперь все мысли — об экологии души, о сбережении и выявлении ресурсов нравственности, хищническая эксплуатация которых тоже поставила на грань катастрофы природу человека и человечности.

В „фокусе" этой проблемы сходятся все нервные пучки нынешних наших потрясений. Мы можем расходиться во взглядах на системы ценностной ориентации, выдвигать и отстаивать дорогие нам идеи, не соглашаться друг с другом, оспаривать чужие мнения, добиваться утверждения своих воззрений, но при этом мы не вправе забывать, что быть человеком — значит признавать человеческое и за другими. Не строить свое счастье на чьих-то невзгодах. Поступать с другими так, как вы желали бы, чтобы поступали с вами.

Вы хотели бы быть единой, живущей в границах единого государства нацией? Тогда признайте и обеспечьте право на такое же существование и за другим народом.

Мне не по себе от стенаний по поводу разрушения Берлинской стены и объединения Германии. Поразительная нравственная слепота охваты-

вает умы и души, отвернувшиеся от истинных причин раскола и его преодоления. Ведь стена в Берлине была построена не как преграда на пути врага — как препятствие перед собственным гражданином, не желающим жить по навязанному ему канону. Стремящихся преодолеть эту преграду — убивали. Что возразят на это обвинители перестройки, усмотревшие в ней „измену классовым ценностям“? Предполагаю, что в ход пойдет и сильнейший аргумент: объединение Германии повлекло за собой социальный дискомфорт для жителей бывшей ГДР. В репортажах о демонстрациях и митингах протеста по этому поводу явственно просматривается некое сладострастие: „Глядите, к чему привела ваша политика!“ Значит, не было многотысячного исхода за стену и сотен трупов в терниях колючей проволоки — застреленных при попытке перехода границы между двумя Германиями людей. Значит, им комфортнее было содержаться взаперти, чем искать счастья будто бы в чужом для них отечестве?

Удивительная аберрация — не видеть, что людям бывшей ГДР тяжко не потому, что они воссоединились с соотечественниками, а потому, что существовавший прежде режим как бы запрограммировал трудную адаптацию к условиям жизни в динамичном, высокоразвитом обществе.

Мне не по себе от телекартинок разрушений и жертв недавних бомбардировок Багдада. Дикторский текст содержит в себе явную подоснову: „Вот итог принятия резолюции 678!“ Больно глядеть на убитых и раненых, но ведь их убили правители Ирака, которым на протяжении многих месяцев международное сообщество предлагало сделать выбор мира. Он был всегда за ними, но они выбрали войну. Они выбрали ее задолго до 17 января

1991 года, убив двенадцать тысяч граждан Кувейта, и этот итог „пацифисты“ не вписывают в счета войны. Они заполняют их в угоду великодержавию и псевдоклассовым предпочтениям, освобождая себя от каких-либо соображений морали. Не потому ли сегодня безмолвствует этот „хор“ перед лицом курдской трагедии, что она тоже не вписывается в его политическое либретто?

Мне не по себе от обвинений в „поспешном выводе советских войск из стран Восточной Европы“ и отнюдь не только по тем причинам, о которых я говорил выше. Есть и другой момент, Достаточно объективно проанализировать структуру оборонных расходов Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, сопоставить цифры инвестиций в социальную защиту и материальное вознаграждение офицерского корпуса в США и у нас, чтобы сделать вывод: „человеческому фактору“ в нашей армии уделяется куда меньше внимания, нежели в американской. Никуда не уйдешь от факта: на содержание вооруженных сил США расходует в два раза больше средств, чем мы. Попытки сместить акценты и исказить действительную картину не просто преследуют цель возложить вину на чужие плечи, но и отвлечь внимание от многолетней практики узаконенного пренебрежения реальными нуждами, запросами и интересами человека в военной форме. Вывод войск из стран Восточной Европы, предпринятый по требованию суверенных правительств, обнажил это вопиющее несоответствие. Чтобы закамуфлировать его — развязали „войну слов“ против политики нового мышления.

* * *

Чернобыль в сфере морали произошел задолго до апрельского взрыва 1986 года. Он был сплани-

рован и осуществлен системой, тем самым поставившей под вопрос свое будущее. Теперь, когда оно стало настоящим, ей приходится расплачиваться за это. Не имея в своем распоряжении иных средств, кроме тех, которыми она обеспечивала в прошлом свое существование, — пытается вновь прибегнуть к ним.

События последних месяцев более чем убедительно свидетельствуют об этом. И для меня в них наиболее показательно параллельное развитие двух процессов: применение силы и подавление гласности. Собственно говоря, эти процессы явно совмещаются в одном русле антиперестроечных тенденций: январские события в Прибалтике совпали с „перестройкой" государственного телевидения, сопровождавшейся закрытием прогрессивных программ и изгнанием из студий популярных журналистов.

В своем первом после отставки интервью Центральному телевидению я счел необходимым сказать об этом. Однако московские телезрители не услышали моих слов в поддержку изгнанных — этот фрагмент оказался отсечен. Остается в очередной раз признаться в недооценке противостоящих перестройке и гласности сил.

От признаний подобного рода один шаг к покаянию, и я готов его сделать. Слова о наивности инициаторов перестройки отношу в первую очередь на свой счет. Мне казалось, что правда — всесильна, что достаточно огласить ее, и она начнет свою производительную работу. Теперь я вижу, что жестоко ошибался: производительность правды во многом зависит от готовности общества востребовать ее и от состояния, в котором пребывают умы и души людей, взявших на себя смелость распространять слово правды. Публицистов, кото-

рые, говоря словами А.В. Луначарского, пишут письма обществу.

„Какие письма?" — спрашиваю я себя сегодня. Письма ненависти, вражды, непримиримости или взывающие к консолидации, гражданскому миру, конструктивному сотрудничеству послания? Ответ перед глазами и предопределен он тем же состоянием умов и душ, формировавшемся годами внутренней войны всех против всех. Отсюда и „запреты на профессию", и обжигающие ненавистью к „демократам" полосы газет, и ответный огонь на уничтожение, ведущийся новорожденной бесцензурной прессой. Мне претят нападки на нее, но в равной мере тревожит явная тенденция либерально-демократической печати взять на вооружение приемы и средства пропаганды ненависти. Такая „правда" столь же непроизводительна, как и ложь. И совершенно прав Ричард Никсон, когда он говорит, что „потенциал перестройки растрачивается зря в атмосфере взаимных обвинений, нетерпимости и откровенной личной вражды"*.

Мы крепко схвачены собственным прошлым. Монополия на власть сыграла с нами скверную шутку, приучив утверждать понимание истины исключительно в манере атак и осад. И то и другое чревато разрушением здания, ради новой жизни которого и затевалась перестройка. Убрав цензурные ограничения, не смогли — да и могли ли? — привести в действие ограничители, образуемые сплавом свободы, культуры и ответственности. Не было и не могло быть таких ограничителей у нас, выросших в тотальной неволе. И вот теперь, думая, что освободились от нее, пестуем и лелеем в себе несвободу. Мало сказать, что гласность не выдержала испытания, — мы сами не выдержали испытания

*Никсон Р. Момент истины. — Новое время, № 13. 1991. С.12.

гласностью. Чернобыль в сфере морали совместился с Чернобылем в сфере распространения идей. В силу той же ментальности предостережения звучат в форме окриков и ярлыков, и лишь сравнительно недавно была сделана попытка научно осмыслить феномен „высвобождений несвободы".

„Нынешнюю публицистику часто путают с политической оппозицией", — пишет ученый-социолог, и я соглашаюсь с ним. Но это разные вещи. Оппозиция — элемент демократического государственного устройства, придающий динамику развитию общества путем выдвижения политических альтернатив. Она существует в рамках государства и лояльна по отношению к государству и его институтам.

Публицистике в ее газетно-журнальном и политическом вариантах лояльность чужда. Она не видит альтернативы в рамках существующего государства и полагает необходимым его разрушить, чтобы начать все сначала: надо, дескать, ликвидировать Союз — эту „тюрьму всех народов", и, как только его не станет, все народы соберутся сами и заживут дружной семьей ...

Какая мотивация у публицистики? Трудно сказать однозначно. Это и жажда популярности, и личное тщеславие, и добросовестное заблуждение: иллюзия возможности построения нового общества с чистого листа — быстро и сразу. Все вместе образует революционный синдром — крайне опасную для общества болезнь сегодня*.

* * *

Одно рассуждение тянет за собой другое. Нашу перестройку назвали мирной революцией, и я сам

---

*См.: Ионин Л. Чем мил Фамусов? — Новое время, №12. 1991. С. 10.

охотно произносил это определение. Но теперь, когда в недрах „мирной революции“ столь явственно вызрели зародыши насилия — остерегусь от подобных дефиниций. Русский философ Николай Бердяев выводит революцию из общественно-государственных недугов как кризис, который либо возродит страну, либо убьет ее. Я, естественно, выступаю за возрождение и переустройство Союза государств, но лишь на такой основе, которая одновременно обеспечит и крепость его, и подлинный суверенитет народов.

Достаточно хорошо представляя себе роль и значение Советского Союза для Европы и остального мира, я не могу не думать о том, что потрясения в такой стране, как наша, достигнув своего пика, отзовутся разрушительными толчками во всех частях света, главным образом — в Европе, и дестабилизируют общеевропейскую ситуацию.

Мы говорим о создании общеевропейских пространств, значительной частью которых является нынешнее единое экономическое, правовое, политическое пространство Советского Союза. Его разрушение внесет в жизнь миллионов людей колоссальные лишения и страдания. Не говоря уже об экономических и экологических проблемах, могущих скачкообразно увеличить свою массу, существование огромных, пока еще нетронутых запасов ядерного и химического оружия, десятков Чернобылей, таящихся в беззащитных от хаоса АЭС, поставит на грань смертельного риска всю мировую цивилизацию.

Мне думается, что такое геостратегическое видение должны обрести и сторонники выхода из Союза. Они обязаны оценить угрозу существованию народов, возникающую в условиях резкого разрыва сложившихся связей. Необходим плавный,

регулируемый правовой процедурой переход из одного состояния в другое — при обязательном строгом учете интересов всех сторон.

Да, независимость — конституционное право каждого народа на свободу выбора и самоопределение. Когда большинство народа высказывается за такое решение, надо уважать волеизъявление народа. Другой вопрос — как это реализовать. Ведь отношения республик строились десятилетиями. Как теперь все будет выглядеть в реальной жизни? Что получится? Поэтому я и высказываюсь за серьезный, терпеливый диалог между Центром и республиками.

Недавно девять республик Союза пришли к долгожданному соглашению. С остальными, не желающими присоединяться к Союзному договору, необходимо вести переговоры на основе особого статуса.

При всей моей приверженности принципам прав на самоопределение и свободу выбора мне трудно отвернуться от вопроса: какой ценой они будут реализованы?

Здесь перед нами все та же проблема нового мышления. Мы по-прежнему находимся в плену традиционных представлений. Одно из них — о возможности обрести счастье через несчастье. „Через тернии — к звездам!" Но это кредо гения, силой своего титанического „я" противостоящего невзгодам, а главное — суверенно сделавшего такой выбор, не применимо к целому народу. Ведь и тернии могут быть таковы, что, смертельно обескровив народ, навсегда или надолго лишат его звезд. Пора бы также условиться, что народ — не простая „сумма слагаемых", а сложное соотношение личностей, права и благо которых недопустимо приносить на алтарь пусть даже и самой

возвышенной идеи. Право на жизнь, на личную неприкосновенность, на свободу от посягательства на покой, благополучие, возможность располагать собой, не становясь игрушкой в руках слепой стихии.

В истории революций меня давно смущал один момент: совершаясь во имя блага народа, они угрожали суверенитету личности. Идея превращалась в топор гильотины, заносимый над головой, осмелившейся вынашивать контридею. Массовый моральный и физический террор против инакомыслия уничтожал элитное ядро, тем самым суживая исторические перспективы и шансы народов.

Все это воспринималось умозрительно, посредством отвлеченных примеров. И вдруг — непосредственно коснулось нас, ныне живущих людей, и поставило перед нами жесткий вопрос: да имеет ли вообще кто-нибудь право сообразно собственной воле и в угоду собственным представлениям вести личность, а тем самым народ — на заклание? Моя жизнь — это моя жизнь, ваша жизнь — это ваша жизнь, и позвольте нам суверенно распоряжаться ими. Иное — тот же тоталитаризм, только уже в другой упаковке. Но от этого, увы, он не перестает быть тоталитаризмом.

Все это уже было, было, и к чему привело — известно. Но где же и в чем тогда искать выход? В примерах интеллекта, явившего идею укрепления и развития национального суверенитета через интеграцию в наднациональных структурах. В примерах тех же стран Западной Европы, в полной мере обладающих развитой экономикой, богатыми демократическими институтами и традициями, но тем не менее осознающих жизненную необходимость союза перед лицом многочисленных вызовов времени. Тем более союз необходим народам, обес-

силенным десятилетиями подавления.

Зерна нового мышления были заронены в почву человечества давно, но ростки дали только сейчас. Почему? Потому что только наше время подвело человечество к осознанию грозящих ему опасностей. Я хочу верить — и верю! — что осознание не менее серьезных угроз неизбежно подведет союзные республики к необходимости единения, но уже на качественно иной основе. Подведет самой силой и характером реальностей, проигнорировать которые будет невозможно. Только бы не задержалась в пути новая мысль, только бы поскорее овладела умами!

Политики обязаны просчитывать все ходы и их последствия и никогда не основываться только на оптимально благоприятном исходе. Примерно так же я рассуждал о проблеме объединения Германии. К тому же есть история, ее уроки и опыт. Как историк я хорошо знаю, к чему приводили народы катаклизмы. Для меня невыносима мысль о жертвах маленького беззащитного человека, на которые его вынуждают во имя „идеи". Сколько невинных жертв погребла под собой та же Берлинская стена! Разрушить стены в Европе, чтобы нагородить их на огромном евразийском пространстве?

Нет, повторюсь: это уже было, но уже не должно, не может быть!

* * *

При всех своих драматических поворотах перестройка создала условия для формирования нового содружества суверенных государств. Она устранила силу, скреплявшую весьма разнородные составляющие. Теперь, когда этот „цемент" искрошен, речь должна идти о другой силе — силе жизненной необходимости. На иной язык эта сила переводится

как базис союза суверенных государств, то есть экономика, способная сплотить их воедино общностью жизненных интересов. В нашем случае — нормальная рыночная экономика.

Но здесь мы вновь сталкиваемся с проблемой разума.

Сон разума рождает чудовищ. Но и пробуждающийся разум рискует тем же, если летаргия была столь же продолжительной, как у нас.

Учли ли это архитекторы перестройки? Все ли учли, чтобы предотвратить опасные перекосы реконструируемого здания? И способны ли были учесть, оставаясь питомцами своего времени со всеми господствовавшими в нем ориентирами и представлениями?

На эти вопросы у меня есть только один ответ: нет! Если называть вещи своими именами, то невозможно не признать: сверхжесткий механизм системы, настроенный на конфронтацию и смонтированный ею, не выдерживал перегрузок продуцируемой им же войны всех против всех и разрушался на глазах.

Началось это задолго до перестройки.

Спрашивая себя, в чем мы ошиблись, я вновь и вновь прихожу к выводу: ошибки в главном не было. Перестройка была необходима, но выбор средств, инструментов, темпов работы лимитировался дефицитом должных представлений. Все тем же состоянием умов, взращенных в неволе. Библейское предание о десятилетиях хождения по пустыне, чтобы народились поколения свободных людей, обрело вполне современное практическое звучание.

Так что же, перестройка должна была растянуться на десятилетия? Ни в коем случае, хотя ясно, что выход из пустынь тоталитаризма не мог

быть быстрым. Мы начали это движение, но слишком часто отклонялись от этого курса. И чаще всего это происходило во внутренней сфере.

* * *

Моя версия трагических неудач перестройки лишена каких-либо мотивов самооправдания. Я постоянно подчеркиваю: „Моя вина“. Говоря о достижениях, не ставлю их в заслугу себе: они стали возможны благодаря осознанию необходимости, вызревшему в умах многих людей. Критикуя административно-командную систему, не стремлюсь, подобно ей, зафиксировать еще один фантом врага. Мой анализ должен быть трезв и непредвзят.

Три кита, три устоя системы — централизованная экономика, политическая система с ее главным звеном — партийно-государственным аппаратом, унитарное государство — объективно не могли самореформироваться, добровольно уступить свои „завоевания“. Столь же объективно недоучет, игнорирование интересов представляющего их истеблишмента не мог не вызвать реакцию: сначала — неприятие перестройки, затем — сопротивление ей.

Нападки на перестройку или попытки свернуть политику нового мышления объясняются тем, что и ее теория и практика разрушали этот монолит изнутри. Отказ от глобальной конфронтации и примата классовой борьбы, приоритет общечеловеческих ценностей, плюрализм мнений и политических свобод справедливо расцениваются системой как взрывные устройства. Их слом — главная для нее задача.

При всем моем желании видеть страну другой роль разрушителя я себе не отводил. Разрушение всегда чревато риском гибели под развалинами.

Это — во-первых. Во-вторых, и с житейской, и с политической точек зрения неразумно закрывать глаза на реальные интересы тех или иных групп, делать вид, будто их не существует.

По-моему, главный просчет — в этом. Выше я говорил об известной наивности реформаторов. Могу сказать и жестче: мы стали жертвами политической безграмотности. Пытались создать новую реальность старыми способами — спуская сверху директивы. Но ведь директивы, будь то постановления или указы, принимаются к исполнению лишь той общностью, которая связана с командным центром единством интересов либо узами повиновения и страха. Когда их нет — директива не работает.

Впрочем, откуда и быть политической грамотности, если в условиях монополии на власть она и вовсе была не нужна? Если искусство управлять легко заменялось навыками приказного принуждения?

Так как же все-таки надо было нам действовать, чтобы не подпилить сук, на который нас поместила система?

У меня перед глазами пример конверсии оборонной промышленности. Тот ее метод, который начал у нас осуществляться, больно ударил по положению и интересам сотен тысяч людей. Основа нашей индустрии — военно-промышленный комплекс, аккумулировавший недюжинный интеллект, знания, опыт, самую передовую технологию, — начала разрушаться. Я знаком со многими предприятиями и их руководителями — это прекрасные предприятия и замечательные руководители, — и я разделяю их недовольство тем положением, в котором они оказались. Этого можно было бы избежать, разработав общегосударственную, научно обоснованную программу глубокой конверсии и со-

циальных гарантий работникам „оборонки". Вместо этого — спущенный сверху приказ и поспешные непродуманные действия „для галочки".

Об армии я уже говорил. Было время позаботиться о практическом наполнении политических заявлений.

Аппарат? С ним ведь тоже обошлись не по-людски — и в пропагандистских обличениях, и в практическом жизнеустройстве. А ведь аппарат — это тоже тысячи толковых работников и членов их семей, люди, которых одним махом, по законам тотальной мести, превратили в парий. Огульно, под одну гребенку, как в старые недобрые времена, взяв на вооружение приемы той же номенклатуры. Ко всему этому, забыв, что кроме аппарата — есть партия, девятнадцать миллионов человек. Что в первую очередь большинство в ней желает перемен, а посему и должно быть опорой перестройки. Но для этого и оно само, и аппарат должны были быть перестроены.

Промедлили с этим, упустили возможность создать настоящую демократическую опору, которая помогла бы относительно безболезненно пройти этап отмены монополии на власть. Отменили 6-ю статью Конституции лишь под давлением общественности.

Унитарное государство? Переход к демократическим формам правления должен был совершиться плавно, без скрежета, не ломая сложившихся структур, а постепенно видоизменяя их. Вообще, постепенность эволюции — мой приоритет, и я отстаивал его. Предлагал поэтапную стратегию действий. Не прошло. И получилось, что правильный шаг в сторону правового государства нанес урон исполнительской власти. Теперь же говорим о ее параличе.

Провозгласив свободу выбора, мы не позаботились вовремя о формах, в которых она могла быть реализована внутри страны. Уже в 1988 году прозвучали массовые требования о переустройстве национально-государственной системы, но они были проигнорированы, и лишь реальность распада Союза вынесла это проблему в плоскость практических решений.

С самого начала было ясно, что централизованная административно-командная экономика несовместима со свободной саморегулирующейся экономикой, однако программы перехода к рынку начали разрабатываться лишь в условиях прогрессирующего разрыва хозяйственных взаимосвязей.

Очевидна была необходимость оздоровления денежно-финансовой системы, переналадки механизмов ценообразования, но мы страшились народного недовольства, утраты широкой поддержки перестройки. И в то же время принимали абсолютно непопулярные, а главное — неверные решения, продиктованные все тем же административно-командным менталитетом: „Прикажем перестать производить и потреблять алкоголь — и страна перестанет ...“

Формировались институты представительной демократии, но при совершенно очевидном намерении встроить в них „узлы“ государственного механизма. Делалось это весьма избирательно. Ни один дипломат не стал членом парламента, что представлялось мне правильным, зато непомерно широкое представительство получили армия и военно-промышленный комплекс. Довольно большая часть депутатов парламента получила мандаты, минуя прямые выборы. К чему привел такой неведомый ни одной развитой демократии симбиоз — известно.

Так нами же самими была создана ситуация, в

которой мы оказались. Она заставила действовать с оглядкой, медлить, принимать половинчатые решения, лавировать. Момент, когда можно было опереться на истинно демократические силы, был упущен. В то же время на союз с ними страшились идти.

Готов повторить: все, о чем веду речь, в чем вижу просчеты и ошибки, — адресую самому себе. И даже отставка — давайте называть вещи своими именами — акт несогласия, протеста и одновременно предостережения, не оправдывает меня. Многое из того, что происходило вокруг, вызывало тревогу, предощущение неминуемого слома, и я говорил об этом Генеральному секретарю, а затем — Президенту. Но при этом ни на мгновение не забывал, сколь сложно его положение, сколь противоречивому и многостороннему воздействию он подвергается. Ему постоянно приходилось делать выбор, и не каждый выбор был мне по нраву. Об этом я тоже говорил ему в доверительных беседах, вступать же в прямую и открытую оппозицию не считал возможным, и на то видел много причин. Во-первых, Горбачев олицетворял собой перестройку, и выступление против тех или иных его решений было бы выступлением против перестройки. Понимая, как трудно лидеру, я не хотел, не мог лишать его своей поддержки. Во-вторых, предельная сосредоточенность на внешнеполитических делах не позволяла надолго отвлекать силы и внимание на внутренние дела и, что, пожалуй, более важно, сузить тем самым свои возможности как министра иностранных дел. Большую часть рабочего времени занимали переговоры дома и за рубежом, согласование позиций с партнерами по внешнеполитическому комплексу страны, структурная перестройка МИДа. Мы работали в режиме, кото-

рый иначе как адским не назовешь. Темп работы был чрезвычайно интенсивным, объем ее — огромным. Разумеется, дело отнюдь не в количественных показателях. Посетив за эти годы около шестидесяти стран, мы стремились придать нашей внешней политике новый характер, новые качества ...

Каждая из этих миссий требовала больших усилий, но самой трудной оказалась та, что была связана с домашними делами. Пожалуй, я должен сказать о ней — мое решение об отставке начало вызревать именно с того времени.

* * *

Вечером 7 апреля 1989 года Горбачев и я вместе с ним вернулись в Москву из Англии. В аэропорту Внуково–2 нам сообщили, что по настоятельным просьбам руководителей Грузии в Тбилиси направлено подразделение внутренних войск, до того переброшенное в Армению из Тбилиси же. Просьбы, нам сказали, мотивировались необходимостью поддержания порядка, угроза которому возникла в связи с начавшимся 4 апреля несанкционированным митингом на проспекте Руставели у Дома правительства. Сообщение встревожило меня — память и опыт сильнее любых слов, любых заверений. События 1956 и 1978 годов сформировали синдром категорического неприятия использования силы как средства разрешения политического конфликта, тем более в условиях массового скопления людей. Поэтому меня обрадовали слова Горбачева: „Во что бы то ни стало урегулировать ситуацию политическими средствами. Для этого, если надо, — Шеварднадзе и Разумовскому вылететь в Тбилиси“. Он предложил мне позвонить в столицу Грузии и установить необходимость нашего выезда туда.

Я позвонил. В ответ услышал: „Положение кон-

тролируется. В вашем приезде необходимости нет". О чем я и сообщил Горбачеву. Впоследствии мне стало известно, что в тот момент воинские подразделения — и не только внутренние войска — уже перебрасывались в Тбилиси. К утру 8 апреля были там, а днем на том же проспекте Руставели — провели демонстрацию силы. Она имела эффект, противоположный задуманному: вместо устрашения — вызвала взрыв негодования, желание сплотиться и в сплочении обрести спасение. Надо иметь абсолютно искаженные представления о национальной ментальности, чтобы безбоязненно прибегать к такой мере, как „прогулка" танков и боевых машин пехоты по главной столичной улице. Люди ложились под них — потому что в их генах уже не было страха, посеянного репрессиями былых лет. Не было страха — ярость оказалась сильнее, потому что поверившие в перестройку люди убедились: в 1989 году против них действуют теми же методами, что и против их отцов в 1956-ом...

Можно по старинке называть их „экстремистами", „сепаратистами", „антисоветчиками", но я бы поостерегся оперировать этим арсенальным набором былых лет при виде восемнадцатилетней девушки, бесстрашно ложащейся на асфальт под надвигающиеся гусеницы танков. Ибо в этом случае необходимо прежде всего уяснить, с чем вы имеете дело: аномалией личности или стихийным протестом жаждущей свободы души против патологии власти.

10 апреля мне предстояло лететь в Берлин, на очередное заседание Комитета министров иностранных дел стран — участниц Организации Варшавского Договора. Но уже 9 апреля утром мне сообщили, что на рассвете в ходе силового разгона митинга в Тбилиси погибли люди и надо лететь

туда. Во второй половине того же дня я был на месте трагедии.

Позволю себе опустить здесь признания о пережитом в те первые и последующие часы пребывания в столь дорогом мне городе. В силу целого ряда причин я намерен со временем самым скрупулезным образом изложить обстоятельства и подробности этой, самой трудной в моей жизни миссии, мои знания и представления о причинах событий 9 апреля. Сейчас же веду о них речь лишь в тематическом русле этой главы.

К каким выводам я пришел, ознакомившись на месте с обстоятельствами происшедшего?

Во-первых, численность и состав митингующих, среди которых было много женщин и подростков, полностью исключали какую-либо допустимость применения силы для разгона митинга.

Во-вторых, „силы вытеснения" применили средства, абсолютно неприемлемые в таких случаях.

В-третьих, ответственные за это лица на протяжении всего моего пребывания в Тбилиси скрывали факт применения химических средств и лишь на восьмой день под давлением неопровержимых улик были вынуждены признать это, заметив, однако, что они „не знали о наличии таких средств" в боевых порядках.

В-четвертых, командовавший операцией генерал нарушил полученный им приказ, предписывавший взять под охрану ряд объектов, а не разгонять силой митинг.

В-пятых, какие бы решения о военных мерах ни принимались местными партийными и государственными органами — без санкции Министерства обороны они не могут быть осуществлены. Поэтому неправомерно винить в происшедшем только местное руководство.

Наконец — и это, пожалуй, наиболее существенный момент — на всех предшествующих трагедии этапах и после нее информация о происходившем либо искажалась, либо пресекалась механизмами цензуры. Поступавшие в Центр сведения фабриковались аппаратным устройством, настроенным на выдачу информации по принятым в системе шаблонам. Лозунг правды и гласности был снят и отброшен машиной, абсолютно не приспособленной для его реализации. Иными словами, система сработала в привычном режиме, дав бой за жизненное пространство, которое отбиралось у нее перестройкой. Она нанесла удар перестройке, но, как показали дальнейшие события, это была пиррова победа.

О своих выводах я доложил на заседании Политбюро, потребовав самого тщательного и беспристрастного расследования причин и обстоятельств трагедии. Еще в Тбилиси по моему предложению была образована специальная комиссия, в которую, опять-таки по моему настоянию, были введены наиболее авторитетные, квалифицированные юристы и общественные деятели. Впоследствии в Москве была создана аналогичная парламентская комиссия во главе с Анатолием Собчаком. Ей предстояло дать политическую оценку событиям 9 апреля. Параллельно велось следствие, осуществляемое главной военной прокуратурой.

Доклад комиссии Собчака был включен в повестку дня второго Съезда народных депутатов СССР. В задачу комиссии входило не просто установить причины трагедии — сформулировать выводы о пределах применения силы, в данном случае армии против народа, о правовых основаниях разрешения подобных критических ситуаций. Иначе говоря — о том, как действовать впредь в изме-

нившихся общественно-политических условиях, требующих отказа от прежних методов наведения порядка и разработки новых, приемлемых для демократического общества мер. Такой, во всяком случае, виделась мне цель парламентского слушания. Что же касается уголовно-правовой квалификации, то ее должно было дать следствие, которое на тот момент еще не завершилось.

С основными выводами комиссии были ознакомлены все стороны. Все приняли их. Насколько мне известно, свое согласие с ними выразила и грузинская депутация. Было условлено, что доклад и оценка комиссии будут приняты без дебатов и лягут в основу постановления съезда. Однако на следующий день, 24 декабря 1989 года, после выступления председателя парламентской комиссии слово было предоставлено главному военному прокурору. Всеми своими положениями и оценками его содоклад разошелся с парламентским докладом. Жертвы трагедии оказались в роли обвиняемых, действия атаковавших митинг сил названы правомерными. Но не один лишь „доказательственный ряд" вызвал мое возмущение — сама атмосфера, в которой он излагался. Ему аплодировали так горячо, с такой нескрываемой мстительной радостью, с какой еще недавно в том же зале встречали шельмование академика Сахарова. Аплодировали не только депутаты — мои соседи по правительственной ложе. Эти рукоплескания потрясли меня тем, что в них открывалось. Не истину чествовали коллеги — силу и неправду, несправедливость и торжество клановых интересов. „Наша взяла!" — слышалось в овации, устроенной военному прокурору.

В перерыве я потребовал, чтобы мне дали слово. Я хотел выразить свое отношение к происходящему и показать его пагубность для молодой нашей

демократии. Без обиняков высказаться в адрес тех, кто грозит кулаком перестройке. Предостеречь от возможных последствий. Раскрыть обстоятельства, в которых приходилось действовать, чтобы нормализовать ситуацию в Тбилиси: только обещанием объективного расследования причин трагедии и привлечения к ответственности виновных, кем бы они ни были, удалось вернуть учащихся в школы, студентов — в аудитории, рабочих — в цеха, женщин — к домашним очагам. Это обещание оказалось невыполненным, и в глазах людей, которым оно было дано, я предстал нарушителем слова. А это уже проблема не уязвленной позиции — авторитета власти, доверия к ней.

Горбачев отказал мне в выступлении. Возможно, он хотел загасить разгоревшийся пожар. По моему же мнению, пожар начался раньше, но лишь сейчас открыто вырвался наружу. Его невозможно было унять мерами лавирования и обходных маневров. Надо было прямо установить масштабы грозящей опасности и предупредить о ней страну. Такой возможности я не получил. Покинул зал заседаний съезда и в тот же день продиктовал заявление об отставке. В нем не было слов о диктатуре, но слова о надвигающейся реакции и протеста против нее — были. Я полагал, что к ним следует отнестись серьезно. И мне показалось тогда, что они услышаны моим другом. Только поэтому я внял его уговорам и остался. Однако дальнейшее развитие событий, целая серия больших и малых Чернобылей указали мне на то, что мы имеем дело не со случайными эксцессами, а со стойкой тенденцией, углубляющейся день ото дня. День ото дня возрастало давление справа и ослабевала поддержка слева, и надо было либо вмерзнуть в льдину и дрейфовать вместе с ней, либо лавировать

между льдинами, рискуя быть раздавленными ими. Либо — и это было единственно правильное и возможное для меня решение — искать выход к открытой и чистой воде, где вести плавание по намеченному курсу.

Первый и второй варианты меня не устраивали. Третьего добивался всячески и, когда исчерпал все шансы, сделал то, что сделал. Для меня невыносима была мысль, что, не сделай я этот шаг — буду вынужден участвовать в том, что никак не согласуется с моими убеждениями. И еще я хотел предупредить, заставить задуматься: куда мы идем и что делаем? Остаемся ли верны перестройке или желаем вернуться к прошлому?

Никакая, даже самая точная и емкая гипербола не заменит фактов. Однако приводить и анализировать факты из области внутренней политики, предопределившие мое решение, не считаю нужным: слишком уж они на виду, чтобы вновь повторять их. Диктатуру рождают безвластие, анархия, хаос, небезуспешное стремление подорвать изнутри законную власть и вынудить действовать по-своему либо вовсе заменить ее. В условиях усиливающегося кризиса экономики и снижения уровня жизни рассчитывать на широкий отпор реставрации тоталитаризма не приходится.

Что же касается фактов, относящихся к сфере нашей внешней политики, фактов внутреннего противодействия ей и столь же небезуспешных попыток изменить ее, то приводить и анализировать их пока не считаю возможным. Пока продолжаются переговоры и есть шанс спасти соглашения, подвергшиеся своевольной внутренней коррекции, говорить об этом я не вправе. Всему свое время и место. Сейчас же приходится прибегать к языку гипербол: не желая вмерзать в лед или отступать

перед ним, я предпочел встать у него на пути. Пусть я не остановил его и лишь ненамного задержал разлом — для одного человека это немало. А самое для меня главное — то, что я открыто выразил нежелание быть мореной во льду. Предостерег многих хороших людей от такой участи, призвал их сплотиться и стать преградой.

К сожалению, моя интуиция не обманула меня. Вспомните январь 1991 года в Прибалтике. События 28 марта в Москве, противостояние войск и демонстрантов. Звучащие на различных форумах требования ввести чрезвычайное положение...

К счастью, демократическое движение вышло из оцепенения, перешло к активным действиям, направленным к консолидации, к формированию структур, способных противостоять сплоченным силам реакции.

* * *

Тезисы своего заявления об отставке я написал рано утром 20 декабря 1990 года. Этому предшествовала бессонная ночь. На рассвете позвонил дочери в Тбилиси и известил о принятом решении. Жена узнала о нем раньше. Близкие поддержали меня. Потом, перед выездом в Кремль, сказал двум моим ближайшим помощникам и выслушал в ответ те же слова поддержки.

Говорят, мое выступление было „непричесанным", сбивчивым, крайне эмоциональным. Возможно, это так. Хотя, говоря откровенно, я сказал все, что хотел сказать, и так, что иначе, наверное, сказать бы не мог. Многим мое выступление показалось недосказанным, и они принялись читать между строк. А один хороший публицист даже „дописал" за меня мой „непричесанный" текст: „Политика — это искусство возможного. И своей

профессиональной деятельностью я достаточно доказал свою приверженность методу компромисса. Но не может быть компромисса за счет самой политики, ее сути, ее святой цели. И нам нельзя терять темпа — это просто опасно. Не личный каприз, а насущная общественная потребность диктует в сложившихся условиях необходимость ясной, абсолютно бескомпромиссной поддержки нашей линии во внешней политике. Этого не происходит.

Так я вижу ситуацию. И поскольку я вижу ее так, мне не остается ничего иного, кроме как уйти в отставку"*.

Все верно. Это именно то, что я сказал, но — другими словами. И не столь уж „темным" оказался мой текст, если журналист вычитал в нем это.

„Платон мне друг, но истина дороже". А она состоит в том, что я не покинул друга, точнее — не я покинул его. Скажу больше: своей отставкой я хотел помочь ему спасти дело. Другой вопрос, как мы распоряжаемся выпадающим на нашу долю шансом. Иногда я думаю о том, что у человека нет более опасного недруга, чем он сам. И прежде чем находить друзей вокруг себя, надо обрести друга в самом себе. Но это уж как у кого получается.

16 января 1991 года, прибыв в МИД СССР, чтобы лично ввести в должность нового министра, Михаил Сергеевич Горбачев сказал обо мне немало добрых слов. В частности: „Он был рядом всегда, самым близким товарищем — во всех сложнейших ситуациях и, самое главное, — в выборе".

Да, это действительно главное — выбор. Выбор пути, линии поведения, союзника, друга. Это от-

*Пумпянский А. Несказанное. — Новое время, №2. 1991. С. 23.

нюдь не только личный выбор — его предоставляют время, идея, принципы, дело. И они же кладут ему предел. Ведь выбор — не односторонний акт. Вы выбираете, но и вас выбирают, и если выбор совпадает — все в порядке. Если же возникают несовпадения, то приходится делать другой выбор.

Я его сделал и не жалею о нем.

Среди многих других прощальных слов Горбачев произнес и такую фразу: „Для меня было странным, почему он не посоветовался со мной. Я ему сказал: этого я тебе никогда не прощу“. На что я в шутливом тоне ответил, что принимаю все сказанное в мой адрес, кроме слов „никогда не прощу“.

Впоследствии в личной беседе Горбачев сказал, что по-человечески понимает меня.

Что ж, как человек я тоже хорошо понимаю его.

В последнее время мне не дает покоя одна, вычитанная у Вацлава Гавела, мысль: „Система служит человеку лишь в той мере, какая необходима для того, чтобы человек служил ей; все, что „сверх этого“, то есть когда человек превышает свое заранее ограниченное положение, система рассматривает как атаку на себя. И она права: каждая такая выходка действительно отрицает ее как принцип ...

Ее лидеры — несмотря на ту огромную власть, которую им предоставляет централистская система, — часто являются не чем иным, как только слепой функцией системы. Опыт учит нас: „самодвижение“ системы проявляет себя сильнее, чем воля отдельного лица; если даже кто-то и обладает определенной индивидуальной волей, то вынужден долго скрываться за ритуально-анонимной

маской, чтобы вообще получить шансы в иерархии власти. А если он все-таки в этой иерархии добьется своего и попытается осуществить свои замыслы, то раньше или позже „самодвижение“ своей огромной инерционной силой одержит над ним победу, и он будет или изгнан из структуры власти, или же вынужден постепенно отказаться от своей индивидуальности, слиться с „самодвижением“ и стать его служителем, почти неотличимым от тех, кто был перед ним, и от тех, кто придет вслед за ним“*.

Я отношу эту мысль и к себе. Только к себе. Она вызывает во мне сложные раздумья, одновременно горькие и радостные.

Все было так, но я осуществил свои замыслы, не отказался от самого себя и не дал системе одержать над собой победу.

Прошу верить мне: это не гордыня, а констатация факта, слишком значительного для моей будущей жизни, чтобы замалчивать его.

* * *

„Покаяние“ завершается блестящей метафорой. Старая женщина спрашивает героиню ленты, ведет ли избранная ею дорога к храму. Нет, отвечает героиня, эта улица носит имя тирана и поэтому она не ведет к храму. Странно, замечает старуха, зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?

В одном из интервью Тенгиз Абуладзе назвал меня своим соавтором. Конечно же, это благородное и великодушное преувеличение, но сейчас, пожалуй, я приму его, чтобы без боязни быть обвиненным в плагиате использовать этот, очень близкий и дорогой мне образ.

Можно ли достичь высокой цели низкими, не-

---

* Гавел В. Сила бессильных. — Новое время, №16. 1991. С. 42–43.

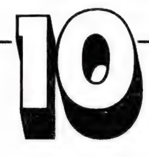
достойными средствами? Можно ли, взыскуя истины, — лгать ради нее? Добиваться справедливости неправедными способами? Старые как мир вопросы, и спор вокруг них ведется целую вечность. И похоже, что верх берет столь же неизменный ответ: „Если нужно, то можно". Но почему же тогда остается неистребимой в веках фигура одинокого героя, хранящего верность идее праведного пути к храму? Жизнь на каждом шагу убеждает в невозможности следовать такой дорогой, а он продолжает идти?

Я не праведник, не герой, но я не одинок. Уже не одинок — такое наступило время, когда все больше людей в нашей стране убеждаются, что лишь та дорога приведет к храму, которая достойна его. А убеждаясь — живут и действуют соответственно. Так исключительный образ мышления, требующий самоотречения и жертвенности, становится общепринятой нормой человеческого бытия. Рано или поздно политике придется считаться с этим.

Самый благородный знак препинания — точка, — любят говорить журналисты. И я бы поставил точку, но чувствую — рано. Надо продолжать начатое. Жить ради этого, говорить, писать, действовать.

В этой книге — заявка на будущее. За пределами ее осталось множество дней и лет, людей и событий прошлого, о которых стоило бы рассказать. Но поскольку книги пишутся для будущего — только оно и способно установить истинную цену сделанного и сказанного. Надеюсь, я дождусь этого времени и смогу принять любой его приговор.

АВГУСТ 91-ГО. "ТЕНИ" ВЫХОДЯТ НА СВЕТ



Я не желал такого послесловия. Четыре месяца назад, завершая эту книгу, я писал о том, что только будущее способно установить истинную цену сделанного и сказанного.

И вот будущее стало настоящим, и цена — установлена.

Мне не свойственно тщеславие политика, гордящегося умением верно прогнозировать ход событий. Не присуща привычка удовлетворенно восклицать: „Я же говорил!..“ После отставки мои друзья и близкие не раз слышали от меня: „Я буду счастлив, если мой прогноз не оправдается“. Оправдался, и я не чувствую себя счастливым.

Вместе со всеми я потрясенно размышляю сейчас о пережитом в эти дни и ночи.

События 19—21 августа 1991 года отбрасывают мощный „обратный“ свет на экран памяти и многое на нем высвечивают по-новому. Этот свет режет глаза, но не ослепляет. Наоборот, прибавляет зоркости. Разрозненные факты, наблюдения, мысли, догадки, внезапные прозрения, возникающие и исчезающие сомнения — эти ранящие сердце и ум осколки жизни, которые заставили меня поступать так, а не иначе, — сложились теперь в цельную мозаику.

Все, что я думал о ползучей диктатуре, подбиравшейся к завоеваниям перестройки, — сказал в этой книге. Остается добавить немногое, но весьма существенное.

Два прошедших года, начиная с апреля 1989-го, меня не покидало чувство подавленности. Я был угнетен происходившим в стране, вокруг меня и во мне самом. Все отчетливее вызревал вывод о реальности взрыва, названия которому не мог найти, но чаще других в сознании всплывало слово „диктатура". Это состояние достигло пика на рассвете 19 августа, когда, разбуженный голосом диктора, я узнал о введении в стране чрезвычайного положения.

Все то, чего я страшился, о чем предупреждал, — произошло. Но странное дело — я испытал некое чувство облегчения. Освобождения от груза, который долгие месяцы лежал на сердце.

Все, что томило душу, не давало покоя, загоняло мысли в бесконечные лабиринты вопросов: „Кто? Как? Почему?", — вмиг развеялось и исчезло, как исчезает туман под порывами сильного ветра. Наступила удивительная ясность. Все было теперь открыто — имена, намерения, действия. Тайное перестало быть тайным, смутные тени обрели четкость конкретных фигур и лиц.

Диспозиция, расстановка сил — определилась.

Я чувствовал, почти физически ощущал, как работает каждая клетка мозга, освобождается каждая частица моего существа, напрягаясь иной, не связанной былыми путами, энергией.

Удивительным было и то, что тревога ушла на второй план, оттесненная ясным пониманием: это заговор обреченных, его вдохновители, организаторы и участники не достигнут успеха. Дикторы читали их обращения и указы, а я думал о том, что эти слова адресованы народу, которого уже нет. Они остались в своем времени, подобном темной пещере, а народ давно вышел из нее,

и эти чудовищные призывы не найдут дороги к его уму и сердцу...

...Жена проводила до лифта. Мы простились. „Я знаю, ты готов ко всему. И я готова. Но — иди, и да хранит тебя Бог!“

Да, я был готов ко всему. Давно готов. Еще со времен жизни и работы в Грузии и тем более — после отставки. Уже на следующий день после нее, 21 декабря 1990 года, в моей квартире в Плотниковом переулке раздался звонок, и взявшая трубку жена услышала: „Звонит друг, доброжелатель вашего мужа. После его вчерашнего демарша возможно все. Предупредите его, чтобы больше не высказывался“. И положил трубку.

В тот день я сообщил об этом моему помощнику Теймуразу Степанову. Потом еще несколько человек, пользующихся моим полным доверием, сообщили мне о полученных ими из достоверных источников сведениях аналогичного характера. В контексте моих знаний о нравах системы, событий и наблюдений последних лет, набирающей высоту кампании травли в газетах „Гласность“, „Советская Россия“ и других изданиях имперско-шовинистического толка, явных следов проникновения в мою квартиру в наше отсутствие — эта информация была не пустым звуком.

Эти попытки запугать меня опоздали как минимум на двадцать лет. Все, что я должен был и мог сделать, — сделал. Все, что должен был сказать, — сказал. Оставались кое-какие детали, представлявшиеся мне малосущественными к моменту отставки. Но уже к лету 1991 года все, даже самое малое, приобрело иной масштаб и вес. И теперь уже единственным, что страшило

меня, разумеется, кроме возможной участи моей семьи, было то, что, если со мной произойдет самое худшее, — никто не будет знать до конца почему.

Знала жена. Но нужна была подстраховка — на случай, если и ее постигнет моя участь. В июне 1991 года, возвращаясь из Вены в Москву самолетом частной авиакомпании „Полстерер джетс", уже зная об отданном приказе провести расследование по поводу моих недавних высказываний, я сделал устное завещание моим друзьям и помощникам Сергею Тарасенко и тому же Темо Степанову, предупредив их, что они могут обнародовать его лишь в случае определенных обстоятельств.

Теперь, когда после провала путча вероятность наступления этих обстоятельств намного уменьшилась, — я освобождаю их от этого запрета.

Тональность этой последней главы, репортажа по живым, кровоточащим следам народной революции — иная, чем в книге в целом. И я прошу читателя проявить понимание. Книга писалась в другое время, на другом уровне осмысления произошедшего. А сейчас я пишу под сильнейшим впечатлением пережитого в последние дни, пишу под звуки траурных маршей и заупокойных молитв по юношам, павшим при защите „Белого дома" России.

Так что, если и сравнивать сказанное в книге и в этом послесловии к ней, то только общую тенденцию, общую направленность, но никак не настрой и тональность, оценки и характеристики. Эволюция процесса завершилась революцией, и это в полной мере относится ко мне самому.

И еще: пережитое потрясение и лавина инфор-

мации, резко ускорившиеся перемены и зыбкость общей ситуации наверняка вытеснят из этих заметок жесткое аналитическое начало. Волна чувств захлестывает меня, я борюсь с ней и одолеваю с трудом. Но, не желая поддаваться эмоциям, я тем не менее не хочу скрывать их. Пусть все, что овладело нами в эти дни и ночи, — станет и вашим достоянием, читатель. Это не менее важно, чем анализ, сделанный холодным ясным умом. Дойдет черед и до этого. Все впереди.

А сейчас я вернусь к началу конца диктатуры.

Подписи под „Обращением ГКЧП" не открыли мне новых имен. От Бакланова до Язова — за редким исключением всех их я числил в недругах нашей политики. Но одно дело числить, подозревать, строить догадки и на их основе — представления о потенциальной угрозе диктатуры, а другое — располагать точными и неопровержимыми доказательствами. Их у меня не было. Но политик, помимо трезвого анализа, обязан руководствоваться и своей интуицией. Обязан использовать любую возможность, чтобы внушить коллегам, обществу и миру свою тревогу. Это я сделал.

Чего не сделал? В то утро 19 августа задумываться об этом не приходилось.

В 9 часов ровно в своем кабинете на улице Елизаровой начал обзванивать товарищей по „Движению демократических реформ". У меня нет „вертушки", телефона специальной связи, а обычный телефон работал плохо. Продиктовал помощникам проект Обращения „Движения демократических реформ."

В 11 часов 15 минут удалось дозвониться до Бориса Николаевича Ельцина.

— У меня почти все отключено, — сказал он, — не могу связаться с регионами России.

Мы в один голос сказали друг другу: „Это фашизм“ — и договорились о встрече при первой же возможности.

— Если она представится нам, — пошутил я. — Если ее нам предоставят...

— Мы сами предоставим ее себе, — сказал Ельцин. — Наверное, сегодня не удастся — слишком много дел, а вот завтра — обязательно.

К полудню в здание нашей ассоциации непонятно как проникла журналистка Галя Сидорова из „Нового времени“ и принесла обращение Ельцина к гражданам России.

Факс еще работал, и по его номеру стали раздаваться звонки. Был звонок из посольства Франции: „Что с Шеварднадзе?“ Секретарь ответил, что я на месте. Звонили журналисты „Комсомольской правды“, „Известий“, грузинских газет, американских телекомпаний. Прозвонился Александр Николаевич Яковлев: „Я дома. Не могу выйти. Выход перекрыт воинским нарядом“.

В субботу 17 августа на заседании Политсовета нашего движения мы сформулировали вывод об угрозе правого переворота и теперь сокрушались, что не успели распространить документ.

Вскоре стало известно: по Москве идут танки и боевые машины пехоты. На Тверской люди ложатся на асфальт. На автозаводе имени Лихачева собрали митинг. Впоследствии я узнал, что ежедневно автомобилестроители отряжали несколько тысяч человек на защиту „Белого дома“. А в те часы не знал. Не знал многого. Что с Горбаче-

вым? Пришли Александр Владиславлев и Михаил Минасбекян, руководители нашего движения, и сообщили: „До Президента никто не может дозвониться. Он либо убит, либо интернирован..."

Мы принялись редактировать текст нашего обращения, по факсу согласовывать его с друзьями. По нему же передали текст в агентство „Интерфакс", в Италию, журналистам агентства и издательства „Новости", размножили сколько могли и разослали по возможным адресам. Не было бумаги. Ее нам привезли из ассоциации „Астеп", предложили денежную помощь.

В два часа дня поехал в штаб-квартиру нашего движения. Обязательно надо было быть там, чтобы подбодрить работников оргкомитета и наладить дело. Удивительно, но доехать удалось. Уже тогда видно было, за что голосует Москва. Может быть, уже тогда людская масса, ставшая народом, заклинила гусеницы танков.

В половине четвертого провели в ассоциации пресс-конференцию. В ней кроме Владиславлева и Минасбекяна участвовали академик Рыжов, член Кабинета министров Воронцов, другие товарищи. Они сообщили, что предстоящей ночью будет организована оборона „Белого дома", заменена его охрана. Мы пришли к выводу: заговорщики пойдут на все, ибо они поставили на карту и свои жизни. Когда начнутся аресты, сказали мы, ни одно имя не должно кануть в безвестность.

Журналистов собралось около четырех десятков. Я с радостью узнавал знакомые лица советских и зарубежных репортеров. Сейчас от них зависело очень многое, и они сделали все, чтобы страна и мир получили нашу оценку происходящего. Однако на следующий день узнал, что в

советские издания наше обращение не попало — потому что не стало самих изданий. И тогда я продиктовал свой „Крик в пустоту“ — чтобы высказаться в последний раз, оставить хоть какой-то след.

В 17 часов 50 минут позвонила Казимера Прунскене:

— Я улетаю за рубеж. Если улечу — чем помочь?

— Нам нужна поддержка мира — моральная, политическая. Надо организовать отпор массовым нарушениям прав человека.

О Горбачеве:

— Не убежден до конца в его роли и судьбе. Если он жив — ему немедленно следует выступить по телевидению и раз и навсегда объяснить народу, почему это произошло. Если у него нет такой возможности — надо требовать, чтобы предоставили. Бейте во все колокола.

О путчистах:

— Акция настолько безумна, что вряд ли завершится успехом.

Потом позвонил министр внутренних дел России.

— По поручению Бориса Николаевича Ельцина выставляю охрану у вашего дома.

Поблагодарив, я сказал, что в охране не нуждаюсь, но это успокоит моих близких.

Не только моих. В этом сообщении была если не весть о провале путча, то предвестие его конца. Законная власть действовала, единственно законная — в силу единения с народом и благодаря его поддержке.

Действовала, вопреки запрету, демократическая печать. Мы черпали информацию из сообщений

радиостанции „Эхо Москвы“. Запрещенные хунтой издания объединили силы в подпольных выпусках „Общей газеты“. Типографские рабочие „Известий“ на ручных печатных станках прокатывали документы правительства России. С весельем и отвагой, выдумкой и презрением к путчистам независимая журналистика иллюстрировала торжество замалчиваемого системой тезиса: свобода информации — неотъемлемая составляющая свободы и демократии.

Хвала технологии информатики! Хвала репортерам и дикторам Си-эн-эн! Те, у кого были параболические антенны и могли принимать передачи этой телекомпании, получали полную картину происходящего. А послушное телевидение Леонида Кравченко гнало мутные волны дезинформации и лжи. У меня оставалось какое-то чувство вины перед ребятами из программы „Взгляд“ — некогда они сделали фильм о работе нашей „команды“, за что впоследствии поплатились отлучением от экрана. По словам телевизионщиков, шеф всесоюзного телевидения запретил упоминать мое имя, закрыл доступ на телевидение моим помощникам.

Теперь молодые авторы этой программы делали ее под рубрикой „Взгляд“ из подполья. Их коллеги из программы „Вести“ нашли честного человека в Министерстве связи, и тот открыл им каналы спутниковой телекоммуникации, благодаря чему Россия — от Москвы до Камчатки — получила правдивую информацию. Такие люди нашлись и на всесоюзном телевидении — и вот встык с замогильными голосами заговорщиков пошли реальные эпизоды дня: Ельцин на танке. Баррикады у Калининского моста. Грандиозный

митинг у Мариинского дворца в Ленинграде. Собчак на трибуне и лозунги „Фашизм не пройдет!"

Простые, казалось, напрочь задавленные системой люди становились героями. Отвага становилась нормой. В норму восходило служение правде.

Правде служили средства связи. Заговорщики явно спешили, и поэтому, наверное, не разрубили все нити, связывавшие нас с миром.

В тот день со мной по телефону разговаривал британский премьер Джон Мейджор. Еще я услышал в трубке голос Ганса-Дитриха Геншера, ответил на его вопросы, сказал, чтó нам необходимо. Глава социал-демократической фракции в бундестаге Ханс-Йохим Фогель сообщил мне о возможном приезде делегации Социнтерна. Спустя день со своего ранчо в Скалистых горах дозвонились Джим и Сюзи Бейкеры. Друзья познаются в беде. Такие прописные истины обретают силу жизненного канона, когда вы вбираете их в себя в смуте и смятении.

Ночь прошла без сна. Утром с трудом пробился к Моссовету. Там уже шел митинг, запрещенный хунтой. Выступали Гавриил Попов, Александр Яковлев, другие. Выступил и я. „Мы имеем дело с извержением вулкана, уже давно подававшего признаки пробуждения. Мы видим опасные выбросы грязи, под которой хотят похоронить нашу демократию и свободу. Диктатура, теневая власть, о которой я говорил, вышла на бой. Она — конец демократии, начало гражданской войны, возобновление гонки вооружений, вновь „холодная война". Хотим мы этого? Нет! И поэтому давайте объединимся, встанем на пути диктатуры, чтобы отбросить ее..."

Единство стало фактом. Движение „Демократическая Россия", наше движение, демократические партии выступали общим фронтом. Я не люблю слова „враг", но сейчас я видел врага воочию и знал, кто наш друг в схватке с ним.

Потом мы двинулись к „Белому дому" и присоединились там к руководителям и армии Сопротивления. И там говорили, чувствуя, как слово обретает физическую силу.

После митинга вместе с А. Владиславлевым и М. Минасбекяном беседовал с президентом России. Б. Ельцин сообщил о только что состоявшемся телефонном разговоре с президентом США Джорджем Бушем. Это был очень важный, а главное — пришедший вовремя сигнал поддержки.

Мы обсудили целый ряд внешнеполитических вопросов и узловые проблемы внутренней жизни. Сейчас ее средоточием и центром стало это беломраморное здание на Краснопресненской набережной Москвы-реки. Центром защиты демократии, конституционной власти, законного Президента страны. „Белый дом" на глазах превращался в крепость. В его подвальном помещении начал работать передатчик Российского радио. Вице-президент А. Руцкой, профессиональный военный, Герой Советского Союза, ветеран Афганистана, премьер И. Силаев, государственный советник Г. Бурбулис рассказали, как организуется жизнеобеспечение „Белого дома". Впрочем, это я видел своими глазами. Одновременно с организацией обороны обсуждались и принимались указы и законы Президента России.

Вечером в половине восьмого ко мне домой должен был приехать посол Германии Блех. Я поехал встретить посла и побеседовать с ним. За-

бегая вперед, скажу, что в эти дни нам оказали честь, внимание и поддержку послы Франции и Италии, нанес визит новый посол США господин Страусс.

После беседы с господином Блехом в дверь позвонили. На пороге стояли председатель Союза журналистов Эдуард Сагалаев и его заместитель Нугзар Попхадзе. Спустя полчаса пришел мой старинный друг Гурам Мгеладзе. Я понял, почему они пришли. Гурам сказал, что распространились слухи о моем аресте и что если это произойдет — они хотят быть со мной.

Мы вышли на балкон. Ночное небо прорезали следы трассирующих пуль. Вдруг над районом Нового Арбата прогремел взрыв и поднялось белое облако дыма.

— Мы должны быть там, — сказал я друзьям. Но у двери встала жена: „Не пущу!“ Тогда Нугзар пошел на „военную хитрость“ — организовал звонок в квартиру: „Скройтесь на несколько часов!“

— Уходите! — сказала Нанули.

Никогда не переживал того, что пережил в те часы. На подходах к „Белому дому“ солдаты беспрепятственно пропускали нас. Какой-то паренек в защитной форме обнял меня и сказал, сглатывая комок в горле: „Мы защитим вас“. Какой-то полковник прокричал вслед: „Передайте Ельцину — мы не допустим штурма!“ Какие-то юноши, взявши руки кольцом, торили проходы в густой толпе. Какие-то женщины вытирали платками мне со лба струи дождя. Какой-то земляк бежал рядом и все приговаривал: „Эдуард, мы, грузины, очень любим вас!“

Милые, дорогие мои люди, русские, грузины,

армяне, литовцы, латыши, евреи, узбеки, украинцы, все, кто бы вы ни были, как я люблю вас! Как благодарен вам за то, что ощутил себя частицей народа!

В „Белом доме“ царила атмосфера спокойной решимости. Молодые люди с автоматами Калашникова стояли на точно расставленных местах. В оперативном штабе обороны дома отдавал распоряжения генерал-полковник Кобец. Я не военный, но могу оценить: все делалось в высшей степени профессионально.

Я увидел Мстислава Ростроповича: у него на коленях спал уставший солдат. Увидел экономиста Григория Явлинского, обменялся с ним мнениями.

— Все! Они проиграли...

Ушел из „Белого дома“ в пятом часу утра, когда убедился, что штурм сорван.

Наступил рассвет, туманный, дождливый. Туман вскоре рассеялся и дождь прекратился. В „Белом доме“ собирался Верховный Совет России. Ее Президент сообщил: Михаил Горбачев и его семья — живы, он разговаривал с ним. Спустя какое-то время — новая весть: заговорщики бежали. Куда? Через час и это стало известно — в Крым. Но почему туда?

А потом на экране своего телевизора я увидел Михаила Сергеевича — живого и невредимого. В толпе встречавших был начальник Генштаба Михаил Моисеев. Я вновь задумался об окружении Президента.

* * *

Против воли мои нынешние размышления неизменно приводят к Михаилу Сергеевичу Горбаче-

ву, его судьбе и ее перипетиям, превращениям и зигзагам последних месяцев и дней. Ведь это была и моя судьба. Кто виноват, что она так раздвоилась? И есть ли в этом доля моей вины?

Нет, сколь бы строго ни судил себя я — своей вины не нахожу и не вижу. Я сделал все, что мог. Но, может, мог сделать больше — пусть и с риском навсегда убить его веру в меня? Не сейчас, в эти дни, а много раньше?

Не знаю, надо подумать. Вслух, прилюдно, ничего не скрывая.

Что из того, что уже более года назад я поделился с ним своими догадками о консолидации ультрареакционных сил, явно тяготеющих к реваншистскому пресечению перестройки? Что из того, что предупреждал в течение всего 1990 года — с фактами в руках, с анализом высказываний, действий, шагов, явных и скрытых маневров тех должностных лиц, иные из которых вошли в состав самозванного Комитета чрезвычайного положения? Но разве, исчерпав все личные возможности и ресурсы, я не вышел на трибуну Съезда народных депутатов, чтобы сказать: надвигается диктатура? Вышел, сказал. И что из этого? Надо было заявить: Президент — глух и слеп, он ничего не видит и не слышит. И пусть на мою голову обрушились бы все кары земные и небесные.

Наверное, наивно было думать, что Президент воспользуется моим „самосожжением", чтобы призвать страну и народ к отпору реакции. Ведь к 20 декабря 1990 года я уже хорошо знал, что Михаил Сергеевич весьма избирателен в своем отношении к поступкам, совершаемым помимо его ведома, согласия и воли. К одним он на редкость

снисходителен или безразличен, к другим — гневно нетерпим. Одни почти у него на виду разрушают главное дело его жизни, а он словно не замечает этого; другие, пытаясь спасти, наталкиваются на непонимание.

В моем случае было проявлено железное самообладание. Встал Президент и сказал, что не видит никакой хунты.

Вот она, хунта, возникшая у него под крылом!

Хотел того или нет Михаил Сергеевич, но это его высказывание на редкость органично вписалось в хор заявлений и комментариев, направленных против бывшего министра иностранных дел, предпринятого им шага. „Политический спектакль“, „боязнь ответственности“, „запугивание диктатурой“, „устал“, „сорвался“ и т.д. и т.п. Среди авторов подобных версий был и председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, были и некоторые путчисты, в том числе самозванный „президент“ Геннадий Янаев.

Теперь многие понимают, что это была дымовая завеса для будущих ночных „бонапартов“, вынашивавших замысел своего „18 брюмера“.

Но понимание этого не доставляет мне ни удовлетворения, ни облегчения.

Кстати, о Лукьянове, и не только о нем. В середине сентября 1990 года я направил в Верховный Совет проект постановления о денонсации договора с ГДР. Если память не изменяет — 15–16 сентября.

С учетом близящегося объединения Германии его надо было немедленно поставить на обсуждение. Однако Лукьянов извлек проект на свет лишь 30 сентября, то есть накануне прекращения

существования Германской Демократической Республики как субъекта международного права.

У меня нет сомнений в том, что это была запланированная задержка. Согласованный с группой „Союз" сигнал к атаке на министра иностранных дел и его коллег, на внешнюю политику страны.

Так это и произошло. Стоило Лукьянову перед самым закрытием заседания как бы невзначай обозначить оставшийся не рассмотренным пункт повестки дня, как тут же последовало:

— Это что же такое происходит? Шеварднадзе в последнюю минуту подсовывает нам важнейший для государства вопрос! До каких пор будет продолжаться это глумление над парламентом и интересами страны?

И пошло и поехало по сценарию, неизвестно кем написанному. Но режиссура — крепкая, стальная, политармейская — угадывалась. За спинами ребят в полковничьих погонах угадывались другие фигуры.

Говорят, проект постановления прогулял две недели по кабинетам президентского аппарата. Что должен был сделать Президент? Вынести порицание шефу аппарата Болдину и публично заявить об этом недосмотре. Что он сделал? Похвалил моего ошельмованного заместителя за то, что он промолчал об этом факте.

Моя вина в том, что, щадя чувства немолодого человека и достоинство Президента, я не обнародовал это.

Продолжилась эта история 15 октября 1990 года, в день, когда пришла весть о присуждении М. Горбачеву Нобелевской премии мира. В те часы, когда М. Горбачев принимал поздравле-

ния, его министр иностранных дел стоял на трибуне Верховного Совета и отбивал атаки группы „Союз", предъявившей ему обвинения по тем самым пунктам, которыми Нобелевский комитет мотивировал свое решение о присуждении премии. Зная об этом, Председатель Верховного Совета А. Лукьянов хранил молчание.

На следующий день я позвонил М. Горбачеву и поздравил его с наградой. Он поблагодарил меня, сказав, что я разделяю ее с ним. Я не нуждался ни в этом приватном признании, ни в публичной аттестации моих действительных или мнимых заслуг. Единственное, в чем нуждался, чего желал и ждал от Президента — это четкого обозначения его позиции, прямого отпора правым, открытой защиты нашей общей политики.

Не дождался.

Вспомним армейские подразделения и боевую технику, выставленную вокруг Кремля под смехотворным предлогом защиты семи депутатов от якобы угрожавших им расправой „так называемых демократов". Кто убедил или вынудил Президента принять такое решение, сильно дестабилизировавшее ситуацию в столице страны? И почему он, гарант ее безопасности, оказался столь заметно подвержен пагубному влиянию одних своих советников и абсолютно невосприимчив к разумным советам других?

Многое вспоминается и видится сейчас в ином свете, чем прежде. Многое и открывается в нынешних трагических обстоятельствах.

О мертвых либо хорошо, либо ничего — говорили древние. Ушедший из жизни человек неподсуден суду живых. Но есть иная юрисдикция, иные, сопрягаемые с судьбами страны и народа

нормы, и мы не вправе игнорировать их. Тем более если ушедший из жизни мерил себя такими мерками.

Меня потрясла весть о самоубийстве маршала С. Ф. Ахромеева. Он был человеком долга, и я уважал в нем это. Мы не были друзьями, он сам сказал об этом. Коллегами — да, но друзьями не могли быть. И все-таки я по-хорошему был неравнодушен к нему. Боец без забрала. Не один час провели вместе за столом переговоров и в обсуждении наших позиций. Он — соавтор многих важнейших решений по вопросам разоружения. Не скрывал, почти не скрывал своего отношения к нам и нашей политике. Умел взглядом, выражением лица, жестом подчеркнуть свою неприязнь.

Солдат долга — это было видно сразу. Правда, подчас смущало то, что во имя долга он мог позволить себе отступить от требований чести. Например, хранить молчание, когда нас яростно критиковали за решения, которые принимались при его участии. Или заявлять, что он был против ввода войск в Афганистан, и это при том, что требовал лишь отсрочки.

Заставила призадуматься его фраза об отце, который сгинул во времена коллективизации: „Но я не в обиде за это на Советскую власть, ибо коллективизация была исторической необходимостью".

Чувство долга, поставленное выше нравственного чувства, внушает ужас. Если оно предпишет человеку во имя „исторической необходимости" уничтожить собственного отца, а с ним вместе тысячи других — уничтожит.

Нечто подобное могли планировать участники

августовского заговора. У меня на столе лежит отпечатанное типографским способом распоряжение военного коменданта Москвы о превентивном аресте — кого? — любого, кого сочтет необходимым хунта. Место для имени, отчества, фамилии — свободно: вписывайте, кого хотите. У тоталитаризма для „кого хотите“ нет пределов. Нет ограничений для казней, ссылок, репрессий. Тонна танковой брони дороже человеческой жизни. На весах истории она ничего не значит.

Кстати, о танках. Когда Министерство обороны и Генштаб, в обход Парижской хартии, „спрятали“ за Уралом тысячи танков — я заявил протест Президенту. Он поручил своему советнику маршалу Ахромееву разобраться. Сергей Федорович подал меморандум, полностью оправдывавший эту меру. Мой протест потускнел в стальном блеске его доводов. Как и мое несогласие с жульнической перекраской подлежащих сокращению танков в цвета морской пехоты.

Все это дорого обошлось стране. Под вопрос были поставлены договор по стратегическим наступательным вооружениям, доверие к нам, политика нового мышления, будущее советско-американских отношений, новый миропорядок. Так повелевал долг. Не повелевал же он, однако, отказаться от службы Президенту страны и Главнокомандующему ее Вооруженными Силами, с которым вы не согласны?

Но есть другой, более актуальный сейчас вопрос: как мог Президент включать в свою команду людей, столь явно противодействовавших его политике? Это что — великодушие, широта взглядов, терпимость к инакомыслию? Прекрасные качества, если за них не приходится расплачиваться заговорами и переворотами.

Теневая власть удобно расположилась рядом с законной и, не таясь, вела подкоп под нее.

Время от времени звучали призывы к проведению „акций спасения“. Телевидение и печать сообщали о собраниях, на которых все настойчивее от Центра требовали принять „решительные меры.“ Главным аргументом были угрозы сепаратистов в адрес членов партии, притеснение военных и русскоязычного населения. В парламенте представители республик опровергали такие доказательства, но в ответ им предъявлялись новые. Можно извлечь на свет эти репортажи и стенограммы, чтобы убедиться: донные отложения поднялись, замутили картину. В такой обстановке все могло быть. Настораживали заявления некоторых депутатов о том, что январь 1991 года будет отмечен серьезными испытаниями.

Тревога росла. К ноябрю 1990 года, после известного „Заявления 53-х“, она стала невыносимой.

Однажды, не совладав с ней, я позвонил Горбачеву домой. Сказали, что едет на работу. Набрал номер машины:

— Силовые акции — конец перестройке, вашему доброму имени, всему...

— Что ты! — возмутился Михаил Сергеевич. — Как ты мог даже подумать об этом?

Поверил. Не мог не поверить, как не раз бывало прежде. Как было впоследствии, когда М. Горбачев говорил, что ему ничего неизвестно об организаторах событий в Прибалтике. Но подозрения о существовании неких подпольных сил, готовых осуществлять преступные акции за спиной у Президента, все больше перерастали в уверенность.

Перед глазами был тбилисский апрель — ре-

петиция тоталитаристской антиутопии. Была память о пережитом в декабре 1989 года, могучий хор поддержки и оправдания организаторов этой бойни. Казалось, режиссеры были на виду. И что же? Ничего.

Уроки не шли впрок. Пропуская все больше ударов, Президент становился легко уязвим для своего окружения. Теперь оно прямо диктовало ему свои условия, предъявляло ультиматумы. О полковниках-депутатах я уже не говорю, тут ранги были повыше. Как во время недавнего „бунта“ в парламенте страны, когда премьер-министр Павлов потребовал чрезвычайных полномочий для себя. Происходило это на закрытом заседании. Кто закрыл и почему? Почему не показали, как министр обороны Язов, председатель КГБ Крючков, министр внутренних дел Пуго поддержали эти требования? Почему тексты выступлений цитировались в ленинградских „600 секундах“? Надо показать эту пленку сейчас, сегодня. А тогда, лишь оказавшись в атмосфере полной безысходности, Президент выступил с решительным заявлением, попытавшись защитить нашу общую политику, сказав, что не он один с Шеварднадзе проводил ее, что бóльшая часть высокопоставленных и ныне безмолвствующих экспертов разделяют ответственность за нее.

И тут же заявил, что у него с премьером нет разногласий.

Вот так, окруженный двуличными партнерами, которых он сам привел к власти, Президент остался один на один с коварством и злоумышлением. Их очаги вспыхивали в Верховных Советах СССР и России, в руководящих структурах КПСС и Компартии Российской Федерации, среди армейской верхушки.

Я уже говорил о великом танковом обходе Парижской хартии и чего он нам стоил.

При поддержке партийных функционеров, в частности кандидата в диктаторы О. Бакланова, группы „Союз" и правой печати, Генштаб соорудил еще один завал — растащил согласованный мною и госсекретарем США в Хьюстоне пакет соглашений по СНВ на отдельные вопросы. Но, когда спустя семь месяцев стороны пришли к тому, что уже было достигнуто нами, это было подано как грандиозный успех военного ведомства. В победители юркнули те, кто еще полгода назад клеймил меня изменником.

В день подписания в Москве Договора по СНВ по одному из каналов телевидения был показан фильм, снятый в „секретном городе" Арзамас-16. Секретность его оказалась мнимой — за высокую стену, через которую не перелетала даже птица, проникли люди, устроившие телевизионный плач по якобы загубленной ядерной программе страны. Время от времени в кадре возникал печально известный полковник-политработник, восклицавший: „Измена!"

Кто пустил их туда? Кто приурочил эту передачу к подписанию советско-американского договора? В тот момент я не знал поименно авторов этой провокации, но о подстрекателях и пособниках уже догадывался.

Никаких прямых доказательств — только косвенные. Только подозрения, пусть и основанные на печальном личном опыте.

3 августа 1990 года. Мы уже договорились с Бейкером о совместном советско-американском заявлении против агрессии Ирака в Кувейте, уже лежал в портфеле его согласованный текст, и я

собирался ехать в аэропорт Внуково-2, куда должен был прилететь госсекретарь, когда мне позвонили из „компетентного ведомства": „США сегодня нанесут удар по Багдаду". Я не поверил, но все-таки спросил Бейкера: „Это так? Скажите мне правду. Ведь речь идет и о моей чести". Он посмотрел на меня с обидой и сожалением.

А потом позвонил Президент: „Ну, смотри!" Мол, отвечать тебе. И я отвечал, брошенный на произвол отечественных саддамов.

Та направленная против меня кампания в печати и Верховном Совете теперь предстает частью идеологии заговора, психологической подготовки переворота.

23 июля 1991 года в газете „Советская Россия" появилось „Слово к народу", по-моему, прямой призыв к мятежу. В ряду подписавших этот подстрекательский манифест я нашел имена всех, кто на протяжении последних лет открыто или подпольно действовал против законной власти, организовывал кампанию нашей травли, тормозил осуществление принятых решений, называл Горбачева, Яковлева, меня „мальтийскими рыцарями". Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, генералы от инфантерии и литературы предлагали откровенный по сути дела план действий. В нем даже косвенно упоминались лица, способные и готовые встать к кормилу власти. Двое из подписавших оказались в списке диктаторов, а третий ездил в Крым к Горбачеву с ультиматумом.

Все заметнее правореакционный фронт, объединивший всех ультра из партократии, военных, шовинистической прессы, готовил прямые выступления.

Что предпринял Президент? Отбыл в отпуск.

Что предприняли мы, его бывшие друзья и сотрудники, не пожелавшие прикрывать собой действия окружавшей его „шпаны"?

Все, вплоть до ухода из „команды", оказалось напрасным. Президент часто оставался глух к советам по-настоящему верных ему людей. Поэтому в июне 1991 года я счел необходимым призвать к объединению демократических сил страны, к созданию легальной конструктивной оппозиции. Я исходил при этом из простой мысли: организованная демократическая оппозиция должна стать опорой тем немногим реформаторам в руководстве страны, которые еще оставались в нем. Ибо локоть, которым Президент пытался опереться на опоры справа, явно проваливался.

Чем ответил он мне и моим друзьям? Чем ответила реакционная верхушка КПСС? Угрозами партийной инквизиции и кары. Новыми оскорблениями и инсинуациями. Гонениями на преданных демократии членов партии — Александра Яковлева, Александра Руцкого, Василия Липицкого, Николая Столярова и скольких еще.

Но „Движение демократических реформ", которое мы создавали вопреки — это я тоже знаю доподлинно — желанию Президента и даже при известном его противодействии, не слабело, наоборот, росло и ширилось. И правые, видя в нем прямую угрозу себе, сосредоточили огонь на его инициаторах и лидерах.

Нас били справа, а он молчал. Нас поддержали те, кого он назвал „так называемыми демократами", — „Демократическая Россия" и другие партии в РСФСР и других республиках.

Да, он был занят подготовкой нового Союзно-

го договора. Да, сам терпел нападки и унижения, но при том с поразительным упорством не видел, как вокруг него сжимается кольцо путча.

Не видел? Не хотел замечать? Или еще что-то другое? Не знаю. Возникает множество вопросов, на которые у меня нет ответа.

Вечером 20 августа, найдя французского телерепортера Улисса Госсе из компании ТФ-1, я передал ему свой „Крик в пустоту".

После счастливого избавления Президента из крымского плена, на пресс-конференции в Москве, один журналист попросил М. Горбачева прокомментировать мои слова о нем из этого заявления.

В интересах истины стоит процитировать его. Вот оно: „События 19 августа 1991 года не были неожиданными. Они предвиделись и прогнозировались мной и моими товарищами. И я и они предупреждали о них — Президента, в личных беседах с ним, страну и мир — открыто, с трибуны съездов, со страниц газет и телеэкранов.

Сейчас, когда нам ничего неизвестно о судьбе Президента Горбачева и его семьи, мы воздерживаемся от каких-либо предположений о мере его осведомленности в планах заговорщиков. Пока ясно только одно: теневая власть, действовавшая в обход и наперекор законной власти, — то антиконституционное подполье, о существовании которого мы неоднократно предупреждали, — действует теперь открыто. При этом оно, как уже не раз бывало в нашей истории, заявляет претензии на законный характер своих действий.

Нет ничего более далекого от закона, чем эти действия. По закону чрезвычайное положение вводится актом Верховного Совета и обязательно с

согласия полномочных властей тех местностей, где оно вводится. Попытки задним числом узаконить незаконную акцию есть не что иное, как обман отечественной и мировой общественности. Парламент не может принимать ответственные решения под дулами танковых орудий и автоматов.

Если Президент страны не в состоянии выполнять свои обязанности, он должен сам, непосредственно и свободно, в контролируемых демократическими институтами условиях, сообщить об этом народу и сам назначить процедуру передачи власти. Давно не имея личных контактов с М.С. Горбачевым, я тем не менее утверждаю, что его физическое и умственное состояние не таково, чтобы лишить его возможности отправлять свои функции и полномочия. Естественная при той нагрузке, которая легла на плечи Президента, усталость — отнюдь не препятствие для внятных высказываний по телевидению и в печати, в которых он себе не отказывал никогда, в том числе — перед роковым для него отпуском.

Поэтому речь может идти лишь о том, что не он себе, а ему отказывают в такой возможности. Отказывают силой. Отказывают те самые ночные заговорщики, большинство которых он сам возвел на вершины власти.

Речь может идти лишь о вопиюще беззаконном, антиконституционном смещении законного Президента, не укладывающейся в рамки права и морали акции, которую захватившая власть группа пытается сейчас „освятить“ именем Президента. Создать видимость защиты его интересов и преемственности власти...

Я утверждаю: независимо от возможных предстоящих заявлений М.С. Горбачева и сменившей

его хунты — болен не Президент. В ее действиях явственны симптомы застарелого недуга, который взялась врачевать перестройка: закулисный, втайне от народа замышленный сговор, устранение неугодных лидеров противозаконными методами и под лживыми предлогами, лицемерие и двойной стандарт в общении с народом, формирование образа врага и науськивание народных масс на неугодных или неудобных лиц...“

Вот что я говорил и писал в часы, предшествовавшие штурму парламента России, когда всем его защитникам, всем сторонникам законной власти угрожало нечто гораздо худшее, нежели поношения в „Советской России“ и газете КПСС „Гласность“, — все то, что угрожало и нашему Президенту. Как ответил он на вопрос журналиста? А так, что он не читал моих высказываний, но если я действительно высказывался так, как меня цитировал репортер, то пусть это будет на моей совести.

Что ж, пусть будет так. Пусть проанализирует недавнее прошлое. Слишком часто Президент не знал о происходящем вблизи от него и в стране, чтобы я мог полностью исключить такие предположения.

Мне больно за него.

Как человек, отец и муж, семьянин, наконец, как его товарищ, я пережил кошмар его 72-часового заключения в дворцовой тюрьме Фороса. Он был узником хунты. Но, когда он вернулся, и выступил на пресс-конференции, я увидел: он по-прежнему пленник — своего характера, своих представлений, своего образа мышления и действий. И теперь я могу утверждать со всей определенностью: это он, а не кто-нибудь другой вы-

пестовал хунту — своим попустительством, нерешительностью и склонностью к лавированию, неразборчивостью в людях, безразличием к истинным своим соратникам, недоверием к демократическим силам, неверием в крепость, имя которой — народ. Тот самый народ, который стал другим благодаря начатой им перестройке.

Это огромная личная трагедия Михаила Горбачева, и, сколько бы я ни сострадал ему, не могу не сказать: она, эта трагедия, чуть было не привела к общенациональной трагедии.

Именно так квалифицировал Политсовет „Движения демократических реформ" правый переворот 19 августа. Именно так — синхронно с Обращением к гражданам России, подписанным Б. Ельциным, И. Силаевым и Р. Хасбулатовым. Не дожидаясь провала путча, как это сделали другие, в том числе „вожди" Коммунистической партии, мы немедленно поставили вопрос: что с Президентом? — и настойчиво добивались ответа.

Именно так говорили и действовали в Москве Гавриил Попов, в Ленинграде — Анатолий Собчак, тысячи их сограждан и единомышленников во всей России.

В итоге Президента защитили те, кому он не доверял: Борис Ельцин, „так называемые демократы", народ России и Москвы, его бывшие соратники. И в этом, несмотря на трагизм положения, я нахожу огромное личное удовлетворение, ибо исход августовской трагедии подтвердил правильность главного моего принципа: непобедима лишь та политика, которая нравственна. Непобедима лишь та идея, в основу которой положен масштаб высшей ценности человеческой жизни.

Для одних, хочу верить — немногих, это

были дни позора, для других, для большинства, — дни славы и великого счастья, обретаемого в единстве. Безоружный, но вооруженный верой в свою правоту народ одержал победу.

Заговорщики учли многое, кроме самого главного: годы перестройки избавили нас от страха, и теперь мы другие. И поскольку мы другие, а они остались прежними — им нас не одолеть. Конец военного переворота, уверен, станет началом новой страны, новой общности гордых, сильных и свободных людей.

Мне хочется верить, что стал другим и Михаил Сергеевич. Не может быть иначе — ведь на его долю выпало такое испытание: ступить к краю гибели, пережить измену близких людей и счастливое избавление. Такое не проходит бесследно, не должно пройти.

Что дальше? Всякое еще может быть. Нельзя поддаваться эйфории. Все еще может быть в дни агонии системы. Мне не хочется еще раз оказаться точным в своем предвидении, но сказать обязан: опасность велика. Заговорщики стимулировали хаотическое, иррациональное развитие процесса, который, казалось, уже вошел в регулируемое русло. Они раскачали маятниковую „бомбу", которая сейчас бьет о стены, и без того испещренные трещинами. Надо ее остановить во что бы то ни стало — чтобы сберечь страну и мир. Чтобы не страдал человек. Пусть работает закон, но не произвол. Нельзя уподобляться врагам демократии.

Восемь заговорщиков — еще не весь заговор. Не вся диктатура. Они не смогли бы осуществить свой замысел, если бы не опирались на немалое число сторонников. Я не призываю к

„охоте на ведьм“, к сведению политических счетов, политической мести — только к правосудию. „Милость к падшим“ тоже входит в комплекс нравственной политики. Будем великодушны. Будем достойны своей победы. Но забывать о том, сколь много еще среди нас „падших“, — мы не вправе. Только при этом может быть обречена политика заговоров, обречены ее проводники и приверженцы. Я не пророк, но предсказать это' берусь без боязни ошибиться.

Эта книга была написана в защиту демократии и свободы. Не знаю, выполнит ли она свое предназначение. И как бы ни оценили эту книгу читатели сегодня или завтра, какой бы приговор не вынесли ей и ее автору люди и время, одно я могу утверждать: мне трудно было бы жить, не сказав всего этого.

Москва, 26 августа 1991 года

СОДЕРЖАНИЕ

Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе
МОЙ ВЫБОР
В защиту демократии и свободы
2–е издание, дополненное

Заведующий редакцией *А. В. Проскурин*
Редактор *А. В. Карпов*
Младший редактор *М. В. Писарева*
Художественный редактор *И. А. Кирсанова*
Фоторедактор *Т. Д. Рождественская*
Корректор *С. А. Кардашева*
Технические редакторы *Н. М. Блохина, Н. Л. Гаврилова*
Технолог *В. Ф. Егорова*

ИБ № 10480

Подписано в печать 28.08.91. Формат издания 84×108/32.
Бумага офсетная 70 г/м². Гарнитура Банниковская. Усл. печ. л.21,0.
Уч.–изд. л.17,59. Тираж 100 000 Заказ № 290
Изд. № 8794. Цена 3р.60к. в обложке, 3р.90к. в переплете.

Набор, верстка, изготовление макета и готовых полос выполнены
на редакционно–издательской системе HTS.

Зав. редакцией С.В.Струков, системный администратор М.В.Сидоренкова

Издательство „Новости"
107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7.

Типография Издательства „Новости"
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.

3 р.60 к.



Зачем я пишу эту книгу? О чем собираюсь в ней сказать?

История любого дела — это всегда история человека. Наши дела разделяют нашу судьбу, и эта книга не составляет исключения. У нее есть своя история, в которой отразились события последних лет моей жизни. Сама по себе моя жизнь не представляла бы широкого интереса, не окажись она волей обстоятельств связанной с решающим периодом в жизни нашей страны и мировой политикой.

Эдуард ***ШЕВАРДНАДЗЕ***




ВРЕМЯ·СОБЫТИЯ·ЛЮДИ
Мой выбор